

МАРИЯ РАЗУМОВСКАЯ
МАРИНА ЦВЕТАЕВА



МАРИНА ЦВЕТАЕВА

MARIA

RAZUMOVSKY

MARINA TSVETAeva

Mif i deĭstvitelnost'

Overseas Publications Interchange Ltd

**МАРИЯ
РАЗУМОВСКАЯ**

МАРИНА ЦВЕТАЕВА

Миф и действительность

Дополненный текст

Перевод с немецкого

Е. Н. Разумовской — Сайн-Витгенштейн

Overseas Publications Interchange Ltd

Maria Razumovsky: MARINA TSVETAeva. Mif i deistvitel'nost'.

**First Russian edition published in 1983
by Overseas Publications Interchange Ltd
8 Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England**

**Originally published in German under the title:
«Marina Zwetajewa. 1892—1941. Mythos und Wahrheit»
(Age d'Homme Karolinger, Wien 1981)**

**Copyright © Age d'Homme Karolinger, 1981
Copyright © Russian edition Overseas Publications Interchange Ltd, 1983**

All rights reserved

**No part of this publication may be reproduced,
in any form, or by any means, without permission.**

ISBN 0-903868-10-5

Cover design by Andrzej Krauze

**Printed in West Germany
by Polyglott-Druck GmbH
Flurscheideweg 15, 6230 Frankfurt a. M.**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	7
Часть I. ДЕТСТВО	
Глава 1	13
Глава 2	27
Глава 3	39
Глава 4	48
Глава 5	56
Глава 6	71
Глава 7	81
Часть II. ЮНОСТЬ	
Глава 8	93
Глава 9	105
Глава 10	111
Глава 11	122
Глава 12	131
Глава 13	144
Глава 14	157
Часть III. ЭМИГРАЦИЯ	
Глава 15	171
Глава 16	180
Глава 17	199
Глава 18	211
Глава 19	221
Глава 20	235
Глава 21	247

Глава 22	260
Глава 23	268
Глава 24	282
Глава 25	292
Глава 26	307
Глава 27	319

Часть IV. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

Глава 28	333
Глава 29	346
Глава 30	356

Примечания	369
Библиография	393
Список использованной литературы	404

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга сначала была написана на немецком, языке, для немецких читателей. Цель книги была познакомить немецких любителей лирики с поэзией Марины Цветаевой, рассказать о ее творчестве и ее жизни и обратить внимание на трагическую судьбу не только ее, но всего ее поколения. Ведь на спине этого поколения русских культурных и ведущих кругов завершились все события и беды „великого перелома всемирно-исторического значения” в России. Утопии о „перерождении человека” и о „справедливом обществе” было принесено в жертву это поколение. Одни умирали в тюрьмах и под пулями ГПУ, другие замолкли от страха, третьи должны были спастись в чужие страны, что очень часто означало новые беды и нищету. Несмотря на все, и здесь и там, многим удалось выбраться и поставить на ноги своих детей. Обо всем этом западный читатель мало знает или не всегда догадывается.

Русскому любителю поэзии не нужно объяснять, кто

была Марина Цветаева. Из-за этого некоторые части этой книги были переделаны, новые сведения были включены.

В последние годы появилось на русском, как и на западных языках, — большое количество работ о Марине Цветаевой, в России главным образом о ее детстве и юности, благодаря трудам ее сестры, Анастасии Ивановны Цветаевой. На Западе, все нарастающий поток научных исследований посвящен разным аспектам ее творчества. Но чего до сих пор нет, это полной биографии Марины Цветаевой на русском языке. Мне хотелось по источникам, которые у нас есть — ее собственное, очень часто биографическое творчество и показания ее родственников и знакомых — раскрыть ее жизненный путь, „идя по следу поэта, заново прокладывать всю дорогу, которую прокладывал он” и выяснить, что в этих рассказах миф и что реальность. В Советском Союзе все еще официально поддерживается версия, что С. Я. и А. С. Эфрон вернулись на родину, потому что они „в меру своих сил помогали интернациональной борьбе за демократические права испанского народа”, и что Цветаева с сыном последовали за ними. Увы, правда была другая, менее романтическая. Найти правду и ее высказать — одна из задач этой книги.

В библиографическую часть вошли творения Марины Цветаевой и ее письма, напечатанные до конца 1982 года. Дать полную библиографию литературы, написанной о ней, в рамках этой книги невозможно. Я ограничилась той биографической литературой, которой сама воспользовалась, не принимая во внимание многочисленные статьи о творчестве поэтессы на английском, французском или немецком языках.

Мне остается сердечно поблагодарить хотя бы некоторых из тех, кто — тем или иным образом — помог мне в моем деле. В первую очередь вспоминаю с благодарностью покойных Галину Шапошникову в Москве и Марка Львовича Слонима в Женеве. Ценные сведения мне дали профессора Гюнтер Вытрженс, Робин Кембалл и Е. Г. Эткинд. Специально в русском издании мне помогли: А. В. Бахрах

своими указаниями на ошибки в немецком издании, Ирина Белова, Т. Г. Варшавская, М. П. Долгоруков, Захар Дерещкий, который мне предоставил библиографию составленную своим отцом Ю. Я. Дерещким, и Лидия Кузнецова. Е. С. Терновскому я обязана не только тем, что он просмотрел русский текст, но и за его точные замечания. Им всем большое спасибо. Хочу также вспомнить моего первого учителя русского языка, который теперь живет где-то в далих Советского Союза.

Вена, 1 марта 1983 г.



1911 год

ЧАСТЬ I

Детство

*„Детство – пора слепой правды,
юношество – зрячей ошибки, иллюзии.
По юношеству никого не суди...
История моих правд – вот детство.
История моих ошибок – вот юношество.
Обе ценны, первая как Бог и я,
вторая как я и мир. Ища нынешней
Гончаровой, идите в ее детство,
если можете – в младенчество.
Там – корни...”*

„Наталья Гончарова”

ГЛАВА 1

Иван Владимирович Цветаев, отец Марины Цветаевой, был родом из деревни Талицы Владимирской губернии. Он родился в 1846 году и был третьим сыном простого, бедного, но глубоко уважаемого священника. Мать его умерла тридцати пяти лет от роду, вскоре после рождения четвертого сына. Дети росли без матери. В детстве у Ивана Владимировича была только одна пара башмаков, которую он надевал, когда ходил в город. Двое младших сыновей неустанным трудом пробили себе дорогу и смогли попасть в университет. Дмитрий Владимирович специализировался по русской истории и стал известным ученым, а Иван Владимирович в двадцать девять лет был уже профессором истории искусств.

„Он начал свою ученую карьеру с диссертации на латинском языке о древне-италийском народе, осках, для чего исходил Италию и на коленях излазал землю вокруг древних памятников и могил, списывая, сличая, расшифровы-

вая и толкуя древние письма. Это дало ему европейскую известность”¹.

В 1888 году он был приглашен на кафедру истории искусств Московского университета; наряду с этим он был заведующим отделением, а потом и директором Румянцевского музея. Он вложил очень много сил и энергии в создание Музея Изыщных Искусств им. Александра III, открытие которого в 1912 году было завершением его творческой жизни. Обе его дочери единодушно хвалят его неиссякаемое трудолюбие, скромность, доброту и доброжелательность по отношению к ближним. Александра Чернакова-Николаева называет его человеком мягкой, нежной души, иногда совершенно наивным.

Марина Цветаева говорит о своем отце: „...Из села Талицы, близ города Шуи, наш цветаевский род. Священнический. Оттуда — Музей Александра III на Волхонке... оттуда мои поэмы по две тысячи строк и черновики к ним — двадцать тысяч, оттуда у моего сына голова, не вмещающаяся ни в один головной убор... Оттуда — лучше, больше, чем стихи (стихи от матери, как и остальные мои беды) — *воля* к ним, к ним и ко всему другому — от четверостишия до четырехпудового мешка, который нужно — поднять, что! — донести. Оттуда — сердце, не аллегория, а анатомия... сердце не поэта, а пешехода”².

Иван Владимирович был женат два раза. Его первая жена, Варвара Дмитриевна Иловайская, дочь знаменитого историка, „первая любовь, вечная любовь, вечная тоска моего отца” умерла от туберкулеза вскоре после рождения своих детей, Валерии (1832—1966) и Андрея (1890—1933). Чтобы дать мать своим крошечным, осиротевшим детям, 44-летний Иван Владимирович в 1891 году женился вторично на Марии Александровне Мейн, очень культурной и образованной девушке, которой тогда было 22 года и которая не только по возрасту, но и по происхождению очень отличалась от своего мужа.

Семья Мейн происходила из Германии. Мы не знаем, когда она переселилась в Россию. Отец Марии, Александр

Данилович Мейн, был типичный прибалтийский немец: белокурый, корректный. По-видимому, был и человеком не бедным. В советских изданиях говорится, что он служил чиновником в банке; Марина же пишет, что он редактировал газету. Он женился на двадцатилетней девушке, происходившей из родовитой польской семьи. Ее мать или бабушка была графиня Ланцкоронска. Вскоре после рождения своей единственной дочери молодая женщина умерла в возрасте двадцати восьми лет. Портрет этой молодой бабушки висел в гостиной Цветаевых и с детства возбуждал фантазию Марины:

„Продолговатый и твердый овал,
Черного платья раструбы...
Юная бабушка! Кто целовал
Ваши надменные губы?

Темный, прямой и взыскательный взгляд.
Взгляд, к обороне готовый.
Юные женщины так не глядят.
Юная бабушка, кто вы?

.....

День был невинен, и ветер был свеж.
Темные звезды погасли.
— Бабушка! — Этот жестокий мятеж
В сердце моем — не от вас ли?...³

С семи лет маленькая Мария Александровна была полусиротой.

„Мамина жизнь шла между дедушкой и швейцарской гувернанткой, — замкнутая, фантастическая, болезненная, недетская, книжная жизнь. Семи лет она знала всемирную историю и мифологию, бредила героями, великолепно играла на рояле. Знакомых детей почти не было... Мамина юность, как детство, была одинокой, болезненной, мятежной, глубоко скрытой. Герои: Валленштейн, Поссарт, Людовик Баварский. Поездка в лунную ночь по Одеру, где он

погиб. С ее руки скользит кольцо — вода принимает его — обручение с умершим королем... Весь дух воспитания — германский. Упоение музыкой, громадный талант... способность к языкам, блестящая память, великолепный слог, стихи на русском и немецком языках, занятие живописью. Гордость, часто принимаемая за сухость, стыдливость, сдержанность, неласковость (внешняя), безумие к музыке, тоска. Двенадцати лет она встретила юношу... ему было двадцать лет. Они вместе катались верхом в лунные ночи. Шестнадцать лет она поняла, и он понял, что они любят друг друга. Но он был женат. Развод дедушка считал грехом... Мама слишком любила дедушку... Сережа Э. уехал куда-то далеко. Шесть лет мама жила тоской о нем... Двадцати двух лет мама вышла замуж за папу, с прямой целью заменить его осиротевшим детям мать... Ее измученная душа живет в нас — только мы открываем то, что она скрывала. Ее мятеж, ее безумие, ее жажда дошли в нас до крика..."⁴

Таким образом, в характере Марины Цветаевой сочетаются особенности трех народов: от отца она унаследовала твердость воли, усидчивость, любовь к русскому языку и к русскому прошлому; от матери — романтичность и восхищение всем немецким; от бабушки — чувство чести и сознание собственного достоинства — „польский гонор”.

„Не ошибитесь, во мне мало русского, — пишет Цветаева Иваску, — да я и кровно слишком смесь: со стороны матери у меня России вовсе нет, а со стороны отца — *вся*. Так и со *мною* вышло: то вовсе нет, то — *вся*. Я и духовно — полукровка”⁵.

О детстве и юности Марины мы располагаем тремя главными источниками. Первый — это ее стихи, которые она начинает писать с детства и где выражаются непосредственные впечатления всего пережитого. Второй — автобиографические моменты, встречающиеся во многих ее позднейших произведениях и отражающие картину духовного роста и „психеи” поэта; они имеют не слишком много общего с житейской повседневностью, с которой поэт временами

обращается достаточно вольно, исходя из того, что припомнилось, или из сиюминутной данности поэтического текста. Третий источник особенно ценный, потому что именно в нем отображается историческая правда во всех деталях: это воспоминания сестры Марины, Анастасии Ивановны, написанные многие десятилетия спустя. Иногда они расходятся, некоторые акценты поставлены по-иному (А. И. проводит сравнение между бурным горным потоком воспоминаний Марины и плавно текущей рекой своих собственных мемуаров). Анастасия Ивановна полемизирует с версией Марины, будто мать ее меньше любила, но в главной оценке матери они единодушны: обе подчеркивают, каким замечательным, особенным человеком она была:

„Она вступила второй женой в дом, в котором еще пахло смертью. Она плохо рассчитала свои силы по отношению к старшей из этих детей и не справилась ни с замкнутым нравом той, ни с горячим нравом своим, оставив в падчерице своей навсегда недобрую память. Может быть, плохо рассчитала она свои силы и как женщина и как жена... Может быть, не все удалось утопить в книгах, тетрадях дневника и в рояле, может быть, много ошибок она сделала в доме, куда вошла”⁶.

„Мама и папа были люди совершенно непохожие. У каждого своя рана в сердце. У мамы — музыка, стихи, тоска, у папы — наука. Жизни шли рядом, не сливаясь. Но они очень любили друг друга”⁷.

Марина была старшей и родилась 26 сентября 1892 года; 14 сентября 1894 года родилась Анастасия (Ася). Мария Александровна была сначала разочарована: она страстно хотела иметь сыновей. („Оттого я вышла поэт, а не поэтесса”).

„Когда вместо желанного, предрешенного, почти приказанного сына Александра родилась только всего я, мать, самолюбиво проглотив вздох, сказала: „По крайней мере будет музыкантша”. Когда же моим первым, явно бессмысленным и вполне отчетливым догодовальным словом оказалась „гамма”, мать только подтвердила: „Я так и знала!”

и тут же принялась учить меня музыке, без конца напевая мне эту самую гамму: „До, Муся, до, а это — ре, до — ре...” Когда два года спустя после Александра-меня родилась заведомый Кирилл-Ася, мать, за один раз приученная, сказала: „Ну, что ж, будет вторая музыкантша”. Но, когда первым, уже вполне осмысленным словом этой Аси, запутавшейся в голубой сетке кровати, оказалось „ранга” (нога), мать не только огорчилась, но и вознегодовала: „Нога? Значит — балерина? У меня дочь балерина? У дедушки внучка балерина? У нас, слава Богу, в семье никто не танцевал!”⁸

В своей книге Анастасия Цветаева упоминает о фотографии, на которой она изображена в двухлетнем, а Марина — в четырехлетнем возрасте:

„Большелобое, круглое лицо старшей... взрослый взгляд на детском лице, уже немного надменный сквозь расстерянность врожденной близорукости...” Она спрашивает: „Первое воспоминание о Марине? Его нет. Ему предшествует чувство присутствия ее вокруг меня, начавшееся в той мгле, где рождаются воспоминания. Давнее, как я, множественное, похожее на дыхание наше „вдвоем”, полное ее, Мусино, старшинства, своеволия, силы, превосходства, презрения к моей младшесть, неумениям и ревности к матери. Наше „вместе” — втроем, полное гордости матери своим первенцем, крепким духом, телом и нравом, полное любования и жалости к младшей, много болевшей”⁹.

80 лет спустя Анастасия Ивановна еще раз возвращается к этой теме:

„Восприятие было не то что сходное, а как, может быть, бывает у близнецов — *близнецовое*. (Как голоса наши — их не различали.) ...При удивительном сходстве душевного строя — *глубокое* различие характеров и стремлений...”¹⁰

„Единение”, которое „как дыхание”, мало способствует отстранению. Спрашивается: видела ли правильно Ася свою обожаемую старшую сестру, которой она восхищалась, но и побаивалась из-за ее тирании, ее силы? Могла ли она,

несмотря на эту близость, правильно видеть ее, понять и вдуматься в сложные порывы ее души? Всю свою жизнь Марина чувствовала, что мать, поклонение которой было великим впечатлением ее детства, благосклонность которой она стремилась завоевать, мать, служившая ей недостижимым мерилom для проверки своих собственных сил, предпочитала ей маленькую, требовательную, часто плачущую сестру.

Личные впечатления Марка Слонима дополняют картину:

„Мария Александровна относилась к дочери с холодком, на ее обожание отвечала сдержанно и все старалась обуздать воображение Марины и ввести в границы ее бурный темперамент... Следы материнского строгого, слегка чопорного воспитания остались в М. И. на всю жизнь, в ее манерах в обществе сказывалась барышня, выросшая в барской обстановке, но я думаю, что ей не доставало материнской нежности и любви и этим объясняется, что она всегда искала женской дружбы и, например, в своей более пожилой чешской приятельнице Анне Тесковой явно ценила именно материнскую теплоту и заботу...”¹¹

Анастасия Ивановна оспаривает эту версию. Она подчеркивает, что мать их обеих одинаково любила и что Маринин упрек несправедлив. В своей статье „Корни и плоды” она ярче, чем ее сестра, показывает исключительную личность Марии Александровны, владевшей многими европейскими языками в совершенстве, одаренной исключительной музыкальностью и ставшей ближайшей сотрудницей своего мужа.

Мария Александровна не смогла установить настоящего контакта с детьми мужа от первого брака; особенно плохие отношения были у нее с Валерией. Она искала в воспитании собственных детей компенсации своей несбывшейся юности и своих неоправдавшихся надежд — по крайней мере дети должны были стать тем, чего не могла достигнуть она: свободными художниками. Несмотря на то, что в доме постоянно пребывали французские гувернантки, немецкие фрейлины и прислуга всех разрядов, мать сама постоянно наблю-

дала за воспитанием своих дочерей и сама определяла моральные и нравственные масштабы их духовного развития.

„Религиозного воспитания мы не получали (как оно описывается во многих воспоминаниях детства — церковные традиции, усердное посещение церкви, молитвы). Хоть праздновали Рождество, Пасху, говели Великим постом — родители придерживались, как и другие профессорские семьи, как школы тех лет, но поста в строгом смысле не соблюдалось, рано идти в церковь нас не поднимали, все было облегчено. Зато нравственное начало, вопрос добра и зла внедрялись мамой усердно, более усердно, чем, может быть, это надо детям — пылко, гневно при каждом поступке, иногда растя в нас скуку слушать одно и то же и тайный протест”¹².

К мировоззрению Марии Александровны особенно относилось спартанское презрение „сладкой жизни”. С самых ранних лет детям прививалось настороженное отношение к понятиям „деньги” и „слава”. „Нас с детства учили: деньги — грязь”. Маринино „органическое отталкивание от сытости и самодовольствия”, о котором позже говорит Слоним, происходит, по-видимому, отсюда.

Также совершенно невозможным считалось просить об исполнении какого-нибудь желания. („Не дали потому, что очень хотелось, как колбасы, на которую стоило нам только взглянуть, чтобы заведомо не получить. Права на просьбу в нашем доме не было. Даже на просьбу глаз”¹³.)

Хотя мать замечала, что Марина особенно интересуется словами и рифмами („Четырехлетняя моя Маруся ходит вокруг меня и все складывает слова рифмы — может быть, будет поэт?” — писала она в свой дневник), Мария Александровна хотела сделать из дочери пианистку. Бумагу, на которой Марина так любила писать, она отобрала и с железной настойчивостью засадила пятилетнюю девочку, у которой отмечались музыкальные способности, за рояль.

Игра на рояле относится к Марининым самым глубоким воспоминаниям:

„С самого темного дна идет на меня круглое, пятилетнее пытлиное лицо, без всякой улыбки, розовое даже сквозь черноту — вроде негра, окунутого в зарю, или розы — в чернильный пруд. Рояль был моим первым зеркалом, и первое мое, своего лица осознание было сквозь черноту, переводением его на черноту, как на язык темный, но внятный. Так мне всю жизнь, чтобы понять самую простую вещь, нужно окунуть ее в стихи, *оттуда* увидеть”¹⁴.

В игре на рояле Марина делала такие успехи, что ее, пятилетнюю, записали в школу музыки Зограф-Плаксиной. В следующем году она выступала в ученическом концерте перед публикой. В четыре руки играла с ней Валерия Яковлевна Брюсова, сестра поэта Валерия Брюсова. А. И. рассказывает об этом эпизоде с восторгом и восхищением младшей сестры.

Но, по мнению матери, выше успеха было сознательное к нему стремление.

„Слуху моему мать радовалась и невольно за него хвалила, тут же, после каждого сорвавшегося „молодец!”, холодно прибавляла: „Впрочем, ты не при чем. Слух — от Бога”. Так это у меня навсегда осталось, что я — не при чем, что слух — от Бога. Это меня охранило и от самомнения и от само-сомнения, от всякого, в искусстве, самолюбия — раз слух от Бога — твое только старание, потому что каждый Божий дар можно загубить, говорила мать поверх моей четырехлетней головы, явно не понимающей и уже из-за этого запоминающей так, что потом уже ничем не выбьешь... О, как мать торопилась с нотами, с буквами, с Ундинами, с Джен Эйрами... точно знала, что не успеет, все равно не успеет всего, все равно ничего не успеет, так вот — хотя бы это, и хотя бы еще это, и еще это! Чтобы было чем помянуть! Чтобы сразу накормить — на всю жизнь! Как с первой до последней минуты давала — и даже давила! — не давая улеться, умяться (нам — успокоиться), заливая и забивая с верхом — впечатление на впечатление и воспоминание на воспоминание — как в уже невмещающий сундук (кстати оказавшийся бездонным), нечаянно или нарочно?... И какое

счастье, что все это была не наука, а Лирика — то, чего всегда мало, дважды — мало... то, чего не может быть *слишком*, потому что оно — само *слишком*... Мать не воспитывала — испытывала: силу сопротивления: подастся ли грудная клетка? Нет, не подалась, а так раздалась, что потом — теперь — уже ничем не накормишь, не наполнишь... После такой матери мне осталось только одно, стать поэтом. Чтобы избыть ее дар — мне, который бы задушил или превратил меня в преступителя всех человеческих законов”¹⁵.

Марина и Ася растут вместе, все они делят между собой и очень похожи друг на друга в движениях и в манере говорить. Но с самого начала Марина в чем-то необыкновенная, ее душа, ее „психея” как будто другого качества, чем у ее сестры и у других детей. Она обладает огромной фантазией, огромной чувствительностью, ее очень легко оскорбить. Она несчастлива. Ей хотелось бы к цыганам, или бежать в старообрядческий монастырь, потому что она чувствует себя недостаточно любимой. Или вдруг она исполняется уверенностью, что ею овладел черт, который ждет ее в комнате Валерии. Сама она говорит о своем детстве:

„Страх и жалость (еще гнев, еще тоска, еще защита) были главные страсти моего детства, и там, где им пищи не было — меня не было”¹⁶.

К этому автопортрету Марины несколько интересных подробностей прибавляет Анастасия Цветаева, исходя из своих впечатлений:

„...Постоянным ощущением с первых лет: страсть к слову, в буквальном смысле, к буквам, что ли, его составлявшим, звук слов, до краев наполненный их смыслом, доставлял совершенно вещественную радость... Драгоценное существование слова, как источника сверкания, будило в нас такой отзвук, который уже в 6—7 лет был мукой и счастьем владычества. К каким-то годам написание первой стихотворной строки или первой фразы прозы было желанным освобождением от перенасыщенности чувством слова...

Была у Марины с детства какая-то брешь в ее соотноше-

ниях с дурным и хорошим. Со страстью к чему-то и в непомерной гордости она легко и пылко делала зло. Нелегко на добро сдавалась! Насмехалась, отрицала суд над собой. Но зато, когда уж приходила к раскаянию, то скупыми на вид, тяжкими своими слезами сжигала свою вину. Помню и во всю жизнь потом ее лицо таких дней и часов: светлое, светлее обычного от заплаканности и мук застенчивости, глаза. Выражение отрешенности, отсутствия — среди тех, за которых каялась. Словно прислушиваясь к чему-то ей одной слышимому, что одно было ей непреложно.

Но смутно мне открывалась особая статья Мусиного чувства, не моя! Жажда отчуждения ее радости и от других, властная жадность встречать и любить все — одной: ее зоркое знание, что это все принадлежит одной ей, ей, ей — больше, чем всем, ревность к тому, чтобы другой (особенно я, на нее похожая) любил бы — деревья — луга — путь — весну — так же, как она. Тень враждебности падала от ее обладания — книгами, музыкой, природой на тех (на меня), кто похоже чувствует. Движение оттолкнуть, заслонить, завладеть безраздельно, ни с кем не делить, быть единственной и первой — во всем!”¹⁷

Последнее подтверждает сама Цветаева. Она говорит о ее „...исконной ревности”, о „полной невозможности любить вдвоем”: „Нет, позабыли мне в люльку боги дар свободной любви!” — добавляет она¹⁸.

По сравнению с доминирующей личностью матери, другие члены семьи играли в жизни девочек лишь второстепенную роль. Любимый, добрый, рассеянный отец проводил день и ночь в своем рабочем кабинете и в их жизни почти что не показывался. Валерия, которую дома звали Лёра, была гораздо их старше и появлялась дома очень редко; (она училась в интернате), она была ласкова с обеими сводными сестрами, защищала их от строгости матери. В детстве Марина была очень к ней привязана, но позже между ними произошел непоправимый разрыв. Андрей был красивый мальчик, но ленивый, не обладал фантазией и „не был их духа”, так что часто происходили ссоры.

Разные немецкие „Fräulein“, французские гувернантки, экономки, Андрюшин учитель, Асина няня (у Марины таковой не было) хотя и прибавили что-то к развитию личностей детей, но сильно на них не повлияли. Большую роль сыграло старое поколение семьи: их родной дед Александр Мейн со своей второй швейцарской женой, бывшей гувернанткой их матери. Она пережила на многие годы своего мужа; так и не выучила как следует русский язык. Обе сестры описывали ее как „смешную старуху“, называемую „Тьо“. Большое впечатление на детей производил дед Лёры и Андрюши — профессор Димитрий Иловайский, крайне консервативный историк и ярый антисемит. Цветаева увековечила его в своем очерке „Дом у старого Пимена“. Она там отмечает, что Иловайский был в хороших отношениях с ее матерью, несмотря на то, что она особенно любила евреев и искала их общества, что можно объяснить „...ни происхождением (полупольским), ни кругом (очень правым) — *только* Генрихом Гейне, *только* Рубинштейном, *только* еврейским гением и ее женским вдохновением, *только* ее разумом, *только* ее совестью... Лейтмотив всей *ее* и *моей* жизни — толстовским „против течения“ — хотя бы собственной крови — и стояния — всякой среды (стоячей воды)”¹⁹.

Возможно, что это раннее влияние матери содействовало тому, что Марина позже сама искала общества и дружбы евреев и вышла замуж за полуюеоря.

Цветаева считала детство самым важным периодом своей жизни. В кратком описании своей жизни, написанном после ее возвращения в Советский Союз в 1939 году, она утверждает, что в возрасте 47 лет ей кажется, что все, что ей было суждено познать, она познала до семилетнего возраста, и что остальные 40 лет она училась это понимать²⁰.

Читателям книг Анастасии Ивановны знакомо, какую огромную роль в жизни сестер Цветаевых играл их дом в Трехпрудном переулке № 8, просторный московский особняк шоколадного цвета с двором и деревьями, который она описывает подробно и с любовью. Многочисленные

описания дома находятся также в сочинениях Цветаевой: рабочий кабинет отца со статуей Зевса, холодный „зал“, где стоял рояль и происходили семейные события, уютная детская в мезонине, картины на стенах. Одна из них, смерть Пушкина на дуэли, особенно сильно подействовала на воображение Марины:

„Первое, что я узнала о Пушкине, это — что его убили. Потом я узнала, что Пушкин — поэт, а Дантес — француз. Дантес возненавидел Пушкина, потому что сам не мог писать стихи... Черная с белым, без единого цветного пятна дуэль, где на белизне снега совершается черное дело: вечное черное дело убийства поэта — чернью. Пушкин был мой первый поэт и моего первого поэта — убили. С тех пор, да, с тех пор, как Пушкина на моих глазах на картине Наумова убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали все мое младенчество, детство, юность — я поделила мир на поэта и всех, и выбрала — поэта, в подзащитные выбрала поэта: защищать поэта — от всех, как бы эти все ни одевались и ни назывались”²¹.

Если жизнь в Москве в воспоминаниях Анастасии Цветаевой является целой вереницей счастливых дней, то летние месяцы в Тарусе — просто раем земным. Многие годы подряд семья нанимала недалеко от города дачу, которая стояла на крутом холме над Окой; простой серый дом, в большом запущенном саду.

„Полноценнее, счастливее детства, чем наше в Тарусе, я не знаю и не могу вообразить...” — пишет Анастасия Ивановна, а Марина Ивановна в 1934 году вспоминает с тоской:

„Я бы хотела лежать на тарусском хлыстовском кладбище, под кустом бузины, в одной из тех могил с серебряным голубем, где растет самая красная и крупная в тех местах земляника. Но если это несбыточно, если не только мне там не лежать, но и кладбища того уже нет, я бы хотела, чтобы на одном из тех холмов, которыми Кирилловы шли к нам в Песочное, а мы к ним Тарусу, поставили с тарусской каменоломни камень:

Здесь хотела бы лежать

МАРИНА ЦВЕТАЕВА”²²

Но свой наилучший памятник Тарусе Цветаева создала уже в 1909 г.:

Ясное утро не жарко
Лугом бежишь налегке.
Медленно тянется барка
Вниз по Оке.

Несколько слов поневоле
Все повторяешь подряд.
Где-то бубенчики в поле
Слабо звенят.

В поле звенят? На лугу ли?
Едут ли на молотьбу?
Глазки на миг заглянули
В чью-то судьбу.

Синяя даль между сосен,
Говор и гул на гумне...
И улыбается осень
Нашей весне.

Жизнь распахнулась, но все же...
Ах, золотые деньки!
Как далеки они, Боже!
Господи, как далеки!

ГЛАВА 2

Марина и Ася не посещали частную или публичную подготовительную школу. Их обучением занималась Мария Александровна сама. С раннего детства дети говорили по-русски и по-немецки, а с семи лет Марина говорила и по-французски. Вскоре они знали все детские книги и сказки мировой литературы. Анастасия Ивановна не помнит, когда и у кого они научились читать.

Настоящая регулярная школьная жизнь началась для Марины осенью 1901 года, когда ей исполнилось 9 лет. Она поступила в 1-ый класс четвертой гимназии на Садовой улице. С самого начала она была блестящей ученицей, хотя и не любила школу. Среди сверстниц у нее не было подруг.

После обеда в школу приходили за Мариной Ася с гувернанткой. Как-то раз перед школой никого не было, чтобы отвести ее домой. Тогда одна большая девочка из восьмого класса, которая тоже жила в Трехпрудном переулке, взяла ее за руку и отвела домой. Эту девочку звали Наталья Гон-

чарова, как жену Пушкина, и когда они в следующий раз встретились в кафе в Париже, Гончарова была знаменитой художницей.

Еще об одном событии, которое, по-видимому, относится к тому же году, рассказывает Анастасия Ивановна; Андрей не ходил в школу, а занимался с домашним учителем. Этим учителем был студент-сибиряк, который часто и громко смеялся. Этот студент „подействовал на воображение Марины“, как она говорила. Марина в него влюбилась. Что такое любовь Марина точно знала с тех пор, как в школе музыки видела сцену из „Евгения Онегина“ —

„Скамейка. На скамейке — Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится, а *она* встает. Оба стоят. И говорит только он, все время, долго, а она не говорит ни слова. И тут я понимаю, ... что это — любовь: когда скамейка, на скамейке — она, потом приходит он, и все время говорит, а она не говорит ни слова...”¹

Влюбленная Татьяна пишет Онегину письмо; Марина следует ее примеру и тоже пишет письмо студенту, в котором признается ему в любви. Она еще не подозревает, что письма такого рода и впоследствии не раз сыграют важную роль в ее жизни и творчестве; она также не знает, что судьба этого ее первого письма предвосхищает судьбу многих будущих корреспонденций: письмо понимается неверно. Коварный учитель громко смеется и подчеркивает ошибки в правописании красным карандашом. Это происшествие вызывает среди домашних большое волнение; Марина плачет и чувствует себя глубоко оскорбленной в своей гордости. Но на этот раз судьба оказывается справедливой и наносит удар самому насмешнику — студент влюбляется в Валерию и хочет на ней жениться, но Валерия его высмеивает, а родители переселяют учителя в отдаленный флигель.

Намек на эту историю мы узнаем из описания Мариной семейного стола:

„Круглый стол. Семейный круг. На синем сервизном блюде пирожки от Бартельса. По одному на каждого. — Де-

ти! Берите же! — Хочу безз и беру эклер. Смущенная ясно-зрящим взглядом матери опускаю глаза и совсем проваливаю их, при:

Ты лети, мой конь ретивый,
Чрез поля и чрез луга.
И потряхивая гривой
Отнеси меня туда!

Куда — туда? Смеются: мать (торжествующе: не выйдет из меня поэта!), отец (добродушно), репетитор брата, студент-уралец (го-го-го!), смеется на два года старший брат (вслед за репетитором) и на два года младшая сестра (вслед за матерью); не смеется только старшая сестра, семнадцатилетняя институтка Валерия — в пику мачехе (моей матери). А я — я, красная как пион, оглушенная и ослепленная ударившей и забившей в висках кровью, сквозь закипающие, еще не проливающиеся слезы — (сначала молчу, потом) — ору: — Туда — далеко! Туда — Туда!..”²

Летом 1902 года, в первые настоящие каникулы после успешно законченного Мариной школьного года, семья, как всегда, поехала в Тарусу. Марина увлекалась Пушкиным, которого она читала втайне от матери, и с особенной любовью декламировала стихотворение „К морю”. Слово „море” превратилось для нее в понятие дальнего сказочного мира, в предмет ее тоски.

В сентябре девочкам исполнилось десять и восемь лет. Семья переехала в город и как раз готовилась устроиться на зиму, как вдруг словно гром среди ясного неба: легкое заболевание матери, которое все принимали за инфлюэнцию, — оказалось туберкулезом легких. Наказ врачей был категоричным: Мария Александровна должна была сейчас же покинуть холодную Москву и переехать на юг. Было решено, что вся семья, за исключением Андрея, проводит ее в Италию.

Обе сестры описывают драматический момент, когда они узнают о тяжелой болезни матери и о предстоящем длинном путешествии:

„Каким особенным стал дом с той минуты, как мы узнали, что покидаем его! каждый бег вверх-вниз по лестнице, все комнаты, каждый уголок, каждый пролетающий миг — все стало дороже во сто крат и таким горьким на вкус — страшного настоящего расставания, что позже, потом, в этом огромном *потом*, после наставшим и продолжавшимся, — ни одно расставание с человеком, с тем, кого всего неизлечимее любишь, от кого отрывали нас поезда, войны, революции или другой человек — не было ново, несмотря на оглушающую силу свою: помнилось то, первое „прощай“, звучавшее в доме дни и недели сборов. Может быть, от того и были мы после щедры к страннейшему из отнимателей — к жизни! — что знали тайно: переживем — уже пережили...”³ — пишет Анастасия Ивановна.

Совсем иначе реагирует Марина. Ее не затронула ни тяжелая болезнь матери, ни предстоящий отъезд. Она понимает только: мы едем к морю, к пушкинскому „вольному морю”.

„Когда в ноябре 1902 года мать, войдя в нашу детскую, сказала: „К морю”, — она не подозревала, что произносит магическое слово, что произносит „К морю”, то есть дает обещание, которого не может сдержать. С этой минуты я ехала к морю, весь этот предотъездный, уже внешкольный и бездельный, бесконечный месяц одиноко и непрерывно ехала к морю”⁴.

Когда в конце ноября или в начале декабря 1902 года семья Цветаевых пустилась в путь, в Москве остался у своего деда Иловайского только Андрюша. В Вене путешествие пришлось прервать на несколько дней, так как у Марии Александровны был полный упадок сил.

Поездка через Тироль и приезд в Италию привели Марину и Асю в восторг. Но вслед за этим наступило неизбежное разочарование: Генуэзская гавань не отвечала представлениям Марины о море. Миф о „вольном элементе” развеялся. Остался только соленый привкус.

„Такое море — мое море — море моего и пушкинского *К морю* могло быть только на листке бумаги — и внутри...

Пушкинское море было — море прощания. Так — с морями и людьми — не встречаются. Так — прощаются...”⁵

Семья приехала в Нерви и поселилась в нескольких комнатах в “Pension Russe”, который находился над самым морем. Этот пансион принадлежал немцу, вдовцу. Его одиннадцатилетний сын Володя скоро стал играть большую роль в жизни Марины и Аси. В то время, как больная мать не вставала с постели, а отец готовился к научному путешествию по Италии, детям было позволено играть в саду под надзором Володи. На самом же деле они лазили с ним по скалам, падали в море, жарили на открытом огне рыбу, ели итальянские конфеты и даже научились у своего покровителя курить. У себя дома им не пришлось бы в голову даже мечтать о такой жизни. Позже Марина Цветаева посвятила Володе, своему „первому рыцарю”, три стихотворения⁶.

Пребывание в Нерви расширило кругозор девочек. Они познакомились с другим образом жизни, и узнали людей, не принадлежащих к их тесно сплоченному домашнему кругу. На последнем этаже русского пансиона жил молодой, тяжело больной туберкулезом бухгалтер из Берлина, который умер во время пребывания в пансионе семьи Цветаевых. Когда девочки приходили его навещать, он зажигал над керосиновой лампой папиросную бумагу, и пепел развеивался в воздухе. „Смотрите, душа летит!” (“Seht, die Seele fliegt!”) Он написал Марине в альбом строчку, которую она считала квинтэссенцией „германского” — “Tout passe, tout casse, tout lasse, excepté la satisfaction d’avoir fait son devoir”.

„Душа есть долг. Долг души — полет. Долг есть душа полета — лечу, потому что должен. Словом, так или иначе: “Die Seele fliegt”, — пишет Цветаева в свой дневник в 1919 году⁷.

Однажды появилась со своими двумя детьми, Сережей и Надей, Александра Иловайская — вторая жена деда Андрея. Красивые молодые люди были тоже больны туберкулезом. Но, так как между Надей и одним бедным студентом начал зарождаться нежный роман — Марина и Ася помогали время

от времени их переписке — рассерженная мать, не долго думая, снарядила обоих больных обратно в Россию, хотя они как раз начали поправляться. Не прошло и двух лет, как оба умерли в течение одного месяца.

Надя Иловайская, „роза на могилах Нерви“, произвела на Марину большое впечатление.

„Дружны мы не были — не из-за разницы возраста — это вздор! — а из-за моей робости перед ее красотой. С которой я тогда в стихах не могла справиться... проще: дружны мы не были, потому что я ее любила. И вот — неполных два года спустя — смерть... Надя Иловайская для меня — вся 10 лет БЕЗДНА. С тех пор я — что?.. научилась писать и разучилась любить...”⁸

Еще больше волнений вызвала группа русских анархистов, которая тоже поселилась в „Pension Russe“. Их глава, Владислав Кобылянский, особенно импонировал Марине и Асе, которые дали ему кличку „Тигр“. Пока отец в сопровождении Валерии ездил по Италии, между Марией Александровной и революционерами возникла близкая дружба. По вечерам все собирались в гостиной Цветаевых. Яростно спорили о политике и о положении в России, пели революционные песни под аккомпанемент гитары Марии Александровны. Детям разрешалось присутствовать.

„А Маруся — она совсем делается новая, будто взрослая... Они говорят с Марусей как с равной, интересуются ее стихами: она пишет стихи о них, царских врагах, и она полна новой страсти, сердцем учуянной, в воздухе словленной: ненависть к тирану-царю. Резкий, шумный, насмешливый Герб и тот не задирает как всех Мусю. Он уважает ее... Что-то роднит их всех с этой удивительной девочкой, пишущей стихи и дневник, играющей трудные музыкальные пьесы, ... имеющей такую талантливую, умную, горделивую мать. Инстинктом чувствуют они, что Мусина мать к ним насторожена. Боятся за дочь? И радуются, и гордятся, что Муся — уже их”⁹.

Влияние Кобылянского все росло.

„...Как и мама, мы знали, что эта встреча колеблет осно-

вы нашей жизни. Уже одна насмешливость, с которой он на эту жизнь, сложившуюся жизнь семьи, глядел, звала куда-то. Он, казалось, отвергал все то, в чем мы жили — уклад семьи, общества... Мама и мы впервые встречали такого человека. Впервые мы слышали, что отвергалось все, среди чего мы жили — даже Бог. В этом последнем мама не соглашалась с ним и его товарищами. Но мы в вопросе о Боге сдались бездумно и скоро... Как умно, терпеливо, убедительно говорила об ошибочности религии Кошелка, устремив на нас большие синие глаза, отвело нас от Бога и молитв — легко, так легко, может быть, оттого, что, в сущности, религия была от нас далека. Никакой бабушки, няни, нас растивших, у нас не было; мы и мама в церковь ходили потому, что ходил папа, в семье священнической выросший. Мама же, вообще, была верующая, но по-своему"¹⁰.

Не только маленькие девочки увлекались Тигром, но и тяжело больная, романтическая мать. Она даже подумывала бросить семью и переехать с ним в Цюрих. Анастасия Ивановна рассказывает, как однажды вечером, в сильную бурю, когда Мария Александровна и Кобылянский гуляли по берегу моря, Марина поскользнулась на мокрой от дождя лестнице, упала и серьезно ранила голову и, таким образом, это неожиданное событие, как "deus ex machina", заставило мать вернуться к семейным нуждам и ухаживать за больной.

Ни одним словом не упоминает Марина Цветаева об этом происшествии. Но этот конфликт матери, которая не знает, остаться ли ей со своими детьми или следовать за разбойником, убившем ее мужа („...ведь она уже раньше его любила, но была замужем, как Татьяна...”), вылился в написанную спустя десятилетия повесть „Сказка матери”.

Свобода на скалах Нерви продолжалась лишь несколько недель. Врачи советовали Марии Александровне остаться еще на год в Италии, так что было решено послать детей в швейцарский пансион. Из России приехала в Нерви Тьо, чтобы отвезти их на свою родину. Марина и Ася должны были переселиться к тете в элегантную гостиницу, опять

научиться носить шляпы и перчатки и, вместо того, чтобы босиком лазить по скалам, кататься в элегантном экипаже.

С весны 1903 года и до летних каникул 1904 года судьба забросила Марину и Асю на берега Женевского озера. В пансионе сестер Лаказ в Лозанне, бульвар de Grancy № 3, девочки провели с пользой счастливое время. В пансионе царил хороший „климат” — ученицы и преподаватели были приветливы, обращалось гораздо больше внимания на то, чтобы хвалить за хорошие результаты, чем наказывать за плохие. Часто предпринимались экскурсии по окрестностям или поездки на пароходе по Женевскому озеру.

Неожиданные трения между Мариной и окружающими возникали только на почве религиозных вопросов. Обе престарелые сестры Лаказ были ярыми католичками и воспитывали в том же духе вверенных им девочек. Помогал им в этом умный, опытный „Abbé”. Когда Марина начала распространять свои атеистические убеждения, вывезенные из Нерви, среди своих новых подруг, в пансионе наступило глубокое замешательство. Много раз вызывал „Monsieur l'abbé” Марину для разговора, вступал с нею в длинные прения. Он был, судя по тому, что в течение этого года взгляды Марины и Аси изменились в корне, опытным „ловцом душ”. Они превратились в настоящих маленьких ханжей, которые с усердием посещали все католические богослужения, по вечерам долго молились на коленях около кроватей и своими письмами приводили родителей в величайшее смятение. В Лозанне Марина была даже на своей „первой и единственной исповеди” у католического священника. Хотя Цветаева ни единым словом не упоминает об этом своем религиозном порыве, — от нее самой мы знаем, что ее привлекал только чёрт, — но это религиозное настроение ясно отражается в стихотворении без даты из „Вечернего альбома” — „Дама в голубом”.

Незадолго до летних каникул 1904 года Мария Александровна приехала в Лозанну навестить дочерей. Она остановилась в гостинице недалеко от пансиона и девочкам было

разрешено проводить все свободное время с матерью. Анастасия Ивановна подробно описывает приезд матери, Марина же посвящает ему стихотворение "В Ouchy". Состояние здоровья матери значительно улучшилось, но когда Марина спросила ее, как обстоит дело с ее переездом в Цюрих, она ушла от разговора на эту тему.

На летние каникулы весь интернат переехал в соседнюю Францию. Сначала они жили в Шамони, потом в Аржантьер и оттуда совершали с проводником экскурсии в районы ледников.

Врачи советовали Марии Александровне провести еще год в средней Европе для того, чтобы постепенно опять привыкнуть к холодному климату. Местом жительства для этого был выбран Фрейбург в Брейсгау. Для Марины и Аси начался новый период жизни — Германия.

До начала школьных занятий семья поселилась в Шварцвальде, в деревне Лангаккерн, в гостинице "Zum Engel". Большие леса, напоминающие Тарусу, быстрый ручей, райское спокойствие в уютном, пахнущем деревом и чистотой „Гастхаусе". Девочки дружат с детьми хозяев и счастливы в Лангаккерн. В саду мать читает им „Лихтенштейн" Гауфа и легенды Шварцвальда. Марина и Ася иногда часами играют одни в лесу.

.....

Мы обе — феи, добрые соседки,
владенья наши делит темный лес.
Лежим в траве и смотрим как сквозь
ветки
белеет облачко в выси небес.

Мы обе феи, но большие (странно)
двух диких девочек лишь видят в нас.
Но ясно нам — для них совсем туманно:
как и на все — на фею нужен глаз.

.....

Но день прошел, и снова феи — дети,
которых ждут и шаг которых тих...
Ах, этот мир и счастье быть на свете
еще невзрослый передаст мой стих?^{1 1}

Следующим этапом (школьный год 1904/05) был пансион сестер Бринк во Фрейбурге, Wallstraße № 10. Этот пансион резко отличался от Лозанны: здесь царил дух прусской казармы. В половине седьмого утра воспитательница звонила в коридоре, и когда она входила в дортуар, дети должны были быть уже на ногах. Мытье ледяной водой позволялось только в течение нескольких минут, после чего шли попарно в столовую на скудный завтрак, который продолжался только восемь минут. После уроков и обеда, который был настолько скромен, что ученицы были всегда голодны и говорили только о еде, их водили каждый день попарно на Шлоссберг. Дорога туда вела через Schwabentor*. Каждый день Марина смотрит на героически-романтическое изображение Святого Георгия с высоко поднятым мечом (оно было написано лишь год тому назад, в 1903 году). Десять лет спустя встречаемся мы с этим святым Георгием во Фрейбурге на "Schwabenthor"*** в стихотворении „Германия”.

Ася ненавидела немецкую школу:

„У Маруси строгость пансиона вызывала все растущее ожесточение. Она замыкалась, в ее глазах затаивались протест и насмешка. В иные дни она и от меня отдалялась. Я же, мягче ее, рушилась в тоску неутешную”^{1 2}.

Но она не знает, почему Марина так отдаляется от всех окружающих и замыкается даже перед ней. Марину приводит в отчаяние не пансион Бринк, а известие о смерти обожаемой ею Нади Иловойской. Она хватается за игру на рояле, она ищет спасения там, в этом единственном тихом уголке, она играет, но слышит только одно слово, одно имя: „Надя, Надя...”

„Тут я дала себе волю — полную — два года напролет

* По новой орфографии.

** По старой орфографии.

пролюбила, (*про-видела* во сне — сны помню!) — и как тогда не умерла (не сорвалась вслед) — не знаю. Об этом — о, странность! — я Вам говорю *первой*... Эту любовь я протаила в себе до — да, до нынешнего часа! и пронесла ее сквозь весь 1905 год. Она затмила мне смерть матери”¹³.

Вначале, пока мать снимала комнату недалеко от интерната, на Marienstraße № 2, все переносилось легче. Дети могли навещать ее, поочередно они проводили у нее ночь с субботы на воскресенье. Мать готовила им на спиртовке домашний чай и рассказывала новости из дома — о падении крепости Порт-Артур и о страшной кровавой бойне, устроенной войсками во время мирной демонстрации 9 января перед Зимним дворцом.

В феврале 1905 года приехал во Фрейбург актер Эмиль Поссарт. Он искал певцов для усиления своего хора. Мария Александровна хотела участвовать и видела уже так близко осуществление своей мечты — выступать на сцене. Но во время репетиции она простудилась. Начался плеврит, и туберкулез вспыхнул с новой силой. Вызвали профессора Цветаева. Пока он сидел у постели бредившей, находившейся в бессознательном состоянии жены, в его еще недостроенном Музее Изыщных Искусств разразился пожар, уничтоживший большое количество бесценных произведений искусства. Марию Александровну перевезли в больницу, а после этого в санаторий Санкт-Блазиен.

На Пасху все дети из интерната разъехались по домам, только Марина и Ася остались одни там. Сестры Бринк сжалились над ними и взяли их однажды к княгине Турн и Таксис на чай. Эта поездка, так отличавшаяся от каждодневной серой скуки во Фрейбурге, сохранилась как большое событие в памяти Марины. Она вспоминает этот день, когда получает в подарок от Рильке его „Дуинские элегии” и пишет об этом одно из своих произведений¹⁴.

Незадолго до конца школьного года обеих русских учениц чуть-чуть не исключили из пансиона, и только после вмешательства отца им разрешили остаться до начала каникул, 25 июля 1905 года. После этого отец освободил их от

ненавистой школы и перевез в Санкт-Блазиен, где мать все еще лечилась в санатории. Он поселил их в маленькой гостинице. Девочки были почти исключительно предоставлены самим себе и ходили гулять по пыльным дорогам под защитой ньюфаундленда, принадлежащего хозяину гостиницы. Иногда отец мог уделить им немного времени и тогда они совершали длинные пешеходные прогулки. Иван Владимирович страстно любил дальние и продолжительные прогулки и нашел этим летом в лице Марины достойную спутницу.

После трех лет кочевой жизни и хождения по знаменитым врачам Западной Европы состояние здоровья Марии Александровны не улучшилось, а, наоборот, стало еще хуже. И, так как врачи хотели отделаться от этой безнадежной больной, то они посоветовали ей вернуться на родину и поселиться в Крыму. Ивану Владимировичу, потерявшему надежду на ее выздоровление, не оставалось другого выхода, как осенью 1905 года вернуться с семьей в Россию.

Обратный путь проходит через Мюнхен и через австрийскую пограничную станцию Подволочиска. На другом берегу реки Збрус расположен город Волочиск — врата в Российское государство. Здесь пограничный контроль, пересадка в ширококолейные русские вагоны; живые цветы ввозить в Россию не разрешается, путешественники обыкновенно раздают их босоногим любопытным детям, которые ежедневно приходят на вокзал, чтобы полюбоваться элегантною публикой большого света. Елизавета Порецкая в своей книге рассказывает, что среди этих детей было несколько друзей, которые впоследствии, сделав карьеру в ГПУ и уже предчувствуя, что они все сами скоро станут его жертвой, всегда вспоминали цветы из Подволочиска после того, как все другие темы разговоров стали чересчур опасными. Могла ли Марина Цветаева тогда подозревать, что она здесь, может быть, смотрит в глаза тому, кто через много лет станет известен под псевдонимом „Игнац Рейсс” и таким трагическим образом повлияет на ее судьбу?¹⁵

ГЛАВА 3

В своих воспоминаниях Анастасия Цветаева не называет точной даты возвращения семьи в Россию; это было, наверно, в конце августа или в начале сентября 1905 года.

Первая остановка на пути домой была в Севастополе; пришлось задержаться здесь на несколько дней, так как Мария Александровна чувствовала себя очень плохо. В городе пахнет морем и Ася счастлива, оказавшись в атмосфере, напоминавшей ей Нерви. В сопровождении отца они знакомятся с достопримечательностями города: „Графской пристанью” с ее украшенной колоннами белой мраморной лестницей и „Панорамой обороны Севастополя” времен Крымской войны. Девочки с восхищением погружаются в воспоминания о героическом прошлом этого города и, только что приехав из-за границы, не подозревают, что делается в их стране, что после проигранной войны с Японией на их родине „пахнет революцией” и что там, где они стоят, скоро опять прольется много крови. В Севастополе на Асю самое большое впечатление производит инцидент с пестрой книжечкой, которую отец купил ей по ее просьбе. Мать и сестра отнеслись к этой покупке с презрением.

Между Севастополем и Ялтой, где Цветаевы собирались провести зиму, не было железнодорожного сообщения. Надо было или ехать морем, или через горы в коляске, на лошадях. Семья Цветаевых выбрала пароход, и Марина, которую укачивало даже во время поездки из Тарусы до станции „Песочная“, страдала от морской болезни в течение всего путешествия.

Нам неизвестен и точный день прибытия семьи в Ялту. „Была осень, дули ветра“. Вначале мать и дочери снимали этаж в гостинице „Квисисана“ в пригороде Ялты — Заречье. Гостиница принадлежала старому врачу. Старшая дочь врача, Вера, особенно понравилась Марине. Серьезная, темноглазая девушка считала себя, в отличие от всей своей семьи, революционеркой. В то время, как родители начинали приспосабливаться к жизни в чужом городе, искали контакта с врачами и не имели свободной минуты, чтобы заняться дочерьми, пока Ася играла с младшими детьми врача, Марина часто пропадала в комнате Веры, где иногда появлялись какие-то подозрительные личности. Анастасия Ивановна подозревает, что внезапный конец их пребывания в пансионе „Квисисана“ объясняется этой новой дружбой Марины, слишком опасной в те тревожные дни.

Новая квартира находилась на Дарсановской горе, высоко над городом и над морем. Дом принадлежал С. Я. Елпатьевскому, родственнику Ивана Владимировича, который сам поселился немного дальше, на новой даче на берегу, а комнаты своего пустующего дома сдавал больным. Но для больных местоположение этого дома было непригодно: он стоял на каменистом пригорке, без малейшего прикрытия от жестоких ледяных ветров, дувших в эту буйную осень со всех сторон. На верхнем этаже жила семья Никоновых, про которых говорили, что они устраивают нелегальные собрания. Марине ходить на верхний этаж было запрещено. Когда Иван Владимирович вернулся в Москву, все жители нижнего этажа стали собираться за общим обеденным столом и обсуждать политические вопросы и волнующие события дня. В этой обстановке Марина Цветаева

пережила и перестрадала революционную зиму 1905—1906 годов.

В то время, когда Мария Александровна с дочерьми поселилась на вилле Елпатьевского, напряженная атмосфера в Ялте, как и во всей России, достигла своего апогея. В разных частях страны начались беспорядки, сначала стачка печатников — газеты больше не выходили — потом всеобщая забастовка. Железнодорожники перестали работать сразу после отъезда Ивана Владимировича в Москву; сообщение было прервано. В Петербурге был сформирован первый совет рабочих; в Севастополе началось восстание под руководством лейтенанта Шмидта, офицера броненосца „Потемкин”. Было пролито много крови, восстание было подавлено, Шмидт расстрелян 6 марта.

17 октября царь издал Манифест о даровании конституции: она гарантировала свободу собраний и слова. Но 8 декабря в Москве начались уличные бои, которые продолжались до 2 января 1906 года. Рядом с домом Цветаевых в Трехпрудном переулке были построены баррикады. На Пресне на баррикадах сражалась Е. П. Эфрон-Дурново, многодетная мать, которая после подавления восстания была выслана из страны.

В Ялте, не считая нескольких демонстраций, было спокойно: здесь правил жестокий комендант-черносотенец, которого все боялись. Многие жители города были арестованы, среди них и молодой Никонов. Накануне этого вечером Марина была у них, несмотря на запрет родителей.

В течение этой зимы 13-летняя Марина переживает первый серьезный кризис в своей жизни: она принимает страстное участие во всем, что ее окружает. Как бы мгновенно перестает она интересоваться детскими играми своей сестры. Она полностью разделяет взгляды молодых людей, которые воюют за свободу народа. Она постоянно думает только о подвиге лейтенанта Шмидта и о самоотверженности молодой Марии Спиридоновой. Неудача революционного движения, за которое она сама так хотела бы пролить свою кровь, глубоко затрагивает ее.

„Маруся ходила меж нас, детей, как ходит раненый зверь. Озираясь, таясь. События прошедшей зимы... вошли в нее ранами. Закусив губы, со свойственной ей в случаях увлечения или страдания мало сказать „замкнутостью“, она сторонилась всех движением затравленного. Брезгливо и гневно она подозревала всех, особенно близких, — маму, меня и тех, кто садились с нами за стол... в желании вмешаться в ее мучения о героях, кумирах, в ее страсть к революции, к ее будущему... После вести о суде над лейтенантом Шмидтом и о его казни Маруся замкнулась в себе, таила от старших свою потрясенную горем душу. Это была рана. Она не позволяла касаться к ней”¹.

Несчастье Марины заключается в том, что в этот трудный период ее жизни между детством и юностью ей некому открыть свою душу. Лёра, которая могла бы сыграть важную роль и помочь ей, находится далеко; в отношениях же между матерью и дочерью возникают серьезные разногласия. Мария Александровна придерживается совсем других политических взглядов: она приверженка „кадетов” и радуется установлению конституционной монархии.

„Маруся только крепче сжимала недобрые сейчас губы, и в углах их затаивалась тень насмешки. Так, наверну, не о том говорили!”

Здоровье матери настолько ухудшилось, что она больше не может выходить. Она чувствует, что жизнь ее подходит к концу и просто не может больше вникать в проблемы дочери. Она запрещает ей всякое общение с такими людьми, как Никоновы, и не замечает, что Марина больше не ребенок и что с ней уже нельзя обращаться, как с ребенком. Агрессивность по отношению к матери, которая так ясно прослеживается в поздних произведениях Цветаевой и сказывается в утверждении, что мать ее преследовала и ею пренебрегала, без сомнения, имеет свои корни в переживаниях революционной зимы в Ялте.

Марина утаивает от домочадцев и свои восторженные, пламенные стихи, посвященные героям революции. Эти произведения никогда не были опубликованы и, по всей

вероятности, пропали безвозвратно. Только одно стихотворение этого периода цитирует по памяти в своей книге Анастасия Ивановна. Оно, еще не „первоклассное искусство“, но зато уже „первоклассная Цветаева“²:

Не смейтесь вы над юным поколеньем!
Вы не поймете никогда
Как можно жить одним стремленьем,
Лишь жаждой воли и добра.

Вы не поймете, как пылает
Отвагой бранной грудь бойца,
Как свято отрок умирает,
Девизу верный до конца!

.....

Так не зовите их домой,
И не мешайте их стремленьям,
Ведь каждый из бойцов — герой!
Гордитесь юным поколеньем!³

На Асю все, что происходило вокруг, влияло гораздо меньше. Она была еще настоящим ребенком и играла сначала с детьми Никоновых, а потом с детьми новых жильцов верхнего этажа, Максиком и Катей Пешковыми, детьми Максима Горького. Екатерина Павловна Пешкова переехала в Ялту после того, как ее знаменитый муж только что оставил ее ради красавицы-актрисы Андреевой. Но время от времени он приезжал в Ялту, чтобы навестить свою семью. Знакомство с Горьким, состоявшееся этой зимой, позже имело большое значение для обеих сестер: к искусству Марины Горький потом относился с презрением и отказался ей помочь, но он до самой своей смерти все делал, чтобы защитить Анастасию от любых нападок, и, вне всякого сомнения, она ему многим обязана. Сильная личность Екатерины Павловны, которая впоследствии стала главой „Политического Красного Креста“, произвела глубокое впечатление на Марину и Асю.

Лучом света и желанным отвлечением в жизни Марины и Аси оказались уроки и занятия, отвлекавшие их от тревог о здоровье матери и о будущем страны. Родителям удалось найти талантливую учительницу, которая готовила их на дому к экзаменам в 4-ый и 2-ой класс гимназии. Девочки учились охотно и очень привязались к своей маленькой горбатой учительнице.

В марте у Марии Александровны было кровотечение, которого она так боялась.

„В наши комнаты вошла, в них поселилась болезнь. Не та, что в них жила до сих пор! До сих пор маму доктора... отличали от других больных. С этой ночи мама вышла на дорогу, по которой шли все...”⁴

С этого времени Мария Александровна не имела никаких иллюзий относительно своего положения. Но девочки все еще продолжали оставаться в комнате больной матери, только стол, за которым они готовили уроки, был отодвинут от кровати на середину комнаты. Дополнительным огорчением для матери было то, что из-за ее болезни и приготовления уроков Марина почти перестала играть на рояле.

В начале лета Марина и Ася блестяще выдержали экзамены при женской гимназии в Ялте.

Когда Иван Владимирович в июне 1906 года впервые после всех минувших событий увидел свою семью, перед ним встала нелегкая задача: он должен был организовать переезд своей умирающей жены в Тарусу. Везти Марию Александровну пароходом уже было нельзя, они поехали до Севастополя на лошадях — 70 верст, потом поездом, потом опять на лошадях.

Приезд в Тарусу описывают обе сестры:

„Всю дорогу из Ялты в Тарусу мать переносили. („Села пассажиром, а доеду товарным”, — шутила она.) На руках же ее посадили в тарантас. Но в дом она себя внести не дала. Встала и, отклонив поддержку, сама прошла мимо замерших нас эти несколько шагов с крыльца до рояля, неузнаваемая и огромная после нескольких месяцев горизонтали,

в бежевой пелерине, которую пелериной заказала, чтобы не менять рукавов. — Ну, посмотрим, куда еще гожусь? — усмехаясь и явно — себе, сказала она. Она села. Все стояли. И вот из-под отвычных уже рук — ...Это была ее последняя игра”⁵.

„Она гордо вошла в дом такой, как его почти четыре года назад покинула: сама, без помощи, не снизойдя принять болезнь во внимание. Отстранила — и вошла”⁶.

Встреча с Валерией и с уже почти взрослым братом Андреем, с домашними и сверкающим всеми красками лета раем детства не могут отвлечь от сознания того, что жизнь матери приближается к концу. Через несколько дней после приезда у Марии Александровны начинается воспаление легких. 4 июля она зовет дочерей в последний раз, она хочет с ними проститься:

„Мамин взгляд встретил нас у самой двери. Кто-то сказал: „Подойдите!” Мы подошли. Сначала Марусе, потом мне мама положила руку на голову. Папа, стоя в ногах кровати, плакал навзрыд. Его лицо было смято. Обернувшись к нему, мама попыталась его успокоить. Затем нам: „Живите *по правде*, дети! — сказала она — *по правде* живите...”⁷

О ее смерти они узнали в лесу. Чтобы отвлечь их, Валерия увела их в лес собирать орехи. Мария Александровна Цветаева скончалась 5 июля 1906 года. Ей было 37 лет.

Увлечение юности напомнило о себе и после смерти. Во время похорон к коляске, в которой сидели Марина и Ася, подошел бородатый, темноглазый господин: „Дочери Мани?” — спросил он низким, теплым голосом. Он так смотрел на них, как будто хотел запомнить их на всю жизнь. Девочки поняли, что этот господин и был тот, кого их мать так любила своей первой, юношеской любовью.

Позже Цветаева часто возвращалась к теме конфликта с матерью. Не говоря этого открыто, она упрекала ее в недостатке нежности и тепла. В ее воспоминаниях некоторые черты характера матери приняли формы, которых, как подробно доказывает Анастасия Ивановна, у нее на самом деле не было. Образ матери, который Марина рисует в „Вечернем

альбоме”, наверное, гораздо ближе к действительности, чем тот, который появляется в ее последующих произведениях:

В старом вальсе штраусовском впервые
мы слышали твой тихий зов,
с той поры нам чужды все живые
и отраден беглый бой часов.

Мы, как ты, приветствуем закаты,
упиваясь близостью конца.
Все, чем в лучший вечер мы богаты,
нам тобою вложено в сердца.

К детским снам клонясь неустойчиво,
(без тебя лишь месяц в них глядел!)
Ты вела своих малюток мимо
горькой жизни помыслов и дел.

С ранних лет нам близок, что печален,
скучен смех и чужд домашний кров...
Наш корабль не в добрый миг отчален
и плывет по воле всех ветров!

Все бледней лазурный остров — детство,
мы одни на палубе стоим.
Видно грусть оставила в наследство
ты, о мама, девочкам своим!⁸

И Анастасия Ивановна свидетельствует:

„Она навсегда осталась нам Матерью с большой буквы, без тени упрека в ее сторону. Обожаемой, стоящей над всеми героизмом и той честью, с которой она вышла из боя с собою, из битвы между счастьем и долгом, в ней и утратив силу бороться с болезнью. Отдала любимого, но разбила жизнь мужу, уже старевшему, доброму нашему отцу. Это вело нас за руку десятилетия спустя в нашем бою с жизнью. Какая радость быть рожденным от такого сильного и чистого человека, бескорыстно прожившего жизнь, как наш

отец, от такой трагически, доблестно прожившей ее женщины, как наша мать! Трагедии себе не хочет никто, с нею рождаются. Благодарность, мир их праху!"⁹

ГЛАВА 4

Смерть матери явилась в жизни Марины и Аси великим переломным моментом, означающим внезапный, неподготовленный переход от милого безоблачного детства к „свободе” и отчужденности взрослых. Это привело Марину в состояние шока, от которого она полностью так и не смогла оправиться. О своем „сиротстве” она писала в 1936 году Анне Тесковой:

„Росла без матери, то есть расшибалась обо все углы. (*Угловатость* всех росших без матери во мне осталась. Но — скорей внутренняя. И *сиротство*.) ”

Одна только мысль — вернуться после трехлетней разлуки в любимый, родной московский дом и не застать там мать — была, по-видимому, для Марины настолько невыносима, что она упросила отдать ее в интернат строгой, консервативной гимназии фон Дервиз. Ася осталась дома — она была слабее и менее выносливой, чем крепкая старшая сестра, и отец боялся за ее здоровье. Потеря матери означала для нее и первую разлуку с Мариной. Первое время она

оставалась одна с отцом в Тарусе. На ее глазах его поразил удар, и он долгие месяцы пролежал в больнице.

Дома в Трехпрудном переулке Ася чувствовала себя очень одинокой. Сводный брат Андрей был чудак: он все только сидел один в своей комнате и играл на гитаре. Валерия была учительницей, она „работала на народ” и ее посещали друзья-революционеры, заниматься маленькой сестрой у нее не было ни времени, ни желания. Когда Марина бывала дома, она иногда присоединялась к кружку Валерии.

Ася занималась с учителем дома. Отец, не очень тонкий психолог, начал искать для нее как бы заместительницу матери и вызвал из Ялты ту учительницу, которую так любили в прошлом году Марина и Ася. Однако этот план окончился полным провалом. После нее в доме поселилась энергичная немка из Балтийского края, которая окончательно разрушила весь домашний уют. Марина красноречиво описывает домашнюю обстановку в стихотворении „Столовая”:

Столовая, четыре раза в день
Мирит на миг во всем друг другу чуждых.
Здесь разговор о самых скучных нуждах,
Безмолвен тот, кому ответить лень.

Все неустойчиво, недружелюбно, ломко,
Тарелок стук... Беседа коротка:

— „Хотела в семь она притти с катка?”

— „Нет, к девяти” — ответит экономка.

Звонок. — „Нас нет: уехали, скажи!”

— „Сегодня мы обедаем без света”...

Вновь тишина, не ждущая ответа;

Ведут беседу с вилками ножи.

— „Все кончили? Анюта, на тарелки!”

Враждебный тон в негромких голосах,

И все глядят, как на стенных часах

Одна другую догоняют стрелки.

Роняют стул... Торопятся шаги...
Прощай, о мир из-за тарелки супа!
Благодарят за пропитанье скупо
И вновь расходятся — до ужина враги.¹

Но Ася оставалась одна недолго. Уже весной 1907 года профессора Цветаева попросили взять Марину из интерната. В школе не могли держать ученицу, которая старалась разжечь в других увлечение революцией. Анастасия Ивановна приводит в своей книге несколько откликов бывших Марининых соучениц:

„Начальство боялось ее влияния на соучениц, так как считали ее выдающейся. Она была в гимназии нежелательна из-за своей революционности. От увлечения отроческими романтическими героями она сразу перешла на революционную литературу, она просто дышала революцией. Начальство очень обрадовалось, когда от нее отделалось”.

(С. И. Липеровская)

И другая соученица, подруга Марины, Валя Генерозова:

„...Преклоняясь перед борцами революции, Марина мечтала и сама принимать участие в борьбе за свободу и светлое будущее людей. Марина старалась меня познакомить с революционным движением, снабжая меня запрещенными в то время книгами. В атмосфере, царившей у нас в пансионе, Марина считалась „неблагонадежной” и боялись ее влияния. Говорили, что ей предложили уйти от нас за „свободомыслие”. Марина уверяла, что в предстоящей ей в будущем личной жизни она будет свободной от пут заурядного семейного быта, отдаваясь целиком работе на революционном и литературном поприще”².

Имена Ани Ланиной и Вали Генерозовой знакомы нам по „Вечернему альбому”. Им посвящены два стихотворения. Так как кажется маловероятным, что Марина Цветаева написала эти стихотворения только после того, как она оставила школу, то их следует отнести к началу 1907 года, и поэтому можно считать одними из первых произведений молодой

Цветаевой. С этого начинается „Лирический дневник”, с которым Марина не расстанется почти до конца своих дней. Итак, с 1907 года в нашем распоряжении непосредственный источник. Биографические сведения и представление о внутреннем мире юной Цветаевой, почерпнутые из этих ранних стихов, для биографа чрезвычайно важный материал.

Свое первое произведение в прозе Марина также написала в пансионе фон Дервиз. Анастасия Ивановна помнит, что прочла ее рассказ „Четвертые” за одну субботу и воскресенье, но не знает, что с ним произошло потом. Этой же весной Ася выдержала вступительный экзамен в третий класс гимназии Потоцкого.

Школьный 1907—1908 год принес обеим сестрам важные перемены. Марина жила опять дома и ходила в гимназию Альферовой. В верхнем этаже дома, в бывшем „детском этаже”, обе устроили для себя две комнаты и обставили их по своему вкусу. Теперь им было 15 и 13 лет. Марина была почти взрослая и делала уже прическу. Ася была очень похожа на нее манерой говорить, движениями головы и рук и также начинала интересоваться книгами, поэзией и политикой. Так как она находилась всецело под влиянием старшей сестры, Марина стала, наконец, относиться к ней, как к равной. Отчуждение, начавшееся с 1905 года, кончилось, и обе стали неразлучны. Они начали читать вместе, в один голос, с одинаковыми жестами, одинаковым возвышенным чувством Маринины стихи.

В этом возрасте Марина была особенно неуравновешена. Везде и во всем доставало ей матери. Она очень страдала из-за своей наружности: она считала себя слишком толстой и слишком краснощекой; она стеснялась носить очки, хотя была очень близорука. Особенно неприятны были ей посещения родственников или знакомых:

„Мученье стесняться было почти не под силу: войти в чью-то гостиную, где люди, в сеть перекрестных взглядов, под беспощадно светлым блеском ламп, меж ненавистных шелковых кресел, ширм, столов под бархатной скатертью

— было почти сверх сил. Окаменев, готовая себя разорвать за то, что снова покраснела до корней волос, она шла как на казнь (с недвижимым — ни один мускул! — лицом), опустив глаза, почти прекрасная в эти минуты! А на нее, наблюдая, глядели. Ох, если б она подняла глаза! В них было бы что-то от взгляда древней Медузы. Белая раскаленность презрения!”³

Сама Цветаева описывает это позже таким образом:

Гордость и робость — родные сестры
Над колыбелью, дружные, встали.

„Лоб запрокинув!” гордость велела,
„Очи потупив!” робость шепнула.
Так прохожу я — очи потупив —
Лоб запрокинув — Гордость и Робость.⁴

От всех этих неприятностей Марина спасалась в своем царстве в верхнем этаже дома. Она читала и писала до глубокой ночи. Теперь она читала все те книги, которые ей не давала мать: всего Пушкина, Гете, Шиллера, Жан Поля, Беттину фон Брентано. Так как в школе ей было скучно, она начала без угрызений совести пропускать занятия. Она пряталась на чердаке и ждала там, дрожа от холода, когда отец уйдет в Румянцевский музей, где он был директором. Тогда начинались счастливейшие часы дня. Когда Марина выходила из своей комнаты, лицо ее носило выражение отчужденности; на вопросы домашних она отвечала презрительным молчанием; больше всего хотелось бы ей порвать связи вообще со всем внешним миром и жить только со своими книгами. После смерти матери она больше не прикасалась к клавишам рояля. Все эти черты ее характера можно объяснить страхом перед состоянием взрослой и перед будущим, которое ей казалось ужасным. Потерянное детство превращается в рай земной:

Звонят-поют, забвению мешая
В моей душе слова: Пятнадцать лет!

О, для чего я выросла большая?
Спасенья нет!

Еще вчера в зеленые березки
Я убегала, вольная, с утра.
Еще вчера шалила без прически,
Еще вчера!

Весенний звон с далеких колоколен
Мне говорил: „Побегай и приляг!”
И каждый крик шалунье был позволен,
И каждый шаг!

Что впереди? Какая неудача?
Во всем обман и, ах, на всем запрет!
— Так с милым детством я прощалась, плача,
В пятнадцать лет⁵.

Почти единственным связующим звеном Марины с внешним миром все больше и больше становилась Ася. Она была веселее сестры и вполне счастлива в своей школе.

Две подруги Аси — Аня Калин и Галя Дьяконова — часто приходили к ней вечером в гости. Тогда появлялась и Марина, разговаривала с девочками, рассказывала о книгах, о дальних странах и читала им свои стихи. Аня и Галя были ее первой сочувствующей публикой. Из стихов Марины „Эльфочка в зале” мы можем заключить, что Аня очень хорошо играла на рояле, а Галя, которую особенно любила Ася, сделала впоследствии не совсем обыкновенную карьеру. В Швейцарии она, больная, познакомилась с молодым французским поэтом Полем Эльюаром, за которого вышла замуж уже во время войны. Известна миру она стала позже, благодаря бесчисленным портретам, которые с нее писал ее второй муж — Сальвадор Дали. Знаменитая Галя Дали скончалась в 1981 году.

Семья и родственники критиковали „дикарок”, росших без матери, но заниматься воспитанием никому не хотелось. Только один друг семьи, врач-дантист Лидия А. Тамбургер,

занялась ими и была для Марины и Аси как бы матерью-советчицей. В своем „Живое о живом” Цветаева говорит о ней как о „единственной, на 20 лет старшей подруге”. Ей она посвятила несколько стихотворений, опубликованных в „Вечернем альбоме” и „Волшебном фонаре”.

Осенью 1908 года Марину охватила новая страсть, которая заставила ее забыть увлечение революционным движением. Она прочла „Орленка” Эдмонда Ростана и влюбилась в Наполеона и его несчастного сына, герцога Рейхштадтского. В течение всей зимы 1908/09 года она работала над стихотворным переводом „Орленка”.

„Кого из них она любила сильнее — властного отца, победителя стольких стран, или угасшего в юности его сына, мечтателя, узника Австрии? Любовь к ним Марины была раной, из которой сочилась кровь. Она ненавидела день с его бытом, людьми, обязанностями. Она жила только в портретах и книгах... Поглощенность Марины судьбой Наполеона была так глубока, что она просто не жила своей жизнью. Полдня запершись в своей низенькой комнатке, увешанной гравюрами и портретами, окруженная французскими книгами, она с головой уходила в иную эпоху, жила среди иных имен... Ни одна из жен Наполеона, ни родная мать его сына, быть может, не оплакали их обоих с такой страстной горечью, как Марина в 16 лет!”⁶

Восхищение Наполеоном заходит так далеко, что она переоборудует свою комнату в наполеоновском стиле — темно-красное небо, усыпанное маленькими золотыми звездами. („Хотелось с наполеоновскими пчелами, но так как в Москве таковых не оказалось, примирилась на звездах...”⁷ Она завешивает стены портретами Наполеона. Между ней и ее отцом происходит бурная сцена, когда он замечает, что Марина поставила в киот на место иконы портрет любимого героя. Возмущенная таким вмешательством, Марина бледнеет и хватается подсвечник, стоящий на столе.

„Это был жест отчаяния. Самозащита зверя, кусающего, когда отнимают берлогу. Такой берлогой и был Марине

весь этот культ Наполеона, и все ее культы, и Надя Иловайская, и лейтенант Шмидт. В преклонении перед ними скрывалась, как в последний приют, душа ее, по безмерной гордости, не находя себе признания и дела, забываясь — насколько хватит! — а колдовском ритменном даре”⁸.

Марина запирается в своей берлоге и живет в царстве теней французского ампира. Ее не интересует, что сразу же за ее дверью, в современном ей Петербурге и Москве, кипит такая культурная и духовная жизнь, какая выпадает на долю человечества только в его звездные часы, хотя она и слышала о борьбе нового, „декадентского” мира символистов против классической литературы. Ей знакомы имена Бальмонта и Брюсова, но они ей ничего не говорят и не служат примером. Все ее юношеские стихотворения совершенно свободны от влияния каких бы то ни было литературных течений. Ее кумирами остаются Пушкин и Ростан; темы ее произведений — это герои Ростана или простые каждодневные события, описанные ребенком или совсем юной девушкой. Цветаевой не знакомы правила просодии. Она пишет по слуху, повинувшись горячему сердцу. Ее капризы и хандра — это признаки развития и роста ее художественного мира. С самого начала Марина Цветаева идет своим собственным творческим и человеческим путем.

ГЛАВА 5

В начале 1909 года удар иного рода поразил профессора Императорского Московского Университета и тайного советника Ивана Владимировича Цветаева. 25 января было обнаружено, что из отделения гравюр Румянцевского Музея исчезло немалое количество ценных гравюр. Виновником оказался один привилегированный посетитель этого отдела, которому покровительствовал сам профессор Цветаев.

В наше время вряд ли можно было бы обвинить директора библиотеки или музея, если при таких условиях работы, были бы украдены книги или гравюры. До этого происшествия Цветаев неоднократно докладывал о невозможных условиях в помещениях и книгохранилищах, а также о недостатке персонала в его институте. Румянцевский Музей — самая большая публичная библиотека города Москвы (после революции 1917 года она стала национальной библиотекой страны под названием „Библиотека имени Ленина”) насчитывала в 1909 году около 12 500 зарегистрированных читателей и около 230 000 томов, которыми можно

было пользоваться только в читальных залах. Персонал же состоял только из девяти библиотечных работников, включая директора, и тридцати восьми добровольных помощников, на которых лежала обязанность исполнять все работы в библиотеке и музее¹. Когда была обнаружена кража гравер, министр просвещения, А. Н. Шварц, несколько раз посылал ревизионные комиссии, но не для того, чтобы улучшить условия работы, а чтобы повредить своему прежнему товарищу по университету и теперешнему личному врагу И. В. Цветаеву. В первую голову он добился увольнения начальника отдела.

Приблизительно в это же время Марина пробовала свои первые шаги в литературном мире. В доме Лидии Александровны Тамбурер, друга семьи, она познакомилась с Львом Львовичем Кобылинским, известным под псевдонимом Эллис. Это был худой тридцатилетний человек, в черном пальто, с блестящей лысиной и редкими черными волосами, с продолговатым лицом, зелеными глазами и очень красным ртом. Он был похож на колдуна из какого-нибудь средневекового романа. Эллис был лучшим другом и соратником Андрея Белого, некоторые его считали идеологом молодого поколения символистов.

Эта первая встреча с настоящим поэтом произвела на Марину большое впечатление. Сначала она была застенчива, но с тех пор, как Эллис нанес визит Цветаевым и начал все чаще и чаще появляться в Трехпрудном переулке, Марина оттаяла и стала читать ему свои стихи:

„Маринин творческий дар Эллис читал, слушал ее стихи, хвалил перевод „Орленка” (сам будучи известным переводчиком)”.

Эллис жил бедно, перебивался со дня на день, кормился он у друзей. Он стал приходить все чаще, оставался к ужину и занимал Марину и Асю рассказами о дальних странах и о том, что происходит в московском литературном мире. Вместе с Андреем Белым и Сергеем Михайловичем Соловьевым (племянником философа Влад. Соловьева) он принадлежал к группе философско-литературного движения

„Аргонавты”. В это время они готовились организовать новое издательство „Мусагет”, чтобы лучше защищаться от всемогущего поэта и „мэтра” Валерия Брюсова, который играл первую роль в издательстве „Весы”. Скоро Марина и Ася не могли себе представить, как провести вечер, на котором не присутствовал бы Эллис:

.....

Он влетает к нам, как птица,
И сам влетает в нашу сеть.
И сразу хочется кружиться,
Кричать и петь.²

Но Эллис противился тому, чтобы познакомить сестер Цветаевых со знаменитым Андреем Белым. Марина и Ася встретили других членов этого круга у своих друзей из Тарусы — Виноградовых: Сережу Соловьева и знатока древней филологии Владимира Нилендера. Анастасия Цветаева тепло вспоминает милую улыбку Нилендера и его симпатичную особенность подсмеиваться над самим собой и над другими.

От Анатолия Виноградова Марина услышала недобрую весть — перевод на русский язык „Орленка” Э. Ростана уже сделан кем-то другим.

„Марина очень огорчилась, пожала плечами... Судьба! Мысль дать новый перевод, видимо, не приходила Марине в голову, или не шла в душу. ...Я больше никогда не слыхала о Маринином переводе „Орленка”³.

В начале летних каникул 1909 года Марина делает свой первый самостоятельный шаг: шестнадцатилетняя девушка едет одна в Париж и записывается в „Alliance française” на курсы иностранцев. Она живет в Париже, погруженная в свои грезы. Самое сильное впечатление, полученное от пребывания в Париже, — это спектакль „Aiglon”, в котором Сара Бернар играет роль главного героя.

Много лет спустя Марина пишет А. В. Бахраху:

„Я была в Париже в первый раз 16-ти лет, одна: взрослая,

независимая, суровая. Поселилась на Rue Bonaparte из любви к Императору и, кроме N (торжественное "Non" всему, что не он) в Париже ничего не увидела. Этого было достаточно... Пойдите во имя мое на Rue Bonaparte и вспомните меня, 16-тилетнюю. Только не умиляйтесь, я совсем не была умильной, я была героичной: то есть: бесчеловечной..."⁴

Под впечатлением этого пребывания в Париже Марина пишет целый ряд особенно романтических стихов: о Наполеоне, герцоге Рейхштадтском, графине Камерата и „маленькой” Саре Бернар. Эта серия стихов достигает своего кульминационного пункта в стихотворении „Разлука”, в котором Марина сравнивает судьбу сына Наполеона с судьбой Христа и замок Шёнбрунн называет Голгофой. Но из другого произведения, которое она послала Асе в Тарусу, чувствуется, что Марина не очень счастлива в Париже:

В ПАРИЖЕ

Дома до звезд, а небо ниже,
Земля в чаду ему близка.
В большом и радостном Париже
Все та же тайная тоска.

Шумны вечерние бульвары,
Последний луч зари угас,
Везде, везде все пары, пары,
Дрожанье губ и дерзость глаз.

Я здесь одна. К стволу каштана
Прильнуть так сладко голове!
И в сердце плачет стих Ростана
Как там, в покинутой Москве.

Париж в ночи мне чужд и жалок,
Дороже сердцу прежний бред!
Иду домой, там грусть фиалок
И чей-то ласковый портрет.

Там чей-то взор печально-братский,
Там нежный профиль на стене.

Rostand и мученик-Рейхштадтский
И Сара — все придут во сне!

В большом и радостном Париже
Мне снятся травы, облака,
И дальше смех, и тени ближе,
И боль как прежде глубока.⁵

Ася тем временем провела счастливое лето в Тарусе, вдали от тирании старшей сестры.

Когда в Тарусе уже начали топить печи, и все готовились к отъезду, там появилась, наконец, и Марина. Некоторое время она остается там одна, чтобы отдохнуть, и это время одиночества и размышления приобретает для молодой Цветаевой особенное значение. Пребывание в Париже поставило многое на свое место, и ее творчество достигает первого апогея, как показывает стихотворение „Молитва”, написанное в день ее 17-летия:

Христос и Бог! Я жажду чуда
Теперь, сейчас, в начале дня!
О, дай мне умереть, покуда
Вся жизнь, как книга для меня.

Ты мудрый, ты не скажешь строго:
„Терпи, еще не кончен срок”.
Ты сам мне подал — слишком много!
Я жажду сразу — всех дорог!

Всего хочу: с душой цыгана
Идти под песни на разбой.
За всех страдать под звук органа
И амазонкой мчаться в бой;

Гадать по звездам в черной башне,
Вести детей вперед, сквозь тень...
Чтоб был легендой — день вчерашний,
Чтоб был безумьем — каждый день!

Люблю и крест, и шелк, и каски
Моя душа мгновений след...
Ты дал мне детство — лучше сказки
И дай мне смерть — в семнадцать лет!⁶

Этой осенью в Тарусе Марина окончательно становится взрослой. Она начинает сознавать, что нельзя постоянно жить в царстве теней, что нужно также общаться с живыми людьми. Вдруг она вспоминает своего московского знакомого и пишет ему письмо:

„Милый Лев Львович! У меня сегодня под подушкой Ваши письма и я видела сны — о Наполеоне и о маме... Милый Чародей, непременно приезжайте в Тарусу, многое, многое Вам расскажу”⁷.

Еще сильнее это выражается в стихах:

НОВОЛУНЬЕ

Новый месяц встал над лугом
Над росистой межей.
Милый, дальний и чужой,
Приходи, ты будешь другом.

Днем скрываю, днем молчу.
Месяц в небе — нету мочи!
В эти месячные ночи
Рвусь к любимому плечу.

Не спрошу себя: „Кто ж он?”
Все расскажут твои губы!
Только днем объятья грубы,
Только днем порыв смешон⁸.

Мы было предположили, что здесь завязывается большая романтическая любовь. Но, на самом деле, все выходит иначе: вместо горько-сладкой драмы — скорее фарс. В то время, когда Марина начинает мечтать о своем герое, он сам попадает в неприятное положение, которое все расстраивает:

как будто нарочно — Эллис — друг семьи Цветаевых попадает на том, что в Румянцевском Музее вырывает из книг страницы, чтобы воспользоваться ими для своих работ. В годовом отчете Музея за 1909 год директор, И. В. Цветаев, пишет:

„Кобылинский вместо того, чтобы переписывать нужные ему тексты, вырывал их из принадлежащих Музеям книг и заклеивал в свою рукопись. Так он поступил с двумя книгами. Пойманный на третьей, он чистосердечно сознался в своем поступке и в тот же день представил новые экземпляры книг, взамен изрезанных им, а равно и деньги на переплет их и, таким образом, возместил полностью весь небольшой ущерб, нанесенный им Музеям. Но Музеи не могли оставить безнаказанным такое обращение с их имуществом уже из принципиальных соображений... Недостаток служителей делает в высшей степени затруднительным надзор за читающими посетителями. Между тем, известно, как мало у нас уважения к книге. В силу этого, Музеями было сообщено о поступке Кобылинского Прокурору Окружного Суда. Прокурор признал дело подсудным Мировому судье, у которого оно и разбиралось 27-го октября. Так как Музеи не искали с Кобылинского возмещения ущерба и, возбуждая судебное преследование против него, имели в виду лишь общественный интерес, то они и не явились на разбирательство дела, считая, что судья не в праве оставить его без рассмотрения. Когда же судья, ввиду неявки представителя Музеев, прекратил, по просьбе обвиняемого, дело, Музеи вынуждены были подать апелляционную жалобу, и столичный Съезд Мировых Судей, уважив доводы Музеев, передал дело судебному следователю. С этой передачей дела следственной власти участие Музеев в нем окончено”⁹.

Этот „инцидент с Эллисом” — название, под которым он попал в прессу, — поднял страшную бурю. В течение нескольких недель газеты помещали под крупными заголовками длинные сообщения об испорченности декадентов, с наслаждением сообщали о них все новые неприятные подробности. Хотя всем было понятно, что Эллис оказался

вором только из-за своей гениальной рассеянности и ничего плохого сделать не хотел, его репутация была подорвана. Показываться у Цветаевых он больше не мог. Только одна Марина решительно стала на его сторону — как всегда, если нужно было защищать преследуемого поэта. Она послала ему стихи:

БЫВШЕМУ ЧАРОДЕЮ

Вам сердце рвет тоска, сомненье в лучшем сея.
— „Брось камень, не щади! Я жду, больней ужаль!”
Нет, ненавистна мне надменность фарисея,
Я грешников люблю, и мне вас только жаль.

Стенами темных слов, растущими во мраке,
Нас, нет, — не разлучить! К замкам найдем ключи
И смело подадим таинственные знаки
Друг другу мы, когда задремлет все в ночи.

Свободный и один, вдали от тесных рамок,
Вы вновь вернетесь к нам с богатою ладьей,
И из воздушных строк возникнет стройный замок,
И ахнет тот, кто смел поэту быть судьей!

— „Погрешности прощать прекрасно, да но эту —
Нельзя: культура, честь, порядочность... о нет!”
— Пусть это скажут все. Я не судья поэту,
И можно все простить за плачущий сонет!¹⁰

Неудивительно, что осмеянный и поруганный Эллис иначе понимает стихи, чем сама Марина. Он немедленно пишет ей письмо, в котором признается в своей любви и просит стать его женой. С этим письмом он посылает к Марине лучшего своего друга — Владимира Оттоновича Нилендера.

История все больше и больше запутывается: Нилендер застаёт Марину в полутемной гостиной цветаевского дома, куда скоро приходит и Ася. Завязывается разговор, Нилендер остается к ужину. Потом, сидя втроем в маленькой

комнатке Марины, разговаривают и рассказывают друг другу о своей жизни. Только когда за окном начинает светать, Нилендер хватается за голову: „Марина! Лев ждет! Что мне ему сказать?“ Все трое совершенно забыли Эллиса. Марина и Ася влюбились в Нилендера, а он в Марину.

„В этот день мы купили темно-синий кожаный альбом, книжку с золотым обрезом, назвали ее „Вечерний альбом“ и записали в ней все, что помнилось о том нашем вечере, из сказанного — им или нами: из наших бесед после него. Альбом мы надписали ему. Туда же мы позже вписали новые Маринины стихи 'Сестры' ”¹¹.

Марина и Ася на седьмом небе и верят, что нашли нового брата. Но Марина возмущена предложением Эллиса: она — жена „Чародея“? Как могла прийти ему в голову такая нелепая идея? Но для своего отказа она находит подходящую форму:

Когда снежинку, что легко летает
Каз звездочка упавшая скользя,
Берешь рукой — она слезинкой тает
И вернуть воздушность ей нельзя.

Когда пленясь прозрачностью медузы
Ее коснемся мы капризом рук,
Она, как пленник, заключенный в узы,
Вдруг побледнеет и погибнет вдруг.

Когда хотим мы в мотыльках-скитальцах
Видать не грезу, а земную быль —
Где их наряд? От них на наших пальцах
Одна зарей раскрашенная пыль!

Оставь полет снежинкам с мотыльками
И не губи медузу на песках!
Нельзя мечту свою хватать руками,
Нельзя мечту свою держать в руках!

Нельзя тому, что было грустью зыбкой
Сказать: „Будь страсть! Горя безумствуй, рдей!“

Твоя любовь была такой ошибкой —
Но без любви мы гибнем, Чародей!¹²

Мечта о новом „брате” продолжается лишь несколько дней. 30 декабря Марина и Ася опять встречаются с Нилендером, но этот день отмечен недоброй звездой: Ася первая понимает, что здесь происходит: „брат”, который так плохо исполнил поручение друга, просто-напросто хочет занять его место, теперь он хочет жениться на Марине.

„Я понимаю”, — говорит Ася и встает.

„А я не понимаю, ...я совсем себе все не так представляла”, — отвечает Марина.

Ася знает, чем кончится разговор с глазу на глаз. Мысль о замужестве совершенно чужда Марине; она допускает только чувство дружбы и уважения. Совершенно ясно, что она может только отвергнуть предложение Нилендера.

Марина отвергает предложение Нилендера, хотя она его любит. Она „приносит жертву”, чему она научилась у своей учительницы — Пушкинской Татьяны. Но после этой „жертвы” ее любовь только и разгорается по-настоящему. Что ее чувства не относятся к реальному молодому человеку, переводчику Гераклита, который имеет очень реальное, то есть другое понятие о любви, что он у Марины превращается в романтический миф и приобретает черты нездешнего героя — обыкновенное явление, если девушка влюбляется впервые. Но в отличие от „обыкновенных” романтических девушек молодой Цветаевой удастся переплавить муки своей первой любви в лирику, которая поражает своим совершенством. До осени 1910 года она пишет целый ряд стихов, большинство которых она потом напечатает в „Вечернем альбоме” и в „Волшебном фонаре”:

Сколько светлых возможностей ты погубил, не желая!
Было больше их в сердце, чем в небе сияющих звезд.
Лучезарного дня после стольких мучений ждала я,
Получила лишь крест.

Что горело во мне? Назови это чувство любовью,
Если хочешь, иль сном, только правды от сердца не
скрой:

Я сумела бы, друг, подойти к твоему изголовью
Осторожной сестрой.

Я кумиров твоих не коснулась бы дерзко и смело,
Ни любимых имен, ни безумно-оплаканных книг.
Как больное дитя я тебя б убаюкать сумела
В неутешенный миг.

Сколько светлых возможностей, милый, и сколько
смятений!

Было больше их в сердце, чем в небе сияющих
звезд...

Но во имя твое я без слов — мне свидетели тени.
Поднимаю свой крест".¹³

Ася не так трагично отнеслась к „зимней сказке". Она каталась на коньках и веселилась в Тарусе. Марина же была в полном отчаянии. Она начинает курить и даже, как намекает Анастасия Цветаева, думает о самоубийстве:

„Только тридцать четыре года спустя, уже после смерти Марины, я узнала о тех днях. Но намеками она сказала, что револьвер дал осечку. Она хотела это сделать в театре, на роستانовском „Орленке", когда играла Сара Бернар. В 1943 году, после смерти Марины, мне прислали ее предсмертное письмо ко мне, прощальное, 1909-го года"¹⁴.

В марте 1910 года Марина пережила казалось бы маленькое, незначительное приключение. В книжном магазине Вольф на Кузнечном Мосту она видит и узнает поэта Валерия Брюсова и слышит, как тот говорит продавцу за прилавком: „Дайте мне "Chanteclair", хотя я не почитаю Ростана". Для Марины эти слова как удар кинжалом: в ней сразу просыпается дух протеста и, вернувшись домой, она пишет знаменитому „мэтру" следующее письмо:

„Многоуважаемый Валерий Яковлевич. Сейчас у Вольфа Вы сказали „...хотя я не поклонник Rostand'a. Мне тут же захотелось спросить Вас, почему? ...Почему Вы не любите Rostand? Неужели и Вы видите в нем только „блестящего фразера", неужели и от Вас ускользает его бесконечное

благородство, его любовь к подвигу и чистоте? Это не праздный вопрос. Для меня Rostand — часть души, очень большая часть. Он меня утешает, дает мне силу жить одиноко. Я думаю, — никто, никто так не знает, не любит его, как я. Ваша мимолетная фраза очень меня опечалила...”¹⁵

Наверно, Брюсову очень понравилось это письмо. Великий „мэтр” снизошел до того, что послал Марине на адрес Румянцевского Музея милое письмо. Он не любит Ростана просто потому, что ему „не суждено его любить”, потому что „любовь случайность”. Он выражает желание познакомиться с молодой энтузиасткой или продолжить с ней переписку.

„...На это письмо я, естественно (ибо страстно хотелось!), не ответила. Ибо любовь — случайность”¹⁶.

Весной 1910 года министр Шварц послал своему врагу Цветаеву две новые комиссии в Музей; они еще раз должны были проконтролировать дело о краже гравюр. Несмотря на это, Иван Владимирович уехал в июне по делам службы в Германию и взял дочерей с собой. Он много ездил и вел переговоры о своем новом музее, а на это время отправил Марину и Асю на курорт *Weißer Hirsch* в Лёшвиц около Дрездена, в семью несколько странного пастора, восторженного любителя музыки. Они должны опять подучить немецкий язык и усовершенствоваться в домоводстве.

Хотя Марина и здесь не может забыть своего любимого — что сказывается в ее стихах — ей открывается новый, еще мало знакомый мир — творчество немецких поэтов: Гейне, Новалис, Беттина фон Брентано и, конечно, Гете, который на всю жизнь становится для нее путеводной звездой, „неизмеримо любимого больше Толстого”, как она писала Иваску 12.5.1934. Ее любовь и восхищение Германией („...Моя страсть, моя родина, колыбель моей души...”) укрепляется окончательно в течение этого лета.

Из Москвы приходят плохие известия: 13 июня, всего лишь через несколько дней после их отъезда из России, профессор Цветаев был уволен со своей должности дирек-

тора Румянцевского Музея. Министр Шварц победил. Иван Владимирович не прервал свое путешествие по Германии. Он закончил взятую на себя программу, а потом он нашел комнату в спокойной деревне, где он написал в свою защиту две работы, которые были изданы в Германии в 1910 и 1911 годах¹⁷. Несправедливость, с которой он был объявлен официальным козлом отпущения за ошибки и попущения стоящих над ним инстанций, глубоко его поразила. И несмотря на то, что вскоре после 1910 года он был не только совсем оправдан, но даже назван почетным членом Музея, он до самой смерти не мог оправиться от этого удара.

Лето подходит к концу. Ася не хочет оставлять отца одного и откладывает отъезд из Германии. Марина должна вернуться в Москву к началу школьных занятий. 17 августа она приезжает в пустую, покинутую на лето квартиру. Она одинока: родственники еще не вернулись, а любимый далеко и недостижим. В этот день, 17 августа, она пишет стихотворение "Vitam impendere vero" и этим завершает главу „Любовь” в „Вечернем альбоме”:

Мир утомленный вздохнул от смятений
Розовый вечер струит забытье...
Нас разлучили не люди, а тени,
Мальчик мой, сердце мое!

Высятся стены, туманом одеты,
Солнце без сил уронило копье...
В мире вечернем мне холодно. Где ты,
Мальчик мой, сердце мое?

Ты не услышишь. Надвинулись стены,
Все потухает, сливается все...
Не было, нет и не будет замены,
Мальчик мой, сердце мое!

И вдруг рождается внезапное решение: есть только одна возможность устранить преграды, стоящие между Мариной и Нилендером: она не может посылать ему свои стихи, но если их напечатать, он сможет их прочесть:

Ведь от века зажженные верой иною
Укрывались от мира в безлюдьи пустынь?
Нет, не надо улыбок, добытых ценою
Осквернения высших святынь.

Мне не надо блаженства ценой унижений.
Мне не надо любви! Я грущу — не о ней.
Дай мне душу, Спаситель, отдать — только
тени

В тихом царстве любимых теней.

ГЛАВА 6

Вышедший в 1910 году „Вечерний альбом” был лишь одним из многочисленных первых опытов начинающих молодых писателей. Теперь с трудом можно себе представить, как велика и интенсивна была культурная жизнь в течение первых десяти лет XX века. Недаром это десятилетие прозвали „Серебряным веком” русской поэзии. Особенно важно и благотворно было то, что существовала не одна столица культурной жизни, а две. Соревнование между Петербургом и Москвой способствовало тому, что во всех областях искусства — в поэзии, музыке, изобразительных искусствах — были достигнуты выдающиеся успехи. И в Москве, и в Петербурге нашлись частные благотворители и выдающиеся люди, вокруг которых толпились писатели, музыканты, художники, театральные деятели. Издательства финансировались частными лицами; в литературных кружках зарождались новые идеи, можно было поговорить и поспорить.

Центрами литературной и культурной жизни были в Петербурге „Религиозно-философское общество” Мережковского и З. Гиппиус, собрания в „башне” Вячеслава Иванова, редакции „Мира искусства” и „Аполлона”; в Москве круг „Аргonautов” Андрея Белого и издательство „Весы”, где царствовал Брюсов. Среди поэтов Петербурга, самые знаменитые были Александр Блок, Николай Гумилев и Михаил Кузмин.

В книге своих воспоминаний, написанной на немецком языке, Иоганнес фон Гюнтер, выходец из Прибалтики, участник Петербургской литературной жизни, рассказывает, как осенью 1910 года в Петербурге была „открыта” новая молодая поэтесса „первого ранга”. Это произошло на „башне” Вячеслава Иванова; и когда после чтения ее стихов хозяин подошел к ней и церемонно поцеловал ей руку, она была официально принята в круг аполлонских олимпийцев — к великой досаде Зинаиды Гиппиус. Молодая поэтесса была женой Гумилева. Ее писательский псевдоним: Анна Ахматова¹.

Первое вступление Цветаевой в мир литературы было гораздо незаметнее. У нее не было никого, у кого она могла бы хоть спросить совета: как вести себя, что нужно делать „как поэтесса”; она даже не знала, что принято посылать в редакции газет экземпляр своей книги. Удивительно, что маленький томик стихов неизвестной писательницы все-таки попал на письменные столы влиятельных людей и был подробно прокомментирован. Брюсов написал рецензию в литературном отделе „Русской Мысли”; сначала он разбирал первое произведение другого молодого поэта — Ильи Эренбурга.

„Стихи Марины Цветаевой напротив (Эренбурга), всегда отправляются от какого-нибудь реального факта, от чего-нибудь действительно пережитого. Не боясь вводить в поэзию повседневность, она берет непосредственно черты жизни, и это придает ее стихам жуткую интимность. Когда читаешь ее книгу, минутами становится неловко, словно заглянул нескромно через полузакрытое окно в чужую

квартиру и посмотрел сцену, видеть которую не должны бы посторонние. Однако, эта непосредственность, привлекательная в более удачных пьесах, переходит на многих страницах толстого сборника в какую-то „домашность”. Получаются уже не поэтические создания (плохие или хорошие, другой вопрос), но просто страницы личного дневника и притом страницы довольно пресные. Последнее объясняется молодостью автора, который несколько раз указывает на свой возраст... Если в следующих книгах г-жи Цветаевой появятся те же ее любимые герои — мама, Володя, Сережа... мы будем надеяться, что они станут синтетическими образами, символами общечеловеческого, а не просто беглыми портретами родных и знакомых и воспоминаниями о своей квартире. Мы будем также ждать, что поэт найдет в своей душе чувства более острые, чем те милые пустяки, которые занимают так много места в „Вечернем альбоме”, и мысли более нужные, чем повторение старой истины: „надменность фарисея ненавистна”. Несомненно талантливая, Марина Цветаева может дать нам настоящую поэзию интимной жизни и может, при той легкости, с какой она, как кажется, пишет стихи, растратить свое дарование на ненужные, хотя бы изящные безделушки”².

Брюсов, который с высоты своего величия рассматривал и разбирал новую лирику, наверно, считал, что его критика очень благожелательна. С другой стороны, мы узнаем из воспоминаний Анастасии Цветаевой, что он, по всей вероятности, имел основания принять на свой счет не только „ненавистную ложь фарисеев” в деле Эллиса, но что и стихи „Недоразумение” были направлены против него³. Цветаева сама говорит в „Герое труда”, что ее эта критика очень рассердила: она заметила в ней только неприятное. Не откладывая, она написала ответ в стихах и не нашла ничего лучшего, как напечатать их с полным посвящением в своей второй книге:

В. Я. БРЮСОВУ

Улыбнись в мое „окно”
Иль к шутам меня причисли —
Не изменишь, все равно!
„Острых чувств” и „нужных мыслей”
Мне от Бога не дано.

Нужно петь, что все темно,
Что над миром сны нависли...
— Так теперь заведено. —
Этих чувств и этих мыслей
Мне от Бога не дано!

Гумилев совсем иначе принял эту новую книгу молодого автора. „Папе Акмеизма” в Петербурге понравилось как раз то, что так осуждал „Папа Символизма” в Москве. В мае 1911 года он писал в журнале „Аполлон”:

„Марина Цветаева (книга: „Вечерний альбом”) внутренне талантлива, внутренне своеобразна. Пусть ее книга посвящается „блестящей памяти Марии Башкирцевой”, эпиграф взят из Ростана, слово „мама” почти не сходит со страниц. Все это наводит только на мысль о юности поэтессы, что и подтверждается ее собственными строчками-признаниями. Многого ново в этой книге: нова смелая (иногда чрезмерно) интимность, новы темы, например, детская влюбленность; ново непосредственное, безумное любование пустяками жизни. И, как и надо было думать, здесь инстинктивно угаданы все главнейшие законы поэзии, так что эта книга — не только милая книга девических признаний, но и книга прекрасных стихов”⁴.

В 1977 году в журнале „Новый мир” Ириной Кудровой была вновь опубликована одна рецензия на сборник „Вечерний альбом”, которая больше всего повлияла на будущую карьеру молодой Цветаевой. Эта рецензия, напечатанная в журнале „Утро России”, была написана Максимилианом Волошиным:

„Это очень юная и неопытная книга „Вечерний альбом”... Многие стихи, если их раскрыть случайно, посреди книги, могут вызвать улыбку. Ее надо читать подряд, как дневник, и тогда каждая строчка будет понятна и уместна. Она вся на грани последних дней детства и первой юности. Если же прибавить, что автор ее владеет не только стихом, но и четкой внешностью внутреннего наблюдения, импрессионистической способностью закреплять текущий миг, то это укажет, какую документальную важность представляет эта книга, принесенная из тех лет, когда обычно слово еще недостаточно послушно, чтобы верно передавать наблюдение и чувство”⁵.

Этими словами Волошин выразил то, что нас так пленит и через 60 лет после выхода в свет первых двух сборников Цветаевой, но тогда этого никто не понимал. Меньше всего сама Марина. Она продолжала ходить в 7 класс гимназии Брюханенко, куда осенью поступила и Ася. Но ни учителя, ни ученицы ни слова не говорили о книге Марины; дома также о ней молчали. Иван Владимирович был занят другими заботами: теперь он все свои силы сосредоточил на окончательном воплощении своего творения — Музея Изящных Искусств им. Александра III. Возможно, что он действительно ничего не знал о литературной активности своей дочери. К тому же уход Толстого из Ясной Поляны 28 октября, и смерть его 7 ноября на маленькой железнодорожной станции вытеснили из умов все другие литературные сенсации. Марина и Ася, как и многие другие, хотели проститься с великим почившим писателем; ночью, в темноте и тумане, они сбежали из дома, ухитрились, с большими приключениями, добраться до Ясной Поляны и присутствовали на похоронах Толстого.

Но в один прекрасный вечер в декабре произошло нечто неожиданное: один из выдающихся представителей литературной Москвы явился с визитом в Трехпрудный переулок. Цветаева подробно описала это в „Живое о живом”:

„Звонок. Открываю. На пороге цилиндр. Из-под цилиндра безмерное лицо в оправе выющейся недлинной бороды.

Вкрадчивый голос: — Можно мне видеть Марину Цветаеву? — Я. — А я — Макс Волошин. К вам можно? — Очень! Пропшли наверх, в детские комнаты. — Вы не читали мою статью о вас? — Нет. — Я так и думал и потому вам ее принес. Она уже месяц, как появилась...”

Странный гость не отрывает от Марины пронзительного взгляда своих почти белых глаз, снимает — чтобы лучше ее разглядеть — с нее очки и шапочку, которую она носит, и, тяжело дыша (он очень толст), следует за ней в ее комнату с потолком, усеянным звездами; там он знакомится и с Асей. Они ведут многочасовую беседу о Наполеоне и Эдмонде Ростане; Марина читает свои стихи. Перед уходом Волошин обещает скоро вернуться. На следующий день Марина получает от него стихотворение, которое кончается словами:

...Ваша книга — это весть оттуда,
Утренняя благостная весть.
Я давно уж не приемлю чуда,
Но как сладко видеть: чудо есть!

23 декабря Марина вежливо отвечает, как полагается хорошо воспитанной девушке:

„Москва, 23 декабря 1910 г.

Многоуважаемый Максимилян Александрович. Примите мою искреннюю благодарность за Ваши искренние слова о моей книге. Вы подошли к ней, как к жизни, и простили жизни то, чего не прощают литературе.

Благодарю за стихи.

Если Вы не боитесь замерзнуть, приходите в старый дом со ставнями. Только предупредите, пожалуйста, заранее. Привет.

Марина Цветаева”.

Так началась дружба между Цветаевой и Максимилианом Александровичем Волошиным, хотя он старше ее на много лет. Марина с любовью описала эту дружбу в „Живое о живом”.

Среди многих оригиналов того времени Волошин занимал видное место; мемуары всех его современников говорят о нем. В молодости Волошин провел несколько лет в Париже и навсегда остался почитателем французской культуры. Вернувшись в Россию, он стал сотрудником „Аполлона”. По большей части он жил с матерью в своем доме в Коктебеле. Он писал стихи, переводил современную французскую литературу, а также занимался живописью. Он всегда и безгранично готов был помогать всем, а особенно поэтам. В культурных сферах России он был знаком со всеми, и его влияние было огромно.

Большой заслугой Волошина было то, что он оценил талант молодой Цветаевой и решил содействовать его развитию. С большим терпением — хотя и безуспешно — он старался оторвать ее от Ростана и Наполеона и привести к Бодлэру, Рэмбо и Клоделю. Наконец, он начал дарить ей книги Жорж Санд и Виктора Гюго, которые больше соответствовали ее вкусу. Для того, чтобы побороть „застенчивость и дикость” Марины, он обратился за помощью к престарелой полуглухой писательнице Аделаиде Герцык. Она и ее сестра Евгения стали верными подругами обеих сестер Цветаевых. Именно Волошин ввел Марину в издательство „Мусагет” и тем самым оторвал ее от одиночества в „тихом царстве любимых теней”.

„Мусагет” представлял собой смесь издательства, литературного салона и университетского семинара. Он отличался от издательства „Весы”, пребывавшего под влиянием французской культуры, тем, что держался скорее немецкого направления. В 1911 году издательством правила тройка: Эмиль Медтнер-Белый-Эллис. Но это продолжалось недолго. Важную роль играл там и Владимир Нилендер. Все авторы имели право голоса, и часто заседания редакции, они же нескончаемые чаепития, продолжались ночи напролет. Главным автором издательства и задающим тон являлся Андрей Белый. В 1910 году и он и Эллис были уже всецело под влиянием Рудольфа Штейнера и с большим успехом распространяли среди московских интеллигентов антропософское учение.

Время от времени „Мусагет” устраивал вечера, на которых особенно много и часто рассуждали о кризисе европейской культуры. Эти вечера пользовались большим успехом.

Одним из самых деятельных сотрудников издательства был молодой, только что окончивший Гейдельбергский университет философ Федор Степун. Вместе с С. И. Гессеном издавал он в редакции „Мусагета” философский журнал „Логос”. Мы признательны Степуну за его колоритный рассказ о редакции „Мусагета” и ее сотрудниках и о молодой Цветаевой, с которой он там познакомился:

„Одета Марина кокетливо, но неряшливо: на всех пальцах перстни с цветными камнями, но руки не холены. Кольца не женское украшение, а скорее талисманы, или так просто — красота, которую приятно иметь перед глазами. Говорим о романтической поэзии, о Гете, мадам де-Сталь, Гельдерлине, Новалисе и Беттине фон-Арним. Я слушаю и не знаю, чему больше дивиться: той ли чисто женской интимности, с которой Цветаева, как среди современников, живет среди этих близких ей по духу теней, или ее совершенно исключительному уму: его афористической крылатости, его стальной, мужской мускулистости. Было, впрочем, в Марининой манере чувствовать, думать и говорить и нечто не вполне приятное; некий неизничтожимый эгоцентризм ее душевных движений. И не рассказывая ничего о своей жизни, она всегда говорила о себе. Получалось как-то так, что она еще девочкой, сидя на коленях Пушкина, наматывала на свои пальчики его непослушные кудри, что и ей, как Пушкину, Жуковский привез из Веймара гусиное перо Гете, что она еще вчера на закате гуляла с Новалисом по парку, которого в мире, быть может, и нет, но в котором она знает и любит каждое дерево”⁷.

Все, с чем Марина встречается в „Мусагете”, ее поражает, но и вызывает чувство застенчивости. Особенно Андрей Белый, который во время своих курсов „эвритмии” танцует перед Гете и Штейнером „как некогда Давид перед Ковчегом”. Марина ничего не понимает в разговорах о

гностике и гносеологии; она чувствует „превосходство всех над собой” и молчит „от непрерывно-ранимой гордости”⁸, хотя ее приветливо принимают в „Мусагете”, просят дать несколько стихотворений для сборника современной поэзии, который готовится Эллисом и должен выйти в „Мусагете”:

„Милый Эллис... — пишет она 2 декабря. — В Мусагете было очень хорошо. Мне про него даже снились сны... Как я отвыкла от людей и разговоров! При малейшем разногласии с собеседником мне уже хочется уйти, становится так скверно! В Мусагете много милых и мне симпатичных людей. Я довольна, что там бываю, но...!”⁹

К числу милых и симпатичных ей людей, вероятно, в первую очередь принадлежит Владимир Нилендер — ее прошлогодняя пламенная любовь. Их сначала натянутые отношения переходят в верную, крепкую дружбу. Марина говорит о своем „будто бы женихе”:

„Знаю, что если я, столько лет спустя, или еще через десять лет, или через все двадцать войду в его филологическую берлогу, в грот Орфея, в пещеру Сивиллы, он правой оттолкнет молодую жену, левой обвалит мне же на голову подпотолочную стопу старых книг — и кинется ко мне, раскрывши руки, которые будут — крылья”¹⁰.

Но больше всех литераторов „Мусагета” внимание Марины притягивала прелестная Ася Тургенева, внучатая племянница знаменитого писателя. Она была невестой Андрея Белого и время от времени посещала вечера издательства. Марина просто влюбилась в нее и всеми силами искала ее дружбы. Это очень раздражало сестру Асю, которая училась в том же классе гимназии, что и младшая из сестер Тургеневых, Таня.

„Я тайным образом знала, что в отношениях Марины и Аси Тургеневой, страдательное лицо — Марина, а недооценивающая — Ася. В гордом ее облике, в ее „давании себя обожать” мне была неприятна Маринина роль”¹¹.

Воспоминания Анастасии Ивановны о зиме 1910—1911 гг. менее подробны: она ничего не знает о новых друзьях Ма-

рины и о времени, которое она проводит в редакции „Му-сагета”. Можно догадаться, что у Аси теперь другие, собственные интересы. Осенью 1910 года ей исполнилось 16 лет. На катке она познакомилась с очаровательным молодым человеком — Борисом Трухачевым. Внешний мир для нее исчезает. Медленно и почти незаметно дороги сестер начинают расходиться.

ГЛАВА 7

Одним из интереснейших изданий недолговечного „Музагета” был вышедший в июне 1911 года сборник современной русской лирики под скромным названием „Антология”. Этот сборник содержит в алфавитном порядке произведения тридцати авторов. Имена некоторых из них стали знамениты в русской литературе, другие же, наверно, заслуженно — забыты. В конце алфавитного списка, непосредственно перед Эллисом (издателем сборника), можно найти двух новичков в литературе: Владислава Ходасевича, друга Белого и Нилендера с 1904 года, и Марину Цветаеву. В сборнике напечатаны два ее стихотворения.

Очевидно, „Антология” была последней литературной работой Эллиса в России. Он исчез из Москвы где-то в течение 1911 года. Предполагалось, что он уехал, чтобы навестить Рудольфа Штейнера, но Андрей Белый говорит, что причиной его отъезда был скандал из-за книг Румянцевского Музея, который Эллис не мог забыть. В Россию он больше не вернулся. В апреле 1913 года он жил в Берлине,

на Motzstraße, недалеко от Штейнера. Затем след его теряется. В тридцатых годах он издал на немецком языке под именем Doktor Leo Kobilinski несколько работ о русской литературе. В изданной в 1948 году в Швейцарии работе о Пушкине лаконически помечено на обложке: „Жил и умер в Локарно-Монтини, 17-го ноября 1947 г.”

Не сотрудничество ли в „Антологии” и новое звание литератора побудили Марину, наконец выполнить давнишнее желание и вырваться на свободу? Незадолго до последних экзаменов она бросила школу и добровольно отказалась от официального аттестата зрелости. Ей казалось, что для признанной поэтессы сидение в ненавистой гимназии только ненужная потеря времени. Как реагировал на это ее отец, нам неизвестно.

В то время, как Ася готовится к экзаменам, катаясь на лодке со своим Борисом, Марина одна проводит апрель 1911 года в Гурзуфе на Черном море. Потом она намеревается встретиться с Асей в Коктебеле, куда обе сестры приглашены матерью Волошина на все лето.

Этот „целый чудесный месяц одиночества” оказывается для молодой Цветаевой временем самоуглубления и размышления, предшествующим решающему повороту в ее судьбе. Она читает Жорж Санд и Дюма и под Пушкинским кипарисом размышляет о боготворимом ею поэте. Она ищет одиночества и для того, чтобы разобраться в своем отношении к Нилендеру:

„От него я тогда и уехала в Коктебель, не „любить другого”, а не любить этого”¹.

В воспоминаниях об этом времени Марине кажется, что она была счастлива в Гурзуфе. Но письма, которые она оттуда пишет Волошину, звучат иначе:

„Я смотрю на море, издалека и вблизи — но все оно не мое, а не его. Раствориться в нем и слиться нельзя. Сделаться волной? Оставаться человеком (или „получеловеком”, все равно), вечно тосковать, вечно стоять на рубеже. Должно, должно же существовать более тесное *ineinander*. Но я его не знаю...”

„...Я мысленно все пережила, все взяла. Мое воображение всегда бежит вперед. Я раскрываю еще не распустившиеся цветы, я грубо касаюсь самого нежного и делаю это невольно, не могу не делать! Значит, я не могу быть счастливой? Искусственно „забываться” я не хочу. У меня отвращение к таким экспериментам... Остается ощущение полного одиночества, которому нет лечения. Тело другого человека — стена, она мешает видеть его душу. О, как ненавижу эту стену! И рая не хочу, где все воздушно и блаженно — я так люблю лица, жесты, быт! И жизни не хочу, где все так ясно, просто и грубо — грубо... Я мучаюсь и не нахожу себе места: со скалы к морю, с берега в комнату, из комнаты в магазин, из магазина в парк, из парка снова на Генуэзскую крепость и так целый день...”²

Марина не подозревает, что это одиночество скоро кончится. 5 мая она приезжает в Коктебель и попадает в такую обстановку, которой еще нигде не видела.

О Волошинской артистической колонии в Коктебеле, недалеко от Феодосии, и о странной эксцентричной матери Макса Волошина сохранилось немало забавных рассказов. Елене Оттобальдовне, немке по происхождению, известной под именем „Пра”, принадлежало несколько маленьких дач прямо у моря, у подножия горы Кара-Даг, которые она летом сдавала внаем художникам и артистам. Макс жил в башне. Там он занимался живописью, там же находилась его обширная, ценная библиотека. В Коктебеле собиралась веселая компания: все вместе сходились за обеденным столом, вместе устраивали экскурсии по окрестностям. Но очевидцы описывают главным образом одежду, которую носили и мать и сын: „греческие хитоны” и сандалии на босу ногу. Это было настолько непривычно, что молодой Юрий Терапиано предпринял поездку на велосипеде в Коктебель, чтобы поглядеть на эту странную компанию; там ему показали двух молодых девушек в белых платьях: „дочери профессора Цветаева из Москвы”³.

Сразу же после приезда из Гурзуфа Марина идет на берег моря — огромный, безлюдный пляж сердоликовой бухты...

Марина начинает искать красивые камни. Вдруг она видит, что на скамейке, один на фоне бесконечного морского горизонта, сидит грустный красавец-юноша. Он просит позволения ей помочь, и она, очарованная его прекрасными голубыми глазами, соглашается. При этом она, про себя, клянется: если он догадается, какой камень ей больше всего нравится и принесет ей — тогда она выйдет за него замуж.

Позже Цветаева вспоминает:

„А с камешком — сбылось, ибо С. Я. Эфрон, за которого я, дождавшись его восемнадцатилетия, через полгода вышла замуж, чуть ли не в первый день знакомства открыл и вручил мне — величайшая редкость! — генуэзскую сердоликовую бусу, которая и по сей день со мной”⁴.

„В Крыму, где я гощу у Макса Волошина, я встречаю моего будущего мужа, Сергея Эфрона. Нам 17 и 18 лет. Я обещаю себе, что, *чтобы ни случилось*, я никогда с ним не расстанусь”⁵.

Это обещание она подтверждает в 1939 году в Москве, в то время, когда муж ее уже находится в тюрьме. Роковая сердоликовая буса пережила все события и в 1973 году находилась в руках Арианды Сергеевны Эфрон.

Можно себе представить, каким „шоком” было для Аси по приезде в Коктебель встретить совсем другую, пережившую Марину: сияющую, загорелую, в коротких штанах и с босыми ногами в сандалиях. Только немного позже начинает она понимать, что это как-то связано с этим Сережей, — Марина ей сначала представила его как знаменитого поэта Игоря Северянина, — который приехал со своими сестрами в Крым, чтобы окрепнуть после заболевания туберкулезом. Но Асю еще больше пугает новость, что Сережа не переносит крымского климата и что они оба скоро уедут из Коктебеля. Ася начинает понимать, что нет больше „мы”, означающего неразрывную дружбу с сестрой, существующую с тех пор, как она сама себя помнит: новое „мы” Марины исключает Асю. Но имеет ли Ася право ревновать сестру?

„Марина была счастлива. Ее счастье передалось и на

меня, радость за нее, которая даже в детстве никогда не была счастлива. Она всегда была одинока, всегда тосковала и мечтала”⁶.

По-видимому, совесть Марины по отношению к сестре была не совсем чиста. Она дает ей странный совет: вызвать Бориса Трухачева в Коктебель и куда-нибудь с ним уехать, так же как она сама собирается ехать с Сережей в Уфу. В это время отец их лечится в Бад-Наухайме; он ничего не заметит. Деньги же, которые он посылает — Макс будет переводить им дальше. Шестнадцатилетняя Ася следует совету старшей сестры; вслед за ней Борис приезжает в Коктебель. Планы, придуманные Мариной, будут осуществлены.

Получается так, что будущие зятья знакомятся только в день отъезда. Молодые люди ходят взад и вперед по перрону вокзала в Феодосии; отсюда обе пары разъедутся в противоположные стороны. Вот и наступила минута разрыва между обеими неразлучными сестрами. И вдруг тут — на вокзале Феодосии — Марина предлагает в последний раз прочесть в унисон несколько стихотворений:

„На лицах Сережи и Бориса сейчас то же выражение удивления, поглощенности, которое бывает у людей, присутствующих при чем-то чудесном: два голоса — явно же с двух сторон! Но это же *один* голос, *одни* интонации справа, как слева — какой-то разветвившийся голос... Но их — тех — *обоих* — *нет* на перроне! Где они? в каких измерениях?”⁷

А потом поезда и вправду расходятся — в противоположные стороны... И Марина Цветаева говорит об этом разрыве:

НЕРАЗЛУЧНОЙ В ДОРОГУ

Стоишь у двери с саквояжем.
Какая грусть в лице твоём!
Пока не поздно, хочешь, скажем
В последний раз стихи вдвоем.

Пусть повторяет общий голос
Доныне общие слова,

Но сердце на два раскололось
И общий путь — на разных два.

Пока не поздно, над роялем,
Как встарь, головку опусти.
Двойным улыбкам и печалям
Споем последнее прости.

Пора! Завязаны картонки,
В ремни давно затянут плед...
Храни Господь твой голос звонкий
И мудрый ум в шестнадцать лет!

Когда над лесом и над полем
Все небеса замрут в звездах,
Две неразлучных к разным долям
Помчатся в разных поездах⁸.

Марина и Сережа отправляются на Узень-Ивановский завод в Уфимской губернии; Сережа должен пить там кумыс и прибавлять в весе. Письма, которые оттуда пишет Марина, звучат иначе, чем письма из Гурзуфа:

„Дорогой Макс,
если бы ты знал, как я хорошо к тебе отношусь! Ты такой удивительно милый, ласковый, осторожный, внимательный. Я так любовалась тобой по вечерам в Старом Крыму, ...твоей вечной готовностью помогать людям... Я тебе страшно благодарна за Коктебель — (pays de rédemption, как называет его Аделаида Казимировна) и вообще за все, что ты мне дал. Как я тебе оплачу?..”

И позже:

„Странно, Макс, почувствовать себя внезапно совсем самостоятельной. Для меня это сюрприз, мне всегда казалось, что кто-нибудь другой будет устраивать мою жизнь. Теперь же я во всем буду поступать, как в печатании сборника. Пойду и сделаю. Ты меня одобряешь? Потом я еще думала, что глупо быть такой счастливой, даже не-

прилично! Глупо и неприлично так думать — вот мое сегодня”⁹.

Осенью 1911 года обе пары вернулись в Москву: Марина и Сережа из уфимских степей, Ася и Борис из Финляндии¹⁰. Первое, что Ася услышала: отец тяжело заболел, грудная жаба! (Можно ли предполагать, что это заболевание имело отношение к поведению его дочерей?) Он лечился на курорте для сердечников за границей, и в ожидании крупного разговора Марина поселила Сережу в доме в Трехпрудном переулке, в то время как Борис вернулся к своим родственникам. Анастасия Ивановна намекает на то, что с первого момента „старшая” пара нашла счастье, „младшая” — нет. Вскоре после этого Марина и Сережа поселились на квартире в Сивцевом Вражке № 19; отсюда написано письмо Волошину от 28.10.1911. Туда же переехали Лиля и Вера Эфрон и Пра из Коктебеля как хозяйка дома¹¹.

Сережа, который был на год моложе Марины, ходил в гимназию и писал свою книгу „Детство”, где дает портрет Марины; она же готовила для печати свой второй сборник стихотворений — „Волшебный фонарь”. Она заранее предостерегает:

„Макс, я уверена, что ты не полюбишь моего 2-го сборника. Ты говоришь, он должен быть лучше 1-го, или он будет плох”.

Обложку для этого сборника должна была нарисовать Ася Тургенева. Эта совместная работа сблизила их, но настоящее сотрудничество и дружба, о которой мечтала Марина, не состоялась. Ася скоро уехала с Андреем Белым в Италию. Этот отъезд глубоко потряс Марину и она долго его переживала; она описала это событие в стихах, а потом, во время своего собственного свадебного путешествия в Париж и Сицилию, шаг за шагом ехала по следам Белого и Аси.

Марина принимала деятельное участие в литературной жизни Москвы. В „Мусагете” она была своим человеком; она принимала участие в лекциях у скульптора Крахт, посещала Алексея Толстого и бывала у Николая Бердяева, о чем

свидетельствует одна из фотографий в книге воспоминаний Евгении Герцык¹².

Другое событие в литературной жизни Москвы, о котором у нас есть два свидетельства, тоже состоялось осенью 1911 года. Брюсов устроил литературный вечер в своем „Обществе свободной эстетики” в доме Ворстыкова и пригласил принять участие и вновь открытую молодую поэтессу. Марина привела с собой на сцену и Асю, чтобы вместе, как это бывало раньше, прочесть несколько стихов. Анастасия Ивановна вспоминает, как при их появлении на сцене публика „приветственно заволновалась”:

„Мы прочли несколько стихов. Из них помню „В пятнадцать лет” и „Декабрьская сказка”... Был один миг тишины после нашего последнего слова — и аплодисменты рухнули в залу — как весенний гром в сад! Запрещенные в этом доме аплодисменты! Мы стояли, смущенные (неумело кланялись?) — откланиваясь, уходя, спеша уйти, а нам вслед неистово аплодировали... „Триумф” говорили нам потом. Это был первый вечер Мариной начинающейся известности”¹³.

Второй очевидец, Борис Зайцев, вспоминает:

„Две барышни, худенькие и миловидные, в одинаковых платьицах, читают с эстрады стихи — вдвоем, в унисон. Одна Марина, другая Ася, дочери профессора Цветаева. Стишки острые, колкие, барышни читают щебечут, остроугодно, слегка поламываясь. Не только напев в унисон, но и улыбки, подергивания нервных лиц. Никакого спокойствия, основательности, но к тогдашнему это подходило, даровитость же чувствовалась”¹⁴.

В этот самый вечер — 3 ноября 1911 года — выступал в первый раз и Владимир Маяковский.

Рождеством 1911 г. Марина празднует еще один литературный триумф: в Сочельник она узнает от Сережи, что Брюсовым объявлен конкурс на тему Пушкинских строк: „Но Эдмонда не покинет / Дженни даже в небесах...”. Срок конкурса истекает в тот же день. Недолго думая, она выбирает из не появившегося еще сборника „Волшебный фонарь” одно из своих лучших любовных стихотворений

Нилендеру и анонимно, как предписывают условия конкурса подает его Брюсову. К ее большому удовлетворению, недруг обязан признать ее победу. Но Брюсов неохотно терпит поражение: Марина получает не первый приз, а „по ее молодости“, только один из двух вторых. Вторую половину получает также вновь открытый, многообещающий талант: Владислав Ходасевич.

Незадолго до свадьбы Марины и Сережи происходит их первая и единственная ссора с Максом Волошиным. Марина обижена, потому что, получив извещение о ее свадьбе, Волошин не поздравляет, а пишет скорее соболезнующее письмо. Марина пишет, не называя его лично:

„Ваше письмо — большая ошибка. Есть области, где шутка неуместна, и вещи, о которых нужно говорить с уважением или совсем молчать за отсутствием этого чувства вообще... Спасибо за урок!“¹⁵

На этом разногласие кончается. Марина и Сережа телеграфировали в Париж: *”Ta patte, cher ours unique!”*. Но на свадьбу Волошин все же не приехал.

Можно предположить, что не только он отсутствовал на этом тихом празднике венчания в январе 1912 года в Палашевской церкви. Вполне возможно, что натянутые отношения между Мариной и ее сводной сестрой Валерией и некоторыми другими членами семьи имели причиной их реакцию на этот неравный брак: Цветаевым и Иловайским, правым монархистам, не могли быть по вкусу еврейское происхождение и революционные настроения Эфронов.

Но одно ясно: сама Марина была счастлива. Доказательством этого счастья служат стихи „На радость“, посвященные С. Э. В сущности, из всего сборника „Волшебный фонарь“ эти стихи одни звучат радостно:

Ждут нас пыльные дороги,
Шалаши на час
И звериные берлоги
И старинные чертоги...

Милый, милый, мы, как боги:
Целый мир для нас!

Всюду дома мы на свете,
Все зовя своим.
В шалаше, где чинят сети,
На сияющем паркете...
Милый, милый, мы, как дети:
Целый мир двоим!

Солнце жжет — на север с юга
Или на луну!
Им очаг и бремя плуга,
Нам простор и зелень луга...
Милый, милый, друг у друга
Мы всегда в плену¹⁶.

Худшее выпало на долю Аси. Когда они с Борисом Сергеевичем Трухачевым отправились в свое финляндское приключение, ей было 16 лет, а ему 17, они были детьми, которым отношения взрослых людей были не по плечу. С первого момента между ними не было полной гармонии. Когда осенью выяснилось что Ася беременна, ей пришлось уехать из России, чтобы скрыть свое состояние от отца. О свадьбе не было речи. Борис путешествовал с ней одно время по Италии и Франции, потом вернулся в Москву. Только некоторое время спустя она получила телеграмму от Бориса, звавшего ее обратно, чтобы повенчаться, „добавляя, что потом можно, если я хочу, разойтись...” Свадьба состоялась после Пасхи 1912 года; летом Анастасия Ивановна родила сына Андрея¹⁷.

ЧАСТЬ II

Юность

„С 1912 по 1920 г. я пиша непрерывно, не выпустила... ни одной книги. Я жила, книги лежали...”

Письмо к Иваску, 4.4.1933

ГЛАВА 8

Судить о том, насколько велика была разница между Цветаевыми и Эфронами, можно лучше всего при чтении мемуаров дочери Сергея Яковлевича и Марины Цветаевой, Ариадны Сергеевны Эфрон. Она подробно описывает свое происхождение со стороны отца¹.

Прадед Сергея Яковлевича был глубоко уважаемый раввин. Сын его, Яков Константинович, примкнул — наверно, под влиянием еврейских погромов — к революционной организации „Земля и Воля”. Ариадна Сергеевна упоминает, что ее дед принимал деятельное участие в „казни” тайного агента полиции.

Однажды вечером, на сходке революционеров в Петровско-Разумовском, Яков Эфрон увидел красавицу девушку, в бальном платье, которая явилась на эту сходку прямо с бала Дворянского Собрании. Это была Елизавета Петровна Дурново — дочь бывшего адъютанта императора Николая I. Она всем сердцем и с искренним желанием помочь всем обездоленным примкнула к организации. Вскоре Яков

Эфрон и Елизавета Дурново вместе работали в конспиративных акциях. В 1880 году молодая аристократка была арестована при перевозе нелегальной литературы. Она была заключена в Петро-Павловскую крепость. Ничего не подозревавшие родители добились выдачи дочери на поруки, но Елизавета бежала за границу. Скоро за ней последовал Яков Константинович. Они повенчались; родились трое старших детей. Семья жила в большой нужде. Через семь лет им было разрешено вернуться на родину. Но Яков Константинович был под надзором полиции и с ее разрешения мог работать только на самых незначительных постах: он служил страховым агентом. Тем временем родились еще 6 детей; несколько из них умерли. Елизавета Петровна и ее старшие дети продолжали свою конспиративную деятельность: организовывали тайные сходки, скрывали людей и хранили взрывчатый материал.

Сереже (предпоследнему ребенку) было 12 лет, когда начались события 1905 года. Он должен был продолжать ходить в школу, в то время как его мать, старшие братья и сестры участвовали в боях на улицах. После подавления беспорядков над семьей Эфрон разразилась гроза: Елизавету Петровну и старшего сына Петра выслали за границу. С собой ей было разрешено взять только младшего сына Константина, которого Сережа особенно любил. В 1909 году умер в Москве отец. В 1910 году 14-летний Котик, не оставив записки, повесился; на следующий день мать, не выдержав удара, тоже покончила жизнь самоубийством.

Сережа, обожавший свою мать, заболел туберкулезом. Он выздоровел только благодаря уходу его сестер Лили и Веры. Пребывание в Коктебеле весной 1911 года должно было послужить укреплению его здоровья.

В 1912 году революционная деятельность семьи Эфрон осталась в прошлом. Одна сестра Сергея Яковлевича стала актрисой, вторая режиссером.

Благодаря щедрости Тью, молодая чета смогла купить себе собственный дом на Полянке в Замоскворечье. В этом доме родилась Аля. В 1914 году они нашли новый дом в

Борисоглебском переулке (№ 6); там Марина оставалась до ее выезда за границу в 1922 году. Перед домом росли два тополя; о них и о квартире часто упоминают не только Цветаева, но и другие писатели, в частности и А. И. Цветаева².

Знакомые Сергея Эфрона описывают его как очень красивого, но очень слабого человека, который не мог жить без поддержки и помощи. Борис Зайцев говорит об „изящном юноше, с действительно очаровательными глазами...”, Николай Еленев о „высоком брюнете со скорбно сдвинутыми бровями, серыми глазами, выбритыми иссиня выглядящими щеками и тяжелой обезьяньей челюстью...”, и Марк Слоним добавляет: „Это был высокий, тонкий человек с узким лицом, медленными движениями и чуть глуховатым голосом...” Марсель Орбек, французский товарищ по школе, который в 1912 году учился с ним в гимназии Поливанова, вспоминает его тщеславие и желание выделяться среди других. А на Николая Еленева Сергей Яковлевич производил впечатление застенчивого человека, постоянно нуждавшегося в помощи и поддержке жены, которой он подчинялся: „В жизни он чувствовал себя пасынком. Ни в какой обстановке и нигде Эфрон не смог побороть гетто своего Я”.

Отзывы родственников о Сереже звучат иначе. Анастасия Ивановна очень ценила своего „мягкого, приветливого, обаятельного” зятя, подчеркивая, как Марина и он подошли друг к другу и друг друга любили, как „их слиянность росла с каждым днем”. У Ариадны Сергеевны же чувствуется, что у нее есть только одно желание: защищать любимого отца от всяких нападок и подозрений. Вероника Лосская, видевшаяся с ней в Москве в течение 6 недель, подтверждает, что Ариадна Сергеевна всегда была пристрастна к своему отцу и „яростно защищала его память” (*“défendait farouchement sa mémoire”*)³.

Я с вызовом ношу его кольцо!

— Да, в вечности — жена, не на бумаге!

Чрезмерно узкое лицо
Подобно шпаге.

Безмолвен рот его устами вниз,
Мучительно-великолепны брови.
В его лице трагически слились
Две древних крови.

Он тонок первой тонкостью ветвей
Его прекрасно — бесполезны!
Под крыльями распахнутых бровей —
Две бездны.

В его лице я рыцарству верна,
— Всем вам, кто жил и умирал без страху
— Такие, в роковые времена —
Слагают стансы — и идут на плаху...

Так Цветаева описала своего мужа в 1914 году, и Слоним уверяет, что еще и в 1933 году она его видела точно таким же⁴.

Марина была очень влюблена в своего мужа. „Если бы вы знали, какой это пламенный юноша”, — пишет она Розанову 1.7.1914 г.

„Я постоянно дрожу над ним. От малейшего волнения у него поднимается температура, он весь лихорадочная жажда всего... За три — или почти три — года совместной жизни — ни одной тени сомнения друг в друге. Наш брак до того не похож на обычный брак, что я совсем не чувствую себя замужем и я совсем не переменялась (люблю все то же и живу все так же, как в 17 лет). Мы никогда не расстанемся. Наша встреча — чудо”⁵.

Но они были совершенно разными людьми. Сереже нужна была идея, которой он мог бы служить: сначала это была Марина, потом верность России, а еще позже — коммунизм. Марина же служила только одной идее: слову и искусству. Душевно они были чужды друг другу. Наверно, они слишком рано и необдуманно начали совместную жизнь:

„Ранний брак (как у меня) вообще катастрофа, удар на всю жизнь”, — писала Марина 26 мая 1934 года Анне Тесковой. И хотя Слоним уверяет, что она по-настоящему никого кроме своего мужа не любила, хотя она последовала за ним навстречу гибели, мы не знаем ни одного ее произведения, по которому можно было бы заключить, что она его понимала во всех его человеческих качествах и слабостях.

Сразу же после свадьбы Марины в недолговечном издательстве „Оле Лукойе” — основанном молодой четой — появились книга Сережи „Детство” и второй сборник стихов Марины „Волшебный фонарь”. Этот второй сборник вышел, как и первый, тиражом в 500 экземпляров. Новой была только часть стихов; по тематике и по детскому языку можно заключить, что глава „Деточки” была написана раньше сборника „Вечерний альбом”. Главная часть книги, под заглавием „Не на радость”, содержит стихи, написанные Нилендеру, которые Марина не включила в первый сборник, потому что они слишком ясно говорили об ее личных душевных переживаниях.

„Волшебный фонарь” был очень недружелюбно принят критикой. Критики с раздражением замечали, что молодая писательница не послушалась их доброжелательных советов и не добилась никаких успехов. Они, по-видимому, не заметили, что эти стихи отчасти были написаны раньше других. Гумилев писал:

„Первая книга Марины Цветаевой „Вечерний альбом” заставила поверить в нее и, может быть, больше всего — своей неподдельной детскостью, так мило-наивно не сознающей своего отличия от зрелости. „Волшебный фонарь” — уже подделка и изданная к тому же в стилизованном „под детей” книгоиздательстве, в каталоге которого помечены всего три книги. Те же темы, те же образцы, только бледнее и суше, словно это не переживания и не воспоминания о пережитом, а лишь воспоминания о воспоминаниях. То же и в отношении формы. Стих уже не льется весело и беззаботно, как прежде; он тянется и обрывается, в нем поэту умением, увы, еще не слишком достаточным, силится

заменить вдохновение. Длинных стихотворений больше нет — как будто не хватает дыхания. Маленькие — часто построенны на повторении или перефразировке одной и той же строки. Говорят, что у молодых поэтов вторая книга обыкновенно бывает самой неудачной. Будем рассчитывать на это”⁶.

Брюсов нашел в сборнике „Волшебный фонарь” посвященные ему насмешливые стихи. Он обиделся и реагировал на них без малейшего юмора и даже не заметил, что Марина употребляет, шутя, его собственные слова, которыми он критикует ее первую книгу:

„Верна себе и г-жа Цветаева, продолжая упорно брать свои темы из области узкоинтимной личной жизни, даже как бы похваливаясь ею („острых чувств и нужных мыслей мне от Бога не дано”). В конце концов, мы могли бы примириться с этим, так как каждый пишет о том, что ему близко, дорого, знакомо, но невозможно примириться с той небрежностью стиха, которой все больше и больше начинает щеголять г-жа Цветаева. Пять-шесть истинно красивых стихотворений тонут в ее книге в волнах чисто „альбомных” стишков, которые если кому интересны, то только ее добрым знакомым”⁷.

В мае 1912 года все дети Цветаевы в последний раз собрались около своего отца. Большое событие этого года — открытие „Музея изящных искусств им. Александра III” — принесло Ивану Владимировичу Цветаеву не только завершение работы всей его жизни и долгожданное признание, но и примирение с дочерьми. Открытие „Колоссального младшего брата”, как называет Анастасия Ивановна музей, состоялось 31 мая 1912 года и сопровождалось торжественным молебном. Присутствовала царская семья, верхи правительства и общества. Это событие было описано обеими сестрами (Мариной в „Отец и его музей”). Обе сестры были беременны и с трудом выдержали торжество до конца.

Рождение маленькой Ариадны в сентябре 1912 года послужило важной ступенью в душевном развитии Марины Цветаевой. Крестными родителями были Иван Владимиро-

вич и „Пра”. Вся безбрежная любовь Марины сосредоточилась на Але, что, начиная с этого времени, и отражается в многочисленных стихах.

В марте 1913 года в издательстве „Оле Лукойе” тиражом в 1000 экземпляров вышел сборник под заглавием „Из двух книг”. В этот сборник вошли те стихи из первых двух книг, которые особенно нравились самой писательнице. Но слишком интимные стихи не были включены. Эта книга нашла большой круг читателей и была положительно встречена критикой. В. Нарбут пишет пророчески в „Вестнике Европы”:

„Можно почти что верить, что появится писательница, которая скажет о себе — о женщине — всю правду, которая будет такая простая и понятная, как то, что Пушкин сказал о душе мужчины”⁸.

Опять Марина не может удержаться от сочинения насмешливых ответов. Вот что можно найти в новом сборнике:

В. Я. БРЮСОВУ

Я забыла, что сердце у вас — только
ночник,
Не звезда! Я забыла об этом!
Что поэзия ваша из книг
И из зависти — критика. Ранний старик,
Вы опять мне на миг
Показались великим поэтом!

На этот раз Брюсов предпочел промолчать: „В горах” (его крутой души) „отзыв” длился — всю жизнь”⁹.

Незадолго перед смертью профессор Цветаев пережил еще один триумф: по случаю 50-летнего юбилея Румянцевского музея, его бывшего места работы, ему было поручено передать официальные поздравления от лица Академии Искусств и Музея Александра III. Но после этого последнего усилия силы его были истощены. В одном имении, недалеко от Клина его поразил сердечный припадок. 27 августа его

перевезли в безнадежном состоянии в Москву, где он скончался 30 августа в присутствии Марины и Андрея.

Иван Владимирович Цветаев был похоронен на Ваганьковском кладбище, рядом с могилой его жены. Смерть его глубоко потрясла обеих сестер. Только теперь поняли они, сколько горя и забот причинили они своему доброму, беззащитному старому отцу, несмотря на то, что отношения между ними под конец улучшились. Марина писала Розанову:

„Самый последний год он чувствовал нашу любовь, раньше очень страдал от нас, совсем не зная, что с нами делать. Когда мы вышли замуж, он очень за нас беспокоился. Ни Сережи, ни Бориса он не знал. Сережу он потом полюбил, поверив в его желание высшего образования — это для него главное. Как людей он не знал ни С., ни Б. Совсем не знал, кто те, которых мы любим. Алю и Андрюшу он очень любил, очень им радовался и, как потом мы узнали, всем о них рассказывал. Но он видел их только совсем маленькими, до года. Это ужасно жаль!”¹⁰

Из стихов, написанных Цветаевой между 1913 и 1915 годами, можно заметить, что свадьба, ребенок, освобождение от быта Трехпрудного переулкa сильно повлияли на духовное развитие молодой поэтессы: они значительно отличаются от романтических излияний ее детства и отрочества. Новая самостоятельная личность определяется все точнее. Марина Цветаева очень хорошо понимала это сама и придавала большое значение стихам этого периода. Иногда, когда они подходили по тематике, она их объединяла в циклы, даже если они были написаны в различное время. Из всего получился органический, цельный сборник, который Цветаева задумала издать под названием „Юношеские стихи” как третий том ее лирического дневника. Но она с этим не торопилась. Марина „жила, книги лежали”. Это звучит смешно, но подходит к Цветаевой: в том виде, каким его задумала она сама, этот том появился только в 1976 году, больше, чем через 60 лет после его создания и через 35 лет после смерти Цветаевой. Но некоторые части были известны раньше¹¹.

В „Юношеских стихах” можно выделить одну главную тему: Марина интенсивно занята мыслью о смерти. Это хотя уже не категорическое „Дай мне смерть в семнадцать лет”, но тема о могиле, о проходящем, о том, что будет, когда она сама уйдет. Что это? Преднамеренный контраст со счастливым настоящим или предчувствие великой беды, которое так часто появляется в творениях Цветаевой?

Что настоящее было счастливо — в этом не может быть никакого сомнения. По числам, какими помечены стихи и по научным справкам¹² можно установить, что весну 1913 года семья Эфронов проводила в Коктебеле. Там они, как всегда, были приняты особенно радушно. Волошин рисует для Марины картину; Марина и Сережа дарят „Пра” свои книги с посвящениями, они чувствуют себя окруженными атмосферой дружбы и понимания, которая особенно благотворно действует на творчество Цветаевой. Новое чувство уверенности в себе и в своей творческой силе слышится в знаменитых строках от 13 мая 1913 года:

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я — поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,
Ворвавшимся, как маленькие черти
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти
Нечитанным стихам!
Разбросанным в пыли по магазинам
(Где их никто не брал и не берет!)
Моим стихам, как драгоценным винам
Настанет свой черед.¹³

Знает ли она в солнечном беззаботном Коктебеле 1913 года, насколько она права в том, о чем говорит? В продолжение всей своей жизни Цветаева считала эти стихи одними из своих самых важных: „Формула — наперед всей моей писательской (и человеческой) судьбы”, — писала она Иваску 4 апреля 1933 года и добавляла: „Я все знала — отродясь”.

Вскоре после смерти профессора Цветаева Марина и Ася вернулись на юг. Москва без отца казалась обеим сестрам невыносимой. К тому же у каждой были и свои семейные причины: муж Аси покинул 19-летнюю жену и годовалого сына Андрюшу, муж Марины должен был опять попробовать сдать экзамены на аттестат зрелости. На короткое время семья Эфрон остановилась в Ялте. 18 октября они переехали в Феодосию, где поселились на даче Редлих, на пригорке в Караимской слободе, с которого открывался вид на берег и весь город. Ася нашла квартиру в десяти минутах ходьбы от дачи сестры. Здесь они и оставались до начала войны.

Во втором издании своих воспоминаний, вышедших в 1974 году, Анастасия Ивановна описывает эту зиму в Феодосии. Сестры встречались очень часто и принимали деятельное участие в культурной жизни города. Как и раньше, они вместе декламировали стихи Марины — например, 24 ноября на открытии благотворительного „Еврейского общества помощи бедным“, на котором участвовал и Сергей Эфрон; или 15 декабря, с участием Волошина, на „Вечере поэзии и музыки“. Они также читали и в частных домах, большей частью в присутствии Макса Волошина, который приходил пешком из Коктебеля. Новый, 1914 год, Марина, Ася и Сережа встретили в Коктебеле, они добрались туда во время страшной снежной бури; в ту же ночь, как описывает Марина в „Живое о живом“, чуть не сгорела Волошинская Башня.

Анастасия Цветаева особенно подчеркивает, что во время этого года в Феодосии Марина расцвела в полную силу своей красоты и, окруженная любовью и почетом, была счастлива. Воспоминание об этом времени появляется у Марины в ее длинных стихах „Чародей“¹⁴, которые она посвящает Асе: это памятник Эллису. „Юношеские стихи“ этого времени включают в себе первую группу стихов с посвящением: „Але“. Позже к ним добавляются многие другие.

Также из Феодосии Марина написала несколько писем

В. В. Розанову (до сих пор известны три), которые особенно интересны потому, что в них встречается много биографических подробностей. Письменное знакомство со знаменитым писателем и другом ее отца начала Ася, которая после чтения книги Розанова „Уединенное” ему написала — не называя своей фамилии¹⁵. Розанов ответил немедленно, и это письмо, „такое настоящее”, так понравилось Марине, что она тоже решила ответить на него. Она рассказывает Розанову о своем происхождении, о своей женитьбе и признается:

„Я совсем не верю в существование Бога и загробной жизни. Отсюда — безнадежность, ужас старости и смерти. Полная неспособность природы — молиться и покоряться. Безумная любовь к жизни, судорожная, лихорадочная жадность жить. Все, что я сказала — правда. Может быть, Вы меня за это оттолкнете. Но ведь я не виновата. Если Бог есть — Он ведь создал меня такой! если есть загробная жизнь, я в ней, конечно, буду счастливой. Наказание — за что? Я ничего не делала нарочно”¹⁶.

Но есть также и земные заботы: у Сережи все еще трудности в школе. Директор его гимназии — большой почитатель Розанова. Поэтому Марина просит послать директору одну из его книг с собственноручным посвящением и надеется, что это повлияет на результат предстоящего экзамена.

„Если он провалится, его осенью могут взять в солдаты, несмотря на затронутое легкое и узкую грудь. Тогда он погиб”.

Мы не знаем, была ли выполнена просьба Марины. Но вскоре это уже не имело значения.

1 июня 1914 года сестры Цветаевы и их родные переехали в Коктебель. Во время этих последних мирных дней перед войной сюда прибыли художники Юлия Оболенская и Кандауров. Он был декоратором „Малого Театра” и секретарем журнала „Мир Искусства”. „Летний вихрь безумия” — так называет это лето 1914 года Волошин в своих воспоминаниях. Он сам покинул Коктебель перед самым

началом войны: он хотел встретиться с Рудольфом Штейнером и вернулся обратно в Россию с большими трудностями лишь весной 1916 года.

Алексей Толстой вспоминает эти последние мирные дни в Коктебеле:

„Легкомыслие и шаткость среди приезжих превзошло всякие размеры, словно у этих сотен тысяч городских обывателей каким-то гигантским протуберанцем, вылетевшем в одно прекрасное июльское утро из раскаленного солнца, отшибло память и благоразумие”.

Сестры Цветаевы были, по-видимому, также затянуты в этот вихрь. 9 июля Юлия Оболенская пишет своей подруге:

„Марина и Ася перессорились со всеми дачниками и... после грандиозного скандала на-днях уехали совсем из Коктебеля”¹⁷.

И Сережа и Марина вернулись в Москву, Ася с сыном и няней осталась еще на короткое время на юге.

ГЛАВА 9

Причиной поспешного возвращения Эфронов в Москву был не страх перед надвигающейся войной, а неожиданное возвращение в Москву старшего брата Сергея Яковлевича, Петра, до сих пор бывшего актером в Париже: он был смертельно болен туберкулезом и умер через несколько недель. Марина была глубоко потрясена этой встречей — к тому же и у Сережи начинает подниматься температура — и становится понятно, почему ей, в отличие от всех ее окружающих, в этот момент было не до войны. В цикл стихов, посвященных П. Я. Эфрону, вошло следующее стихотворение:

Война, война! — Хождение у киотов
И стрекот шпор.
Но нету дела мне до царских счетов,
Народных ссор.

На кажется — надтреснутом — канате
Я маленький плясун.

Я тень от чьей-то тени. Я лунатик
Двух темных лун¹.

Это было написано 16 июля, в день после объявления Австро-Венгрией ультиматума Сербии.

О начале и продолжении войны, о крушении царской власти и о революциях 1917 года на Западе были написаны сотни книг. Ударения поставлены по-разному, в зависимости от позиции и политических убеждений авторов. Одно достоверно: когда в России люди узнали об австрийском ультиматуме, во всей стране поднялась волна патриотизма и ненависти к Германии и Австрии. Солдаты и молодые офицеры спешили поступить добровольцами в армию, везде образовывались комитеты военнопомощи, девушки из аристократии записывались на курсы Красного Креста, чтобы работать сестрами милосердия в госпиталях. Частные люди спешили на помощь там, где государство не справлялось со своими задачами. Но все порывы патриотизма не могли скрыть того, что Россия не была подготовлена к войне; главная проблема — доставка на фронт военных частей и материалов — не была решена. Уже в августе 1914 года, как убедительно описывает А. И. Солженицын, это привело к катастрофе в Восточной Пруссии.

Эти события, конечно же, повлияли и на дальнейшую жизнь Цветаевых. Андрей Иванович Цветаев, наследник „шоколадного дома” в Трехпрудном переулке, отдал его под лазарет; вскоре после этого родной дом сестер Цветаевых был снесен. Марина и Сережа решили не возвращаться в свой дом на Полянке, так как там была размещена психиатрическая больница. Снова они начали искать крыши над головой, и в конце 1914 года поселились в Борисоглебском переулке. Сергей, собиравшийся поступать в университет, бросил учебу и пошел добровольно служить братом милосердия, но часто приезжал в Москву². Он делал все, чтобы помочь там, где были нужны сильные руки. Его жена тем временем окунулась в интеллектуальную жизнь Москвы.

Молодой Николай Еленев, с которым мы здесь встречаемся впервые, был застигнут началом войны в Австрии. Когда, после долгих скитаний, ему удалось вернуться в Москву, его поразила разница между настроениями благотворительных организаций, которые старались помочь и развлечь раненных „солдатиков”, и полнейшим равнодушием интеллигенции ко всему, что касалось войны³. В то время, как тысячи людей гибли на фронтах, эта интеллигенция преспокойно вращалась в узком кругу довоенных артистических и философских интересов. Там можно было найти и Марину Цветаеву.

Еленев рассказывает, что за год до войны А. Я. Таиров, бывший помощник знаменитого режиссера Марджанова, бросил вызов еще более знаменитому Станиславскому и открыл на Страстном бульваре новый, так называемый Камерный Театр, где были поставлены новейшие русские и европейские пьесы: Метерлинка, Шницлера, Маяковского. Об этих постановках говорила вся Москва. Но Таиров не только занимался постановками, он устраивал в театре вечера, на которых перед избранной аудиторией читали знаменитые литераторы и философы. Иногда организовывались закрытые вечера, и на одном из них, в честь старого актера М. Петипа, Еленев в первый раз увидел Марину Цветаеву.

„Лицо Цветаевой было моложе, беспечней и одухотвореннее. С ее темно-русыми подстриженными волосами, четким, тонким носом, узкими губами, но довольно широким русским овалом, Марина была лишена земной косности... Если иные не любили Марину, отталкивались от нее, то все-таки не могли не признать, что Цветаева незаурядная личность. Ее поэтический дар выходил за пределы художественной мысли и мировосприятия данной эпохи. Этот дар не был похож ни на женское повседневно возможное обаяние, ни на гедонистическое переживание извечного зова красоты. Строй форм и строй идей Цветаевой открывал непочатую новую...”

Еленев был поражен одухотворенностью ее лица, в кото-

ром отражалось столько скрытого душевного напряжения. Это лицо ему напоминало пажа на Ватиканской фреске "La Messa di Bolsena":

„Форма носа, соразмерная, с легкой горбинкой, превосходно сочеталась с ее высоким, крутым и большим лбом. Но серые глаза были холодны, прозрачны. Эти глаза никогда не знали страха, всего менее мольбы или покорности...”

Марина — центр вечера. Под гром аплодисментов она обращается к Петипа в „экспромптом”, который шокирует Еленева:

„Никогда, ни раньше, ни позже я не слышал столь откровенной эротики. Но удивительно было то, что эротическая тема была студена, целомудрена, лишена какого бы то ни было соблазна. Сонет Цветаевой был замечательным образцом поэтического мастерства и холодного разума. А едва уловимый оттенок иронии сознательно, с расчетом уничтожал его любовный смысл...”

В окружении театра, который в пору всемирного лихолетья показался Еленеву счастливым островом среди бушующих волн, „эротическая тема” играла большую роль. Можно предполагать, что и Марина храбро плыла по этим волнам, и что ее слова: „В моей молодости я, великолепно и победоносно, страстно грешила всеми моими пятью чувствами, которые мне дал Бог”⁴, относятся к этому времени. Но в одном нет сомнения: отношения к мужу и ребенку не меняются.

1915 год был для императорской русской армии самым успешным и победоносным: после продолжительной осады в Галиции была взята крепость Пржемысль и большая часть Галиции. Но уже в мае австрийско-немецкие войска перешли в наступление, и русские войска вынуждены были отступить. В августе царь сам перенял высшее командование над вооруженными силами русских. Он проводил большую часть своего времени в Ставке в Могилеве-Губернском. В Петрограде росло влияние Распутина, во всей стране — недовольство. Великий князь Николай Михайлович, дядя

императора и очень образованный и умный человек, писал своему другу в Париже, Frédéric Masson⁵ :

„У вас опасность грозит со стороны левых, у нас же от неисправимых правых и, особенно, от некоторых мистических тенденций, которые приводят в отчаяние общественное мнение...”

9 ноября он прибавляет:

„Что же касается внутренней политики, то я очень боюсь того, что будет после войны...”

Это страшное время, ужасы войны и беды страны в сборнике „Юношеские стихи” совсем не отражены. Цветаева занята сама собой, своей душой, своей дружбой с поэтессой Софией Парнок, к которой обращен цикл „Подруга”, написанный между 14 октября 1914 и 6 мая 1915 года⁶. В начале лета 1915 года они вместе были в Коктебеле, но там между ними произошла ссора и разрыв навсегда. Они больше никогда не виделись.

Но, все-таки, нельзя сказать, что Цветаева совсем не интересовалась событиями дня. Два стихотворения этого времени ярко показывают ее чувства, настроения и очень показательны для ее характера. В первом она обращается к тогда всеми ненавидимой Германии. Марине кажется, что нужно стать на сторону слабой, всеми преследуемой страны, которую она всегда любила как вторую родину:

Ты миру отдана на травлю
И счета нет твоим врагам.
Ну, как же я тебя оставляю?
Ну, как же я тебя предам?

И где возьму благоразумье:
„За око — око, кровь — за кровь”, —
Германия — мое безумье!
Германия — моя любовь! ...⁷

Такие стихи, конечно, не могли быть напечатаны в России, воюющей против Германии. Но Цветаева часто читала их на

частных литературных вечерах. Другие же стихи о войне, написанные 15 октября 1915 года, были напечатаны в августе 1916 года в журнале „Северные записки”. Здесь выражается ее отношение к войне:

Я знаю правду! Все прежние правды — прочь!
Не надо людям с людьми на земле бороться!
Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь.
О чем — поэты, любовники, полководцы?

Уж ветер стелется, уже земля в росе,
Уж скоро звездная в небе застынет выюга,
И под землю скоро уснем мы все,
Кто на земле не давали уснуть друг другу.⁸

ГЛАВА 10

Петроградский журнал „Северные записки” считался „левым” и выходил приблизительно с 1910 года. Его издатели — Я. Л. Сакер и С. И. Чацкина — непрестанно искали новых молодых и талантливых сотрудников. Вскоре после появления журнала им удалось привлечь Ф. А. Степуна в качестве постоянного сотрудника, потом они открыли Марину Цветаеву. С января 1915 года и до прекращения журнала в 1917 году в „Северных записках” были опубликованы 16 стихотворений Цветаевой и ее перевод романа „La nouvelle espérance” Contesse de Noailles¹.

Редакция „Северных записок” считалась местом, где встречался весь левый интеллигентский Петроград. В доме издателей, в гостиной, где день и ночь горел огонь в большом камине и где день и ночь читались стихи, часто появлялись Вячеслав Иванов, Алексей Ремизов, Керенский и вся плеяда петербургских поэтов, там показывался и молодой, недавно открытый С. Есенин, когда он приезжал в столицу. Особое место в этом кругу занимала Анна Ахматова:

„Больше всех ценимая Софьей Исаковной и ее кругом Анна Ахматова мне при первой и единственной встрече не понравилась. Того большого, глубокого человека, которого в ней сразу разгадал Вячеслав Иванов, я сначала в поэте не почувствовал. Быть может, оттого, что она как-то уж слишком эффектно сидела перед камином на белой медвежьей шкуре, окруженная какими-то, на петербургский лад изящными, перепудренными и продуренными визитками...”²

На встречу Нового 1916 года Я. Л. Сакер и С. И. Чацкина пригласили Марину Цветаеву в Петроград; они хотели познакомить ее с литературным кругом столицы. Они уже раньше встречались с ней в Москве. Так как Марина не брала деньги за свои работы, они привезли ей подарки: трехтомное издание русских народных сказок Афанасьева и двух рыжих лисиц. В Москве они пригласили ее в ресторан с цыганской музыкой. Такое случилось впервые в жизни Марины и произвело на нее большое впечатление. В своем очерке „Нездешний вечер” она обращается к издателям:

„Софья Исаковна Чацкина и Яков Львович Сакер — спасибо за праздник — у меня его было мало!”

Она и правда могла им быть благодарна: источником цыганских мотивов, появившихся в произведениях Цветаевой после 1916 года, послужили впечатления этого вечера. А собрание сказок Афанасьева она сама называет источником вдохновения своего творчества. Эти новые влияния легко можно заметить в сборнике 1916 года „Версты I”.

Пребывание в Петербурге оказалось также очень значительным. Цветаева познакомилась с новыми людьми, что дало ее творчеству новые импульсы. Она остановилась в семье инженера Каннегисера и очень подружилась с его сыновьями: Сергей был большой путешественник; хрупкий, застенчивый Леня писал стихи. Вскоре после этого Леонид Каннегисер стал знаменитостью — но не как поэт. В августе 1918 года, когда группа социал-революционеров организовала покушение на Ленина, он убил одного из самых свире-

пых чекистов — Урицкого. С этого покушения началась волна репрессий, в которой погиб и Л. Каннегисер.

В гостеприимном доме Каннегисеров Марина познакомилась с петербургскими поэтами: с Есениным и одним молодым учеником Гумилева: Георгием Ивановым, который потом играл большую роль в литературных кругах парижской эмиграции. С первой же минуты они друг другу не понравились. Г. Иванов описал в своих мемуарах, как за чайным столом возник спор „а batons rompus”: Марина уверяла, что петербургские писатели не в состоянии понять и оценить величие Ростана³.

Самым большим событием этого визита был вечер 1 января 1916 года, проведенный у Михаила Кузмина, одной из „знаменитостей” Петербурга. Цветаева описала этот эпизод в своем очерке „Нездешний вечер” и посвятила Кузмину стихи, когда она услышала о его смерти:

Два зарева! — Нет, зеркала!
Нет, два недуга!
Два серафических жерла,
Два черных круга
Обугленных — из льда зеркал,
С плит тротуарных,
Через тысячеверстья зал
Дымят — полярных...⁴

В этот вечер у Кузмина собрался весь литературный Петроград. Все хотели познакомиться с Цветаевой и послушать ее стихи. Она читает им „Германию”, „Я знаю правду” и другие, и она чувствует свой успех:

„А все мало, а все — еще хотят. Ясно чувствую, что читаю от лица Москвы, и что этим лицом в грязь не ударяю...”

Но у Петербурга есть своя собственная обожаемая писательница:

„Ахматова! слово сказано. Всем своим существом чую напряженное — неизбежное — при каждой моей строке — сравнение нас... не только Ахматовой и меня, а петер-

бургской поэзии и московской, Петербурга и Москвы. (Но, если некоторые ахматовские ревнители меня *против меня* слушают, то я-то читаю не против Ахматовой, я — к Ахматовой.) Читаю — как если бы в комнате была Ахматова, одна Ахматова. Читаю для отсутствующей Ахматовой. Мне мой успех нужен, как прямой провод к Ахматовой. И если я в данную минуту хочу явить собой Москву — лучше нельзя, то не для того, чтобы Петербург — победить, а для того, чтобы эту Москву — Петербургу — подарить, Ахматовой эту Москву в себе, в своей любви, подарить, перед Ахматовой — преклонить. (Поклониться ей самой Поклонной Горой с самой непоклонной из голов вершине.)”⁵

Но обожаемая Ахматова не может принять этот подарок: она не в городе. По странной воле судьбы пути самых больших русских поэтесс XX столетия расходились до того момента, когда для настоящей дружбы было слишком поздно: они познакомились только в 1940 году после возвращения Цветаевой из Франции.

Мы знаем, что Ахматова не разделяла чувство восторга Цветаевой — к своей великой сопернице. Даже в 60-ые годы, когда она за границей встретила в Г. П. Струве, она отзывалась о Цветаевой „сдержанно”. Но для Цветаевой даже первая „не-встреча” с Ахматовой в 1916 году оказалась плодотворной: непосредственным результатом поездки в Петербург были „Стихи к Ахматовой” и некоторые из „Стихов о Москве” — два важных элемента сборника „Версты”.

Но одна встреча, более значительная с человеческой точки зрения, состоится на „нездешнем вечере”. Марина познакомится с человеком, которого она год назад впервые увидела в Коктебеле: молодой поэт Осип Мандельштам. Когда он декламирует свои стихи, он запрокидывает голову и полузакрывает глаза. Марина производит на него такое впечатление, что уже в марте он появляется в Москве, чтобы встретиться с нею. Мандельштам — первый раз в Москве. Марина водит его по городу, показывает достопримечательности и — дарит ему столь любимый ею город:

Из рук моих — нерукотворный град
прими, мой странный, мой прекрасный брат.
По церковке — все сорок сороков
и реющих над ними голубов.

.....

Пятисоборный несравненный круг
прими, мой древний, вдохновенный друг.

.....

И встанешь ты, исполнен дивных сил.
Ты не раскаешься, что ты меня любил.⁶

Мандельштам не затрудняется ответом:

...И пятиглавые московские соборы
С их итальянскостью и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.⁷

Ясно чувствуется, что Марина не остается равнодушной к Мандельштаму. В двух письмах А. Бахраху она упоминает эти прогулки по Москве:

„Мне было 20, я говорила Вашему любимому поэту Мандельштаму: „Что Марина, когда Москва?! — Марина — когда весна?! О, Вы меня *действительно* не любите!” Меня это всегда удушало, эта узость. Любите *мир* — во мне, не *меня* в мире. Чтобы „Марина” значило: мир, а не мир — „Марина”.”

(25.5.1923.)

И дальше:

„Есть ли у Вас ”Tristia” Мандельштама? Может быть Вам будет любопытно узнать (как одно из моих отражений), что стихи „В разногласице девического хора”, „На развалинах уложенных соломой”, „Но в этой странной, деревянной и юродивой слободе” и еще несколько — написаны мне. Это было в Москве, весной 1916 г., и я взамен себя дарила ему Москву. Стихов он из-за жены (недавней и ревливой) открыто посвятить не решился. У меня много стихов к нему...

Посвятить их ему я из-за его жены (недавней и ревливой) не решилась”.

(25.7.1923)

„Я отлично знала, что стихи написаны Цветаевой”, — говорит Надежда Мандельштам. „Автор „Попытки ревности”, она, видимо, презирала всех жен и любовниц своих бывших друзей, а меня подозревала, что это я не позволила Мандельштаму „посвятить” ей стихи. Где она видела посвящения над любовными стихами? Цветаева отлично знала разницу между посвящением и обращением. Стихи Мандельштама обращены к ней, говорят о ней, а посвящение — дело нейтральное, совсем иное, так что „недавняя и ревливая жена”, то есть, я, в этом деле совершенно не при чем. (И Ахматова, и Цветаева — великие ревливицы, настоящие и блистательные женщины, и мне до них, как до звезды небесной.)”⁸.

Обыкновенно Марина Цветаева молчала о том, кто были герои ее „романов”, к кому были обращены стихи, которые лились из-под ее пера. Когда же чувства остывали, когда все бывало кончено, адресат стихов уже был не в счет:

„Раз навсегда: все мои тайные стихи, все вообще такие стихи обращены к Богу. Недаром я — вовсе не из посмертной женской гордости, а из какой-то последней чистоты совести — никогда не проставляла посвящений. Поверх голов — к Богу. По крайней мере — к ангелам. Хотя бы по одному тому, что ни одно из этих лиц их не приняло — не присвоило, к себе не отнесло, в получке не расписалось”⁹.

И о дружбе с Осипом Мандельштамом Марина сначала молчала — письма Бахраху предназначались только ему. Но когда, в 1931 году, она прочла в статье Георгия Иванова, что в 1916 году Мандельштам жил в Крыму с брюнеткой, женщиной-врачом, которой он посвятил стихи из „Tristia”, Марина нарушила свое молчание, и в „Истории одного посвящения” написала свои воспоминания о Мандельштаме, зная, что при ее жизни они не будут напечатаны¹⁰.

Судя по ее стихам в „Верстах”, Цветаева в это время была в очень угнетенном настроении. 27 апреля она обращается „К С. Э.”, стихи звучат как просьба о помощи:

Я пришла к тебе черной полночью
За последней помощью.
Я — бродяга, родства не помнящий,
Корабль тонущий...

Тем временем Анастасия Ивановна жила со вторым мужем, Маврикием Александровичем Минц, в маленьком городе Александрове во Владимирской губернии. В мае Марина поселилась у нее — Ася переселилась в Борисоглебский переулок и в июне родила второго сына, Алешу. Деревянный домик, в котором они жили, находился на окраине города, окруженный лесом и садами. М. А. Минц возвращался только вечером, Марина смотрела за детьми, Алей и Андрюшей. В доме еще были кучер Павел и няня Андрюши, Надя, деревенская девушка, глубоко преданная своей барыне.

„Александров, 1916 год. Лето.

Пишу стихи к Блоку и впервые читаю Ахматову...”

В Александрове вдруг появляется Мандельштам и снимает в городе квартиру. Он ходит гулять с Мариной и детьми, но ему очень не нравится, что Аля и Андрюша больше всего любят играть на старом заброшенном кладбище, которое находится недалеко от дома:

„На кладбище я, по его словам, „рассеянная какая-то”, забываю о нем, М-ме, и думаю о покойниках, читаю надписи (вместо стихов!), высчитываю сколько лет — лежащим и над ними растущим, словом: гляжу либо вверх, либо вниз, но неизменно от. Отвлекаюсь...”

Мандельштам боится покойников; он сам не знает, чего он должен больше бояться — их душ, или их разлагающихся тел. Он хочет вернуться домой, но из дому его опять тянет на кладбище. Во время одной из таких прогулок за ними гонится бычок; дети — в полном восторге, но взрослые в панике!

„Теперь знаю: весь мой Красный бычок оттуда, с той погони. Спал во мне с мая 1916 года и воскрес в 1929 г. в Париже в предсмертном бреду добровольца. (Знаю,

что его бычок был именно мой — наш — александровский. И смех, которым он, умирающий, бычку смеялся — тот же смех Али и Андриюши: чистая радость бегу, игре, быку.)”

Мандельштам чувствует себя скверно в Александрове: он боится няни, у которой, как ему кажется, „волчьи глаза”; когда он видит монахиню, которая приходит помогать в работах по дому — на него нападает суеверный страх. Когда он, сломя голову, уезжает в Коктебель („Хотел — всю жизнь...”) и посылает оттуда глубоко любовные стихи „Не веря воскресенья чуду” — становится очевидным, что было причиной его беспокойства. К. Мочульский, который в это время тоже находился в Коктебеле, помнит, как Мандельштам написал эти стихи:

„Но эти невзгоды были ничто по сравнению с настоящим горем, которое он пережил в конце этого крымского лета 1916 года. Я помню, с каким вдохновением он сочинял одно из лучших своих стихотворений...”¹¹

Встреча с Мариной Цветаевой сыграла решающую роль в жизни Мандельштама, что подтверждает и его жена:

„Дружба с Цветаевой, по-моему, сыграла огромную роль в жизни и в работе Мандельштама... Это и был мост, по которому он перешел из одного периода в другой. Стихами Цветаевой открывается „Вторая книга” или „Тристан”. Каблуков, опекавший в ту пору Мандельштама, сразу почувствовал новый голос и огорчился... Цветаева, подарив ему свою дружбу и Москву, как-то расколдовала Мандельштама. Это был чудесный дар, потому что с одним Петербургом, без Москвы, нет вольного дыхания, нет настоящего чувства России, нет нравственной свободы...”¹²

Не только Мандельштам заговорил другим голосом после встречи с Мариной Цветаевой, то же самое можно сказать и о Цветаевой после встречи с ним. В ее лирическом дневнике 1916 года „Версты” появляется новый тон. Профессор С. Карлинский, первый биограф Цветаевой, называет этот сборник „водоразделом в творчестве Цветаевой”¹³. Стихотворения первой части, наверно, посвящены большей

частью Мандельштаму. Смятение, беспокойство и признаки душевного кризиса проявляются в них очень ясно. Поражает только то, что сам виновник этого беспокойства и смятения, сам вдохновитель творческой деятельности Марины Цветаевой, вообще не влияет на ее литературное творчество. То, что в „Верстах” является чем-то новым в языке и выражении, — не влияние Мандельштама, а скорее влияние цыган в цыганском ресторане в Москве, или няни Нади, или кучера Павла из Александровска. Здесь появляются в первый раз отголоски народного просторечия, частушки, и старославянского языка, появляются новые ритмы и звуковые оттенки, которые так характерны для позднейшего лирического творчества Цветаевой. А Мандельштам, несмотря на всю свою гениальность, все-таки остается в рамках классической петербургской формы, с которой порывает и от которой отходит Цветаева, когда эта форма больше не укладывается в ритм и созвучие, избранные ею. Может быть, этим объясняется, почему эти два величайших русских поэта XX столетия не знали, как отнестись к творчеству друг друга. Марина Цветаева, которая почти истерически восхищалась стихами Блока и Ахматовой, и позже поразительно могла почувствовать и объяснить Пастернака, была совершенно не в состоянии вполне понять поэтический размер Мандельштама, хотя она часто о нем писала. Для нее он навсегда остался любимым „божественным мальчиком”. Но его личное присутствие и смешные привычки мешали ей взглянуть на него, как на поэта и человека. Наконец она встретила человека, а не только тень. Но она не узнает его. Преклоняться можно только перед недосягаемым, как герцог Рейхсштаттский; если же кумир превращается в простого смертного — то его чары исчезают. Трагедия в жизни Марины Цветаевой заключается большей частью в том, что она была в состоянии преодолеть формы стиха, но не свое детское, романтическое отношение к жизни.

В „Верстах I” нет ничего из проблем и событий дня. Военные события и их отклики звучат где-то далеко. Марина ведет себя, как и большинство русских интеллигентов,

которые и в 1916 году все еще рассуждают о ритмах, о духовном кризисе старой Европы, ведут бесконечные философские разговоры, не интересуясь при этом судьбой собственной страны, которая медленно истекает кровью на фронте и стоит перед развалом. В „Нездешнем вечере” Марина потом говорит:

„Все заплатили. Сережа и Леня — жизнью, Гумилев — жизнью. Есенин — жизнью. Кузмин, Ахматова, я — пожизненным заключением в самих себя — в этой крепости — вернее Петропавловской”.

Но она чувствует, что что-то недоброе реет в воздухе. Она чувствует, что земля колеблется у нее под ногами. Как будто объятая тем пророческим духом, который в Цветаевой так поражает Надежду Мандельштам, она пишет 2 июля 1916 года:

Руки даны мне — протягивать каждому обе,
Не удержать ни одной, губы — давать имена,
Очи — не видеть, высокие брови над ними —
Нежно дивиться любви и — нежней — нелюбви.

А этот колокол там, что кремлевских тяжеле,
Безостановочно ходит и ходит в груди —
Это — кто знает? — не знаю, — быть может, —
должно быть —
Мне загоститься не дать на российской земле!¹⁴

Все-таки кажется странным, что последние стихи Марины в сборнике „Версты I”, прекрасное „Вот опять окно, где опять не спят...”, написанные 23 декабря 1916 года, совсем не затрагивают каждодневные события. Ведь уже за шесть дней до этого, 30(17) декабря, трое молодых людей — Великий Князь Дмитрий Павлович, князь Феликс Юсупов (женатый на Великой Княжне Ирине Александровне) и „правый” член Думы Пуришкевич, убили всеми ненавистного Распутина. Весь воздух дрожит, напряжение достигло невыносимого состояния. 30 декабря (11 января) 1917 г. француз-

ский посол Палеолог и его атташе граф де Шамбрэн (comte de Chambrun), приглашены к обеду у одной Великой Княгини, на котором они стали свидетелями сцены, выглядевшей, как заговор царской семьи против Николая II, с целью возвести на престол другого члена семьи Романовых. Французы понимают, что переворот (coup d'état) не удался. Атмосфера настолько натянута, что, прощаясь, Палеолог говорит Шамбрэну: "La révolution russe a commence!"¹⁵

ГЛАВА 11

Однажды Волошин сказал: „Марина, ты сама себе вредишь избытком. В тебе материал десяти поэтов, и всех замечательных...” Это изречение хорошо подходит к 1917 году: два сборника стихов, начатые в этом году, по тематике и по стилю совсем разные, так что можно было бы их приписать разным поэтам, к тому проза, „и все замечательно”. Первый сборник — это стихи 1917–21 годов, которые, по замыслу Цветаевой, должны были выйти под названием „Версты II”, но никогда в таком виде в печати не появились¹. Центральной частью этого сборника является цикл „Дон-Жуан”, встреча с молодым поляком „с княжеским гербом и короной”, может быть, просто романтическая выдумка, а не настоящее знакомство. Вообще, эти аполитические, лирические стихи по тематике (не по стилю) скорее возвращение в романтическую молодость поэта.

Параллельно с этим сборником в 1917–20 годах создается том с откликами Цветаевой на актуальные события: Февральскую и Октябрьскую революции и Гражданскую

войну. Этот сборник — „Лебединый стан” — выполняет функцию лирического дневника и выражает реальные чувства и надежды поэта. Если прибавить к этому, что в 1917 году Цветаева начинает писать прозу и — как будто между прочим — рождает вторую дочь, то нужно признать ее многосторонность.

1917 года начался с того, что „Северные Записки” напечатали в январском номере „Стихи о Москве”. Много лет спустя Цветаева вспоминала об этом:

„Да, я в 1916 г. первая так сказала Москву. (И пока что последняя, кажется.) И этим счастлива и горда, ибо это была Москва последнего часа и раза. *На прощанье...* Эти стихи были — пророческие. (Перечтите их и не забудьте дат.)”³

Но потом люди перестали интересоваться литературой.

Здесь не место для подробного описания тех событий, которые с февраля 1917 года потрясали Россию и Запад и о которых существуют целые библиотеки. Французский атташе де Шамбрэн описывает своей невесте в Париже, как он еще 24 февраля был на шумном балу в аристократическом дворце („... un bal sur un cratère...”), как со следующего дня, после назначения Временного правительства и образования „Совета рабочих и солдатских депутатов” в Петрограде начинает царствовать хаос. Улицы черны от толп людей, все гуляют, митингуют, грабят, убивают офицеров.

В Москве события протекают в немного ослабленной форме, там коменданту города удастся сохранять порядок, но Марина Цветаева очень скоро понимает, что мечтать о революции, как она это делала в 1905 году, и пережить ее по-настоящему — это две разные вещи. Уже 2 марта она пишет:

Над церковкой — голубые облака,
Крик вороний...
И проходят — цвета пепла и песка —
Революционные войска,
Ох ты барская, ты царская моя тоска!

Нету лиц на них и нет имен —
Песен нету!

Заблудился ты, кремлевский звон,
В этом ветерном лесу знамен.
Помолись, Москва, ложись, Москва, на
вечный сон!⁴

Русская интеллигенция по-разному откликнулась на февральскую революцию. Многие ее встретили с радостью. Федор Степун, который как офицер был на фронте, встретил ее „с радостным чувством”⁵. Он начал выступать как агитатор перед солдатами и был выбран делегатом в „Совет рабочих и солдатских депутатов”. („Как и большинство этого бесформенного и раздутого собрания, я в сущности ничего там не делал, если не считать делом речи и разговоры”). Позже он предложил свои услуги Временному правительству и, наконец, занял в составе правительства высокое место начальника Политического отделения Военного министерства. В своих крайне интересных воспоминаниях Федор Августович описывает, как революционный размах ответственных людей постепенно превращался в бесконечные яростные споры различных группировок и партий, в то время как большевики точно знали, что нужно делать для достижения власти и с первого момента сознательно добивались своей цели.

Андрей Белый был от революции в восторге. Он принимал участие во всех демонстрациях и уличных боях и написал статью о „Революции и культуре”, в которой он провозглашал революцию как созидательный акт творческой формы. Еще один интеллигент, который до того времени жил в Париже как эмигрант, Илья Эренбург, вернулся в июле в Петербург, „ничего не понял” и вскоре покинул буйный Петербург, поехал в более спокойную Москву и потом еще дальше, на юг... По-видимому, разница была слишком велика между революционной действительностью и тем, за что он, еще школьником, агитировал и потому должен был покинуть родину.

Но среди интеллигенции были и такие, которые считали перебежничество к новым властям изменой и оставались

верными Императору и своей присяге. Одним из таких был Сергей Эфрон, несмотря на сверх-анархическое прошлое его родителей. В начале февральской революции и летом 1917 года он посещал Александровскую офицерскую Академию в Москве.

Марина Цветаева, что и не удивительно при ее характере, всецело разделяла взгляды своего мужа. Глубоко врожденное чувство лояльности, верности данному слову, ее презрение ко всякого рода ренегатству определяют ее отношение к революции:

Новые толпы — иные флаги.
Мы ж остаемся верны присяге,
Ибо дурные вожди — ветра⁶.

Без страха перед возможными последствиями Цветаева становится на сторону тех, кого преследует новое правительство, даже если она раньше им не сочувствовала. 4 апреля 1917 года, через два дня после приезда Ленина в Петроград, она страстно вступается за царевича Алексея:

За отрока, за голубя — за сына,
За царевича младого Алексея
Помолись, церковная Россия!

.....

Ласковая ты, Россия, мать!
Ах, ужели у тебя не хватит
За него — любовной благодати?

Грех отцовых не карай на сыне!
Сохрани, крестьянская Россия
Царскосельского ягненка Алексея!⁷

Но потом политические события отступают на задний план. 13 апреля рождается вторая дочь Марины, Ирина.

Однако интерес к внешнему миру, а также ее муза скоро опять просыпаются. Между 22-м и 25-м апрелем Цветаева сочиняет цикл из трех стихотворений о ее любимом народном герое и разбойнике Стеньке Разине. 2 мая у нее новое знакомство, 13 мая она пишет:

Что же! коли кинут жребий —
Будь! Любовь!
В грозовом — безумном — небе —
Лед и кровь.

Жду тебя сегодня ночью
После двух.
В час, когда во мне рокошут
Кровь и дух⁸.

19 мая — совсем другое приключение: гуляя с Алей, Марина проходит мимо бывшего родительского дома в Трехпрудном переулке. У забора стоит цыганка, она гадает прохожим по руке. В течение двух дней Цветаева пишет цикл „Гадание”, в котором она подражает дикции цыганки. Этот язык мастерски употребляется во многих стихах этого периода. Позже, в Праге, профессор Кондаков, ученый с мировым именем, очень хвалит ее за этот язык:

„Одобрил — за настоящесть цыганской речи. — Где же вы так изучили цыган? — О, они мне только гадали...”⁹

Если еще в 1916 году возможно было игнорировать войну — в 1917-ом не так легко забыть, что происходит. Со дня на день теряет Временное правительство власть и доверие, а большевики, под руководством Ленина и Троцкого, в полном сознании своей цели, готовятся ее перенять. В середине мая правительство перестраивается: П. Милюков заменяется социалистом-революционером А. Ф. Керенским, он становится министром обороны. В течение нескольких дней Марина думает, что он будет новым Наполеоном в России. В день Троицы, 21 мая, она пишет:

И кто-то, упав на карту
Не спит во сне.
Повеяло Бонапартом
В моей стране...¹⁰

Но эта мечта оказывается иллюзией. Когда Керенский, после неудавшегося восстания большевиков, занимает пост министра-председателя, то оказывается, что он так же, как и его предшественник князь Львов, совершенно не способен справиться с положением.

Марина, с одной стороны, думает о своем друге „из Польши своей спесивой“, но в реальной жизни очень хорошо понимает растущую опасность, главным образом, для ее мужа. 7 августа она пишет Волошину:

„Дорогой Макс, у меня к тебе *огромная* просьба: устрой Сережу в артиллерию, на юг... Лучше всего в крепостную артиллерию, если это невозможно — в тяжелую... только, Макс, умоляю тебя — не откладывай!”

25 августа она пишет еще раз, она дает Волошину знать, что она собирается с детьми в Феодосию, потому что в Москве „голод и скоро холод“. На следующий день — открытка:

„Дорогой Макс, убеди Сережу взять отпуск и поехать в Коктебель. Он этим бредит, но сейчас у него какое-то расслабление воли, никак не может решиться. Чувствует он себя отвратительно, в Москве сыро, промозгло, голодно. Отпуск ему конечно дадут... Напиши ему, Максенька! Тогда и я поеду — в Феодосию, с детьми. А то я боюсь оставлять его здесь в таком сомнительном состоянии...”¹¹

На юге уже жила целая колония беженцев из Москвы и Петрограда: Майя Кудашева, впоследствии жена Р. Роллана, актриса М. И. Кузнецова, вторая жена Бориса Трухачева, и Ася с сыном Андрюшей. Если можно сказать, что 1917 год для Марины Цветаевой был успешным, хотя бы с точки зрения ее творчества, то для ее сестры это год великих катастроф. 21 мая Маврикий Александрович внезапно умирает от гнойного аппендицита; в июле оба ее мальчика заболевают

дезинтерией, Андрюша выздоравливает, но маленький Алеша умер 18 июля и погребен в Коктебеле¹². В конце этого года или в следующем году Борис Трухачев убит на Гражданской войне. Анастасия Ивановна осталась одна с Андрюшей в Коктебеле, там ее застала гражданская война.

Осенью Марина одна поехала в Коктебель, — побыть с несчастной сестрой и, по всей вероятности, тоже чтобы подыскать квартиру и для себя с детьми, — вот причина, по которой роковая ночь 24/25 октября захватила ее врасплох на юге без семьи. Она знает, что Сережа, который только что окончил офицерский курс, находится в величайшей опасности. Она видела в Феодосии, как пьяные солдаты грабили винный погреб и знает, что ожидает страну. Она садится 31 октября в поезд и едет в Москву. Путешествие длится три дня. Чем ближе она к цели, тем страшнее слухи. Чтобы отвлечься, Марина начинает записывать свои мысли в тетрадку:

„Двое с половиной суток ни куска, ни глотка. (Горло сжато.) Солдаты приносят газеты — на розовой бумаге Кремль и все памятники взорваны. 56-й полк. Взорваны здания с юнкерами и офицерами, отказавшимися сдаться, 16000 убитых. На следующей станции — уже 25000. Молчу. Курю. Спутники, один за другим, садятся в обратные поезда...”

И затем сердцараздирающее „письмо в тетрадку”:

„Если Вы живы, если мне суждено еще раз с Вами увидеться — слушайте: вчера, подъезжая к Харькову, прочла в „Южном Крае”: 9000 убитых. Я не могу Вам рассказать этой ночи, потому что она *не кончилась*. ... (Я боюсь писать Вам, как мне хочется, потому что расплачусь. Все это страшный сон. Стараюсь спать. Я не знаю, как Вам писать. Когда я Вам пишу, Вы — есть, раз я Вам пишу! А потом — ах!) — 56 запасной полк, Кремль... А главное, главное, главное — Вы, Вы, Вы с Вашим инстинктом самоистребления. Разве Вы можете сидеть дома? Если бы все остались, Вы бы одни пошли. Потому что Вы безупречны. Потому что Вы не

можете, чтобы убивали других. Потому что Вы лев, отдающий львиную долю: жизнь — всем другим, зайцам и лисам. (Потому что Вы беззаветны и самоохраной брезгуете, потому что „я” для Вас не важно, потому что я все это с первого часа знала! Если Бог сделает это чудо — оставить Вас в живых, я буду ходить за Вами как собака!”¹³

Когда ранним утром 3 ноября Марина добирается до Москвы, там все спокойно. Бои кончились, Кремль еще стоит; сколько погибло людей, уже никогда нельзя будет выяснить. Юнкера и офицеры защищались 5 дней и за день до приезда Марины в Москву, 2 ноября, сдались и были отпущены. Страх за мужа оказывается напрасным, она находит его на квартире друзей спящего глубоким сном изнеможенного. У него только одна цель: как можно скорее пробраться на юг, чтобы воевать против большевиков.

Вечером дня ее приезда в Москву Марина с Сережей и одним его товарищем пускаются в длинный путь обратно в Феодосию. Товарищ Сергея лежит на верхней полке и, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, начинает декламировать стихи одного из своих друзей, имя которого Павлик.

В суматохе этого спешного отъезда Эфроны забыли одно: взять с собой детей. Это оказывается роковой ошибкой.

Они приезжают в Коктебель в страшную снежную бурю. Макс так рад увидеть Сережу живым, что радость не знает границ. Но он прозорливее других современников: картина будущей России, которую он им рисует, не оптимистична:

„А теперь, Сережа, будет то-то... И вкрадчиво, почти радуясь, как добрый колдун детям, картину за картиной — всю русскую революцию на пять лет вперед: террор, гражданская война, расстрелы, Вандея, озверение, потеря лица, раскрепощение духа стихии, кровь, кровь, кровь...”¹⁴

В Крыму все спокойно, татары живут, как жили столетиями. Кажется, что пестрые афиши на стенах принадлежат к другому миру. Решено: Марина поедет за детьми, перезимует в Коктебеле с Максом и Пра. „Марина, только очень торопись, — говорит ей Волошин, — помни, что теперь будет две страны: Север и Юг!”

Сереза уезжает на Дон, Марина садится третий раз в поезд, чтобы привезти Алю и Ирину. Но это ее последнее путешествие. Она доезжает до Москвы, но вернуться обратно уже невозможно. Фронт между „красными” и „белыми” разделяет страну на Север и Юг, как предсказал Волошин, на целые три года. Семья Эфронов разорвана.

Марина, которая всегда витала в облаках и о практической стороне жизни не имела никакого понятия, вдруг стоит перед задачей бороться за жизнь свою и своих крошечных детей, в условиях, не имевших ничего общего с тем, что она знала до сих пор.

Но одно непосредственное следствие октябрьских событий налицо: очерк „Октябрь в вагоне” — час рождения Цветаевой-прозаика.

ГЛАВА 12

Ленин точно знал, что нужно делать, чтобы закрепить за собой ту власть, которая так легко далась ему в Петрограде. В стране большевики были в меньшинстве; доказательством тому служат проведенные 25 ноября общие выборы, которые принесли им 25%, а всем социалистическим партиям вместе — 61% голосов. Ленин не терял времени на мечты об отмирании государства или на лево-интеллектуальные фразы. Удар за ударом — он издавал приказы, которые разбивали власть его противников и совершенно уничтожали силу их влияния. Были организованы временные рабочие и крестьянские советы; имения, фабрики, банки — национализированы; словечко „грабь награбленное” — сейчас же очень понравилось. Уже 7 (20) декабря Ленин послал письмо Дзержинскому, которое послужило началом „Чрезвычайной Комиссии по борьбе против контрреволюции, спекуляции и саботажа” под названием „Чека”. Эта комиссия сразу же начала уничтожать всех врагов коммунизма.

Бывший член Временного правительства Ф. А. Степун,

которому удалось выехать из Петрограда и добраться до Москвы еще в то время, когда там велись бои (то есть, наверно, за день до первого приезда Цветаевой), описывает первые месяцы так, как он их видит сам:

„Со дня на день креп террор, людей преследовали не только за их деяния и мысли; но и за их бездейственное, немое бытие. Смертные приговоры выносились и приводились в исполнение не в порядке наказания за преступление, а в порядке ликвидации чужеродного и потому не пригодного для социалистического строительства материала. Помещики, буржуи, священники, кулаки, белые офицеры так же просто выводились в расход, как в рационально поставленных хозяйствах выводится в расход одна порода скота ради введения другой.

Под угрозой этого хладнокровного, рационального террора во всей не пролетарской России начался небывалый по своим размерам процесс внутреннего и внешнего перекрашивания в защитный цвет революции. Тысячи и тысячи людей, насильнически выгнанных революционным законодательством и произволом масс из своих помещичьих усадеб, городских особняков и даже скромных интеллигентских квартир, бросали вместе с накопленным добром и весь свой миросозерцательный багаж, дабы хоть кое-как устроиться под спасительной крышей марксистской идеологии. Толпы этих обнищавших, внутренне неприкаянных переселенцев заполняли собою в качестве служащих, а зачастую даже и руководителей всевозможные советские учреждения, придавая жизни неуловимо-призрачный, двоящийся характер. Охваченные со всех сторон партийным шпионажем, эти новоявленные „товарищи” легко запутывались в нем и, спасая себя, выдавали других.

Нет сомнения, что безликий и вездесущий шпионаж был самую страшную стороною террористической системы большевизма. Сердце каждого человека билось не в собственной груди, а в холодной руке невидимого „чекиста”¹.

Некоторым богатым людям и иностранцам удалось покинуть Россию уже летом и осенью 1917 года. Французский

атташе Comte de Chambrun был отозван в августе. Горько пришлось тем, кто не смог последовать этому примеру. Землевладельцы, промышленники, аристократы, офицеры и высокие чиновники преследовались с первого момента. Особенно страшно пострадали члены царской семьи. Великий князь Николай Михайлович, который в других условиях, наверно, сумел бы послужить своей родине на самых ответственных местах, был застрелен вместе с другими великими князьями 20 января 1919 года в Петропавловской крепости. Его трагедию можно проследить по письмам, написанным еще из тюрьмы Frédéric Masson. Вот его завещание из последнего письма:

"Au nom du ciel, preservez par tous les moyens votre pays de cette contagion du bolchevisme. C'est la plus dangereuse forme de l'anarchie qui puisse seulement exister!"²

Большевики должны были справляться с труднейшими задачами, с хозяйственными, политическими и военными проблемами. Последствия гражданской войны и централизация власти сказались в разрухе хозяйства. Для населения настали годы бедствий. Понятно, что новые властители в своем трудном положении приветствовали всех сотрудников-интеллигентов, которые готовы были идти с ними, и принимали даже беспартийных. Некоторые писатели и поэты примкнули к новому правительству из убеждения и восторга, как например Маяковский; другие, как Блок и Белый, верили вначале в какую-то великую идею мистического анархизма, но они очень быстро разочаровались, когда столкнулись с действительностью. Группа левых христианских философов, близких к Бердяеву и Булгакову, пробовала летом 1918 года духовно усвоить революцию. Но их сборник „Из глубины” не был уже напечатан. Из писателей довоенного времени был один, который сейчас же и из чисто корыстных мотивов вступил в коммунистическую партию и получил видное место: В. Я. Брюсов.

Но подавляющее большинство остальных отклонило новые идеи и не хотело больше знаться с Брюсовым и Блоком. Наверно, большинство из них думали, как Марина

Цветаева, которая вскоре после своего последнего прибытия из Коктебеля в декабре 1917 года очень ясно выразила в стихах свое мнение.

МОСКВЕ

Когда рыжеволосый Самозванец
тебя схватил — ты не согнула плеч.
Где спесь твоя, княгинюшка? — Румянец,
красавица? — Разумница — где речь?

.....

Не позабыли огненного пойла
Буонапарта хладные уста.
Не в первый раз в твоих соборах
— стойла.
Все вынесут кремлевские бока.³

Каждый день появлялись на стенах новые декреты. Одним из них Цветаева лишилась своего „безработного дохода” — 100 000 рублей на счету Государственного Банка. Она сама всегда презирала деньги и богатство и в этом была согласна с учением коммунизма, но таким образом она лишилась основы своего существования. Наверно, еще более была для нее реквизиция ее дома в Борисоглебском переулке; дом заселили пролетарские семьи, но Марине повезло: ей оставили три комнаты, в которых она разместилась с двумя дочерьми и няней Надей, которая служила раньше у Аси. В декабре 1920 года Марина пишет сестре Асе в Коктебель:

„Мы с Алей живем там же, в столовой. (Остальное — занято.) Дом разграблен и разгромлен. Трущоба. Топим мебелью...”

Эта трущоба в Борисоглебском переулке состояла из совершенно пустой столовой, второй комнаты, где спали дети, где топилась печь и принимались гости, и убежища Марины — комнатки на чердаке с видом на два тополя; эта каморка

была несколько раз описана в современной русской литературе. Зимой 1917/1918 г. сюда зашел в первый раз Илья Эренбург; он в ужасе от беспорядка, который он там находит:

„Войдя в небольшую квартиру, я растерялся: трудно было представить себе большее запустение. Все жили тогда в тревоге, но внешний быт еще сохранялся; а Марина как будто нарочно разорила свою нору. Все было накидано, покрыто пылью, табачным пеплом... Ко мне подошла маленькая, очень худенькая бледная девочка и, прижавшись доверчиво, зашептала: „Какие бледные платья! Какая странная тишь...” Я похолодел от ужаса: дочке Цветаевой — Але — было тогда лет пять, и она декламировала стихи Блока. Все было неестественным, вымышленным: и квартира, и Аля, и разговоры самой Марины — она оказалась увлеченной политикой, говорила, что агитирует за кадетов...”⁴

Но худенькая, бледная девочка, которая декламирует Блока, отрицает острые замечания Эренбурга:

„Первого появления Эренбурга у нас в Борисоглебском переулке... я не помню; знаю лишь, что в пятилетнем возрасте я, естественно, еще не была знакома с любовной лирикой Блока и что в большой, нескладной, но уютной квартире еще не наблюдалось того кораблекрушительного беспорядка, которым она поражала всех, в нее входивших, в начале 20-х годов”⁵.

Но в одном Эренбург был прав: маленькая Аля была необыкновенным ребенком. „Маленькая тень на огромном горизонте” воспитана своей молодой матерью очень необычайно и своевольно. Аля, которая в четыре года умела писать, а в шесть, под влиянием матери начала вести дневник, уже в этом раннем возрасте показала себя как сознательно думающая и наблюдающая личность. Ее запись в дневнике в декабре 1918 года поражает своей зрелостью и способностью наблюдать:

„Моя мать.

Моя мать очень странная. Моя мать совсем не похожа на

мать. Матери всегда любят своего ребенка, и вообще на детей, а Марина маленьких детей не любит.

У нее светло-русые волосы, они по бокам завиваются. У нее зеленые глаза, нос с горбинкой и розовые губы. У нее стройный рост и руки, которые мне нравятся.

Ее любимый день — Благовещение. Она грустна, быстра, любит Стихи и Музыку. Она пишет стихи. Она терпелива, терпит всегда до крайности. Она сердится и любит. Она всегда куда-то торопится. У нее большая душа. Нежный голос. Быстрая походка. У Марины руки все в кольцах. Марина по ночам читает. У нее глаза почти всегда насмешливые. Она не любит, чтобы к ней приставали с какими-нибудь глупыми вопросами, она тогда очень сердится. Иногда она ходит, как потерянная, но вдруг точно просыпается, начинает говорить и опять точно куда-то уходит”⁶.

Трудно найти лучшую характеристику.

Зима 1917/1918 г. была безнадежная, хаотическая и холодная. Но еще существовали семьи, которым жилось лучше, чем другим, и они старались помочь голодающим интеллигентам и приглашали их к обеду. К таким людям принадлежала чета Цетлиных, до революции — богатые владельцы чайной фирмы; они всегда поддерживали поэтов; М. И. Цетлин сам писал стихи под псевдонимом „Амар”.

„Время было трудное и приходили все — от Вячеслава Иванова до Маяковского”, — пишет Илья Эренбург. Цветаева бросилась ему в глаза, потому что она, не стеснясь, с жаром стала защищать царевну Софью против ее брата Петра Великого, которого она считала корнем зла и виновником восстания против закона и права.

За одним таким ужином Марина сидит рядом с Борисом Пастернаком. Он говорит, что он хочет написать большой роман, с любовью, с героиней, как у Бальзака. „Поэт” — думает Марина и приглашает его к себе. Пастернак не приходит — он, как и Марина, не умеет общаться с людьми.

Весной 1918 г. у четы Цетлиных тоже отнимают московский дом. Им удастся выехать в Париж, где у них квартира. Жизнь писателей в Москве становится еще труднее.

Об этой жизни в революционной Москве Цветаева пишет в своем дневнике. Несмотря на то, что „Версты II” и „Лебединый стан” все растут, ей кажется, что проза лучше подходит для описания этого времени.

„Эти записки не *личного*, но и не *общественного* характера: мысли, наблюдения, разговоры, револ. быт — всякое... ..Революционная Москва — некая душевная хроника”⁷.

Этот дневник — он заключает в себе 1917—1920 гг. — никогда не был полностью опубликован. В 20-ых годах, в русских эмигрантских газетах были напечатаны короткие выдержки. Эти листки освещают душевное состояние Цветаевой. Хотя она описывает и каждодневные нужды, голод, тяжелую домашнюю работу, „новых людей” вокруг себя, — но большей частью она старается отойти от действительности и раздумывает на отвлеченные темы: о любви, о дружбе, о благодарности; она мечтает о Германии, которая ей кажется обетованной страной мудрости, порядка и свободы. В ее блистательно написанных афоризмах нас особенно поражает способность Цветаевой к абстрактному мышлению⁸.

Но и в самые тяжелые времена бывают проблески света. Марина знакомится с новыми людьми и находит друзей, которых, наверно, никогда не встретила бы в нормальных условиях. Сейчас же после прибытия из Коктебеля она разыскивает „Павлика” — поэта, стихи которого ей так понравились во время последней поездки на юг.

„Встреча была вроде землетрясения. По тому, как я поняла, кто он, он понял, кто я. (Не о стихах говорю, я даже не знаю, знал ли он тогда мои стихи.) Простояв в магическом столбняке — не знаю сколько, мы оба вышли — тем же черным ходом, и заливаясь стихами и речами. Словом, Павлик пошел — и пропал. Пропал у меня, в Борисоглебском переулке, на долгий срок”⁹.

Павлик — знаменитый советский поэт Павел Антокольский — в 1966 году в своих воспоминаниях, „поневоле окрашенных лирически и продиктованных глубокой благо-

дарностью и любовью к другу поэту”, рассказывает о Цветаевой, которую он помнит так:

„Статная, широкоплечая женщина с широко расставленными серо-зелеными глазами. Ее русые волосы коротко острижены, высокий лоб скрыт под челку. Темно-синее платье не модного, да и не старомодного, а самого что ни на есть простейшего покроя, напоминающего подрясник, туго стянуто в талии широким желтым ремнем. Через плечо перекинута желтая кожаная сумка вроде офицерской полевой или охотничьего патронташа — в этой неженской сумке умещаются и сотни две папирос, и клеенчатая тетрадь со стихами. Куда бы ни шла эта женщина, она кажется странницей, путешественницей... Речь ее быстра, точна, отчетлива. Любое случайное наблюдение, любая шутка, ответ на любой вопрос сразу отливаются в легко найденные, счастливо отточенные слова и так же легко и непринужденно могут превратиться в стихотворную строку. Это значит, что между нею деловой, обычной, будничной и ею же — поэтом разницы нет, расстояние между обеими неуловимо и ничтожно... Она никогда не лгала, ничего не преувеличивала. Зрение и слух были у нее свои собственные, непохожие, была и настройка на собственную волну, если применить термин современного обихода... Крылатое и легкое шло от всего ее облика. Она была полна пушкинской „внутренней свободы” — в непрестанном устремлении, бессонная, смелая. По-настоящему любила она — не себя, а свою речь, свое слово, свой труд. Но и чужое слово любила она бескорыстно и готова была трубить в честь чужой удачи в самые золотые трубы”¹⁰.

Молодые поэты — Цветаевой было 25, а Антокольскому 22 года — сидели ночи напролет в маленькой комнатке на чердаке, которая Антокольскому показалась каютой корабля, плывущего вне времени, и философствовали. Они „сидели в облаках и правили миром”, как выражается Цветаева.

Антокольский учился у Вахтангова, в Третьей студии Московского Художественного Театра. Позже он работал там многие годы режиссером. Он ввел Марину в круг этих

веселых, бредящих искусством, отзывчивых людей. Марине открылись новые художественные и человеческие перспективы.

Лучший круг Павлика — красавец актер Юрий Завадский, которому предстоит блестящая карьера. Марина сильно влюбляется в него, но все остается только в платоническом одностороннем увлечении, которое длится один год. Под влиянием Завадского Цветаева начинает писать театральные пьесы. Между 1918 и 1919 годом она пишет не меньше шести. Большею частью Завадский — главный герой. Она старается забыть о тяжелом настоящем и укрывается в эпохе, которую она всегда любила: в 18-м столетии. Эти пьесы не шедевры, они никогда не были поставлены и, наверно, их не приняли бы ни на одну сцену. Близорукая Цветаева черпает свои импульсы скорее в звуках, в тонах, не через зримое; игра на сцене, зрелище остаются ей чужды. Карлинский замечает, что эти пьесы и по языку принадлежат скорее к миру ее ранней молодости; они слабее, чем написанные в то же время лирические стихи. Пьесы эти интересны только потому, что передают, как в зеркале, ее тогдашние душевные переживания, а также показывают, какое сильное влияние имела на нее вся атмосфера театра им. Вахтангова¹¹.

Кроме Завадского, в группе актеров двое особенно олицетворяют собой идеал Марины: бывший гвардейский офицер и помещик А. А. Стахович и маленькая актриса Софья Евгеньевна Голлидэй из второй студии. Стахович — в 1918 году уже старик — обучал актеров искусству поведения. Он Казанова в пьесе „Приключение” и в „Конец Казановы”. Лично Марина встречает его один единственный раз и это настоящая цветаевская встреча: он хвалит стихи, которые написаны не ею, а кем-то другим; она хочет с ним ближе познакомиться, но сама себе в этом отказывает именно потому, что она так этого хочет. Позже она никак не может себе этого простить: в феврале 1919 года Стахович кончает самоубийством. Он платит свои долги, дает своему камердинеру деньги и — вешается. Жизнь в пролетарской России ему не под силу. Для Марины он остается приме-

ром аристократа старой школы погибшей эпохи и погибшего мира¹².

Марина увидела в первый раз Сонечку Голлидэй в декабре 1918 года, когда она прочла на сцене Третьей Студии свою пьесу „Метель”. Среди слушателей находится и Завадский — главный герой и вдохновитель пьесы. Но его присутствие померкло, когда Антокольский представил Марине маленькую восторженную актрису Сонечку. Это была с первой минуты взаимная любовь. Судя по описанию Цветаевой, Сонечка во всех отношениях была настоящая „институточка” прежней русской эпохи — противоположность сдержанной Цветаевой. В течение нескольких месяцев они были неразлучны. Ариадна Эфрон вспоминает, что среди многих посетителей, только Сонечка Голлидэй занималась ею и маленькой Ириной и только она вносила немножко тепла и нежности в жизнь детей.

Третьим оказался Володя Алексеев, тоже актер, который глубоко любил Цветаеву и преклонялся перед нею (или обеими?). Это идиллическое состояние длилось до начала лета 1919 года, когда Володя пошел добровольцем в армию генерала Врангеля и с тех пор исчез. Сонечка, обливаясь горячими слезами, распрощалась с Мариной и уехала с театром в провинцию. После этого Марина ее больше не видела.

Эти живые человеческие встречи на фоне второй после-революционной зимы оставили глубокие следы в творчестве Цветаевой. Старый аристократ, юноша, олицетворявший все рыцарские и мужские добродетели, хрупкая, как птичка щебечущая девушка, вечно обливаемая слезами — таким людям нет места в новой России: они обречены на смерть, на исчезновение. Каждый из них ищет и находит свой собственный исход из этого положения. Под влиянием этих событий Марина пишет „Стихи к Сонечке” и через несколько десятилетий „Повесть о Сонечке” — может быть, ее прекраснейшее произведение в прозе, полностью опубликованное только в 1976 году¹³.

Дружба с живыми, веселыми людьми из театра могла

принести некоторое облегчение, но грустная действительность, страх и беспокойство можно было забыть только на короткие мгновения. Известия с фронта гражданской войны были плохи. Созданная в январе 1918 года „Свободная Донская Республика” была уничтожена Красной армией после нескольких недель ее существования.

Белая гвардия, — путь твой высок:
Черному дулу — грудь и висок.

Божье да белое твое дело:
Белое дело твое — в песок.

Не лебедей это в небе стая:
Белогвардейская рать святая
Белым видением тает...

Старого мира — последний сон:
Молодость — доблесть — Вандеа — Дон.

пишет Цветаева¹⁴.

Она не знает, что делается с Сережей. Связь с ним порвана. К тяжестям каждого нового дня и к страху за Сережу прибавляются заботы чисто житейского характера: нет денег, есть нечего, никакой надежды на улучшение. Марина описывает будний день 1918 года:

„Муки нет, хлеба нет, под письменным столом фунтов 12 картофеля, остаток от пуда, „одолженного” соседями — весь запас! Анархист Шарль унес Сережины золотые старинные часы — ходила к нему сто раз, сначала обещал вернуть их, потом сказал, что покупателя на часы нашел, но потерял от них ключик, ...В итоге: ни часов, ни денег. (Сейчас такие часы 12 тыс., то есть 1,5 пуда муки.) То же с детскими весами.

Живу даровыми обедами (детскими). Жена сапожника Гранского — ...худая, темноглазая, с красивым страдальческим лицом — мать пятерых детей — недавно прислала мне через свою старшую девочку карточку на обед (одна из ее девочек уехала в колонию) и „пышечку” для Али.

...Помогает мне, кажется, тайком от мужа, которого, как еврея и удачника, я — у которой все в доме, кроме души, замерзло, и ничего в доме, кроме книг, не уцелело, — естественно, не могу не раздражать”¹⁵.

После этого следует описание будничного, текущего дня. В другом очерке, „Вольный проезд”, Цветаева рассказывает, как тогда люди ездили в деревню за провизией.

Одним из новых жильцов в доме был влиятельный коммунист. Он не раз старался расспросить Алю, не слышала ли она что-нибудь о своем отце. На самом деле, это был добродушный человек, который не раз оказывал Марине услуги. Когда однажды вечером у Марины неожиданно появился ее полубрат Андрей, о котором она ничего не знала и не слышала, и попросил ее о помощи — спасти из тюрьмы его старого деда профессора Иловайского, этому влиятельному жильцу удалось освободить его из тюрьмы Чека. Осенью 1918 г. он устроил Марину на работу, с жалованием и пайком, в Народный Комиссариат по Меньшинствам, так называемый „Наркомнац”.

О своей деятельности в „Наркомнаце”, где она проработала почти шесть месяцев, и вообще об условиях работы в государственном русском учреждении в 1918 году Марина набросала забавно-злое описание „Мои службы”. Работа ее заключалась в том, что она должна была вырезать из газет все донесения с фронта гражданской войны — или переписывать их и клеить на карточки. Но служащие занимались большей частью другими делами: во время рабочих часов они стояли в очередях за продуктами; они улучшали и украшали свои конторы — таскали из других контор все, что могли (комиссариат находился в одном из роскошных дворянских особняков); они помогали друг другу в разрешении личных проблем и, если ничего не сделали, то быстро придумывали сами известия с фронта, которые и клеили на свои карточки.

В 1925 году Марина писала Анне Тесковой:

„Почти с радостью вспоминаю свою службу в советской Москве — на ней написаны три моих пьесы: „Приключе-

ние”, „Фортуна”, „Феникс” — тысячи две стихотворных строф...”

25 апреля 1919 года Марина отказывается от работы в Наркомнаце. Она не в состоянии разработать и представить классификацию, которая от нее требуется. Наверно, это ее счастье: по-видимому, она до конца так и не поняла, кто ее главный начальник, который собирает сведения о вражеском движении не только на фронте, но и везде; эти сведения он основательно изучает и пользуется ими, чтобы рано или поздно этого врага уничтожить. Имя ему: И. В. Сталин.

После этого Марина работает еще один день — 26 апреля — в одном учреждении по имени „Монпленбеш”. Там она должна каталогизировать по алфавиту картотеку и вкладывать в каталог; норма в день — 200 штук, и все работают с рвением, не поднимая головы. Она выдерживает до обеда, потом вскакивает и, под каким-то предлогом, убегает и больше не возвращается:

„Не я ушла из картотеки: Ноги унесли! Душа-ноги: вне остановки сознания. Это и есть инстинкт!”¹⁶

„Служила когда-то 5 1/2 мес. (в 1918 г.) — ушла — *не могла*. — Лучше повеситься”, — пишет Цветаева сестре в 1920 году.

Опять Марина была вынуждена пытаться одолеть все каждодневные задачи, без поддержки семьи, без жалованья. Сережа не подавал никаких признаков жизни. Казалось бы, всего этого было довольно: но самое позднее в это время Марина должна была понять, что ее младшая дочь Ирина отличается от других детей: вместо того, чтобы начать говорить — она только пела и качала головой.

ГЛАВА 13

Не стыдись, страна Россия.
Ангелы — всегда босые...
Сапоги сам черт унес.
Ныне страшен — кто не бос!¹

— писала Марина Цветаева в 1919 году. Этот „самый чумной, самый черный, самый смертный из всех годов Москвы” был для русских — и особенно для москвичей — неопишимо тяжелым испытанием. Новые правители, которые уничтожили весь хозяйственный порядок и вели при этом гражданскую войну — были не в состоянии справиться с задачами каждого дня. Люди прозябали в полном хаосе: они голодали, мерзли, нуждались во всем необходимом и дрожали от страха перед политическим террором. Ни в каком архиве не записано, сколько людей погибло в течение этой зимы.

Но к счастью, в трудные времена люди часто добреют, больше помогают друг другу. Эта солидарность помогла

и Марине Цветаевой которая мало была приспособлена к трудностям будничной жизни. Без помощи соседей и друзей-писателей, наверное, ни она, ни Аля не пережили бы этой зимы.

Марина также помогала, где могла, и в эти катастрофические времена в человеческом отношении показала себя на высоте. Константин Бальмонт дает ей хороший аттестат:

„Я весело иду по Борисоглебскому переулку, ведущему к Поварской. Я иду к Марине Цветаевой. Мне всегда так радостно с ней быть, когда жизнь притесняет особенно немилосердно. Мы шутим, смеемся, читаем друг другу стихи. И, хоть мы совсем не влюблены друг в друга, вряд ли многие влюбленные бывают так нежны и внимательны друг к другу при встречах”².

Бальмонт выражался еще яснее, когда он уже покинул Россию и жил на Западе:

„Вспоминая те, уже далекие, дни в Москве, и не зная, где сейчас Марина, и жива ли она, я не могу не сказать, что две эти поэтические души, мать и дочь, более похожие на двух сестер, являли из себя самое трогательное видение полной отрешенности от действительности и вольной жизни среди грез — при таких условиях, при которых другие только стонут, болеют и умирают. Душевная сила любви к любви и любви к красоте как бы освобождала две эти человеческие птицы от боли и тоски. Голод, холод, полная брошенность, — и вечное щебетанье, и всегда бодрая походка и улыбчивое лицо. Это были две подвижницы, и, глядя на них, я не раз вновь ощущал в себе силу, которая вот уже погасла совсем”³.

„Я никогда не была поклонницей Бальмонта, — пишет Цветаева Бахраху, — но паек таскать я ему помогла. Презираю словесность. Все эти цветы, и письма, и лирические интермедии не стоят во-время зачиненной рубашки. „Быт”? Да, это такая мерзость, что грех оставлять ее на плечах, уже без того обремененных крыльями!”

В одном все свидетели единодушны: хотя тогда всем,

бывшим в Москве, жилось очень плохо и каждый должен был бороться, чтобы выжить, положение, в котором находилась Цветаева — было особенно безнадежно.

Князь С. М. Волконский рассказывает анекдот, что даже вор, проникший в Борисоглебский переулок, предложил Марине денег, когда увидел, как ужасно бедно она живет. Степун вспоминает одну прогулку по Тверскому бульвару, когда писательница „босиком и в разодранном платье, в котором она, наверно, и спит”, шагает с ним рядом и рассказывает о своем печальном положении.

Но, как раз в это ужасное время, трущоба Марины в Борисоглебском переулке, в доме, который мало-помалу превращается в развалину, притягивала самых разнообразных посетителей: сюда стекались поэты, писатели, философы и многие оригинальные люди, мужчины и женщины:

„Никто никому не помеха в петухивном жилище, — писал Миндлин. — Цветаева со всеми разговаривала терпимо, больше выслушивала, чем говорила сама, дымя папиросой и дуновением губ легко отгоняя от себя витки горького дешевого дыма. В летние и осенние вечера Марина Ивановна любила сидеть на крыльце своего дома в Борисоглебском переулке, совсем как в провинции. Здесь на крыльце происходили и приемы гостей...”⁴

Таким образом, время самых страшных лишений и материальной нужды было также временем, когда Цветаева была особенно близка к людям — ближе, чем когда бы то ни было, раньше или позже.

Эти годы в голодающей Москве — время нескольких бурных „романов” Цветаевой. Об этом говорят ее письма Ланну, об этом рассказала В. К. Звягинцева; мы знаем, что молодой красноармеец и большевик Борис Иванович Бесарабов служил моделью „Егорушке” и сомневаемся о роде дружбы между Мариной и Сонечкой. Но глубоких следов ни один из этих романов не оставил.

После неудачной попытки работать Цветаева осталась без регулярного заработка. Она пробовала печатать свои стихи, чтобы хоть этим что-нибудь заработать. В 1918 году в Петро-

граде появился сборник „Отклики на войну и революцию”. Среди тринадцати других соавторов находится и Цветаева с одним стихотворением. Но эти стихи вызвали презрение Маяковского:

„Среди других строк — Цветаевой: „За живот, за здоровье раба Божьего Николая!” Откликались бы, господа, на что-нибудь другое!”⁵

Другой враг Марины — Валерий Брюсов — сделался начальником „Лито” — учреждения цензурного характера. Произведения Цветаевой он не пропускал. Летом 1918 года Марина передала для печати машинописные экземпляры „Юношеских стихов” и „Верст I”. Год спустя ей все-таки удалось получить свои стихи обратно с припиской Брюсова:

„... Стихи М. Цветаевой, как ненапечатанные своевременно и не отражающие соответственной современности, бесполезны...”

Таким образом, оставались только литературные вечера, на которых можно было время от времени заработать несколько рублей. 1 мая 1919 года Марина участвовала в торжественном собрании в „Дворце культуры” — в том бывшем особняке Сологуба, где она 6 месяцев работала в „Наркомнаце”. 7 июля она опять там выступала. В зале находился всесильный комиссар по образованию — Луначарский. Но и здесь, как уже часто у Марины, ее темперамент восторжествовал над разумом: она выбрала из своих произведений самое компрометирующее — монолог Лозена перед казнью из своей пьесы „Фортуна”:

И я, Лозен, рукой белей чем снег,
я подымал за чернь бокал заздравный!
И я, Лозен, вещал, что полноправный
под солнцем — дворянин и дровосек!

„Так ответственно я никогда не дышала. Ответственность! Ответственность! Какая услада сравнится с тобой! И какая слава?! Монолог дворянина — в лицо комиссару

— вот это жизнь! Жаль только, что Луначарскому, а не — хотела написать Ленину, но Ленин бы ничего не понял — а не всей Лубянке!”⁶

Публика аплодирует; Луначарский — хороший слушатель, он даже шикает, когда публика слишком шумит.

Другой раз Марина ведет себя еще хуже: в большом зале Политехнического музея Брюсов возглавляет „Вечер поэсс”. Зал битком набит. Брюсов уверяет в своей вступительной речи, что женщины могут писать стихи только о любви и страсти; ни к чему другому они не способны. Марина, которая в своем темном монашеском подряснике, с сумкой через плечо — уже по внешнему виду отличается от других писательниц — подходит, первая, к рампе и читает несколько стихов из „Лебединого стана”:

„Делая такое явное безумие, я преследовала две, нет три, четыре цели: 1) семь женских стихов без любви и местоимения „я”, 2) проверка бессмысленности стихов для публики, 3) переключка с каким-нибудь одним, понявшим (хоть бы курсантом!), 4) и главная: исполнение здесь, в Москве 1921 г., *долга чести*. И вне целей, бесцельно — пуще целей! — простое и крайнее чувство: — а ну?”⁷

Сначала ничего не случилось. Но, наверно, это был именно этот вечер, который так рассердил Илью Эренбурга: он пишет о Цветаевой и ее выступлении в своей статье „Портреты русских поэтов”:

„Горделивая поступь, высокий лоб, короткие, стриженные в скобку волосы, может, разудалый паренек, может, только барышня-недотрога? Читая стихи, напевает, последнее слово строки кончая скороговоркой. Хорошо поет паренек, буйные песни любит он — о Калужской, о Стеньке Разине, о разгуле родном. Барышня же предпочитает графиню де Ноай, и знамена Вандеи...

Где-то признается она, что любит смеяться, когда смеяться нельзя. Прибавлю, любит делать еще многое, чего делать нельзя. Это „нельзя”, запрет, канон, барьер являются живыми токами поэзии своеволия... Сейчас гербы под запретом и она их прославляет с мятежным пафосом, с дерзостью, до-

стойной всех великих еретиков, мечтателей, бунтарей... Впрочем, все это забудется... Прекрасные стихи Марины Цветаевой останутся, как останутся жадность к жизни, воля к распаду, борьба одного против всех и любовь, возвеличенная близостью подходящей к воротам смерти"⁸.

Отношения между Мариной и Эренбургом были в это время хорошие, но не без осложнений. Их характеры — особенно в одном пункте — так радикально отличались друг от друга, что настоящая длительная дружба была невозможна: Марина оставалась верна своим, уже раз принятым, политическим убеждениям, а Эренбург умел очень ловко устроиться и поддаться к каждому новому положению вещей. В своих воспоминаниях „Люди, годы, жизнь” он сам намекает на это:

„Когда осенью 1920 года я пробрался из Коктебеля в Москву, я нашел Марину все в том же иступленном одиночестве. Она закончила книгу стихов, прославляющую белых — „Лебединый стан”. К тому времени я успел многое повидать, в том числе и „русскую Вандею”, многое продумал. Я попытался рассказать ей о подлинном облике белогвардейцев — она не верила; пробовал я поспорить — Марина сердилась. У нее был трудный характер, и больше всех от этого страдала она сама”⁹.

Проблемы ежедневной жизни были слишком тяжелы. По совету знакомых Цветаева отдала своих детей в детский приют в Кунцево; она думала, что их там хорошо кормят. Но очень скоро, в феврале 1920 г., Аля заболела дезинтерией. Марина ее забирает домой, ухаживает за старшей дочерью — и только случайно узнает, что тем временем маленькая и слабая Ирина умерла в Кунцево. Марина в ужасе, она чувствует себя виноватой — она недостаточно о ней заботилась, она ухаживала за любимой старшей дочерью вместо того, чтобы заботиться о маленькой.

„Умерла без болезни, от слабости. И я даже на похороны не поехала — у Али в этот день было 40,7°⁰. Сказать правду? Я просто не могла”¹⁰.

Она пишет и сестре:

„Ирине было почти три года — почти не говорила, производила тяжелое впечатление, все время раскачивалась и пела. Слух и голос были изумительные”¹¹.

Марина остается одна с семилетней Алей; дом полон чужими людьми. В двадцать семь лет она чувствует себя старухой; настроение очень подавленное; она пишет Звягинцевой:

„Мне сейчас нужно, чтобы кто-то в меня поверил, сказал: „А все-таки Вы хорошая — не плачьте — С. жив — Вы с ним увидите — у Вас будет сын, все будет хорошо”. Лихорадочно цепляюсь за Алю. Ей лучше — и уже улыбаюсь, но вот — 39,3, и у меня сразу все отняло, и я опять примеряюсь к смерти. Милая Вера, у меня нет будущего, нет воли, я всего боюсь. Мне — кажется — лучше умереть. Если С. нет в живых, я все равно не смогу жить: подумайте, какая длинная жизнь — огромная — все чужие — чужие города, чужие люди — и мы с Алей — такие брошенные, она и я...”¹²

Аля — маленький, бледный, изголодавшийся „вундеркинд” с огромными голубыми глазами: во всех дневниках и записках этого времени встречаются хоть несколько фраз о не по-детски развитой дочери Цветаевой.

Понятно, что она производила такое впечатление. В своем подавленном настроении и одиночестве Марина забывала, что Аля еще маленькая; для нее Аля была не только собеседницей, но и доверенным лицом. Она всюду брала ее с собой, и на свои литературные вечера тоже. Она впала в ту же ошибку, что ее собственная мать и хотела сделать из Али поэтессу, хотя Аля была особенно способна к живописи. Ариадна Сергеевна сама рассказывает в своих воспоминаниях, как беспощадно мать разрушила ее радость, когда ей в первый раз удалось нарисовать человека¹³. Марина посвятила дочери много стихов, но, наверно, она, которая сама была еще так молода и так занята своей собственной духовной жизнью, не поняла свою талантливую, пишущую дневник дочь. Может быть, будущий конфликт между матерью и дочерью уже в эти годы пустил свои корни?

„Кажется, Аля в ее детские годы была так же одинока,

как ее 29-летняя мать, несмотря на обширный круг знакомств, на ежедневных гостей, часами просиживающих у печки”, — думает Миндлин.

Вскоре после смерти Ирины жизнь Цветаевой улучшилась: друзья добились для нее получения пайка через официальное учреждение. Теперь Марина могла опять писать, не ожидая помощи со стороны. Ее стихи весной 1920 года показывают, что ее замерзшая душа медленно начала оттаивать. Но центр ее дум и действий — пропавший без вести муж:

Писала я на аспидной доске
и на листочках вееров поблеклых
и на речном, и на морском песке
коньками по льду и кольцом на стеклах,

И на стволах, которым сотни зим...
И наконец, — чтоб было всем известно! —
Что ты любим! любим! любим! любим! —
расписывалась радугой небесной.

Как я хотела, чтобы каждый цвел
в веках со мной! Под пальцами моими!
И как потом, склонивши лоб на стол,
крест-накрест перечеркивала имя.

Но ты, в руке продажного писца
зажатое! ты, что мне сердце жалишь!
Непроданное мной! *Внутри* кольца!
Ты — уцелеешь на скрижалях.¹⁴

Мало-помалу жизнь начала нормализовываться. Опять появились старые знакомые, которые исчезли на годы. Марина встретила опять Владимира Нилендера, Сергея Михайловича Соловьева, одинокого после ухода от него жены, Тани Тургеневой. Соловьев был священником и — в духе своего дяди — чувствовал себя и католиком, и православным. Везде можно было встретить Андрея Белого, который очень старался распространять образование в народе и про-

свещать его антропософией. Марина часто видела его издали, но настоящей встречи не состоялось.

Не состоялась и другая встреча — с ее любимым поэтом, Александром Блоком. 9 мая 1920 года, уже тяжело больной, он читал в большом зале московского Политехнического музея. Марина стояла за ним, держа в кармане посвященные ему стихи. Но она не посмела передать их ему, а послала Алю отнести их в артистическую. Ариадна Сергеевна пишет, что Блок был единственный поэт, которого Цветаева не считала коллегой — она поклонялась ему, как божеству.

1920 года — новый этап в художественном развитии Цветаевой: она обращается к форме народной былины. Между июлем и сентябрем она пишет поэму в стихах „Царь-Девница” — первую из народных сказок, заимствованную из Афанасьева. За этим следует, зимой 1920/21 гг., первая часть рассказа в стихах „Егорушка”, который остается незаконченным. В январе 1921 года — „На красном коне”, весной 1922 года — „Переулочки”, а позже (в 1924 году) — „Молодец”. Что больше всего бросается в глаза — это мастерство в этих былинах, с которым Марина владеет русским языком во всех его народных формах и оборотах. Она черпает из глубочайших источников речи и употребляет мелодии звука и рифмы, которые невозможно передать в переводе на другие языки. Д. П. Святополк-Мирский говорит:

„Ее творчество совсем живет духом и мелодией народной песни... „Царь-Девница” это просто поразительное создание. Кроме Блока, в его „Двенадцать” — наверно, никто не создал уже что-нибудь подобное; это как несравненная fuga на народную тему”¹⁵.

„Последняя большая вещь „Царь-Девница” — русская и моя”, — так отзывается о своем творении сама Цветаева.

Если сравнить содержание этих эпических произведений, написанных в 1920 году, с романтическими театральными пьесами прежних годов, то бросается в глаза что-то новое: темы и язык изменились, ностальгическое бегство в XVIII

столетие — дело прошлого. Обращение к сказаниям русского народа равносильно согласию с настоящим, его можно понимать как „да” русской революции, если не в политическом смысле, то все-таки как событию элементарной силы. Его можно выразить только новым языком. Марина Цветаева, самый значительный поэт и „певец” Белого движения, в силе и стихийности своей речи и рифмы превосходит всех тех, кто или следует за режимом, или борется против него. Когда она говорит, что она „этому языку научилась у революции”, мы должны согласиться, что она права.

Эренбург, который летом 1920 года с большими приключениями пробился через фронт гражданской войны из Коктебеля в Москву, первый привез Марине весть о том, что первый муж Аси, Борис Трухачев, умер в Коктебеле от сыпного тифа. Отношение к нему и после его второй женитьбы на актрисе М. Н. Кунцевой оставалось хорошим; смерть Бориса для Марины большое горе.

В ноябре 1920 года русская гражданская война кончается полной победой Красной армии на Перекопе, которая занимает весь Крым. Англичане и французы, которые очень слабо и неохотно поддерживали генерала Врангеля деньгами и оружием, чувствуют себя обязанными, хотя бы эвакуировать в Константинополь остатки разбитой Белой Армии. Никто ничего не знает о судьбе Сергея Эфрона.

В конце ноября, вечером, кто-то стучит в дверь. За дверью высокий молодой человек, который напоминает Бориса Трухачева; он спрашивает, где можно найти Марину Цветаеву.

„Вы меня не знаете; мое имя Ланн — я знаком с Вашей сестрой Асей и я приехал из Коктебеля”.

Ланн привозит письмо от Макса Волошина — первая прямая весть после трех лет.

„Это первая — прежняя! — радость, первой Пасхой от человека за три года”, — пишет Марина своей сестре.

Вскоре Ланн уезжает дальше. Цветаева вслед ему шлет несколько любовных писем, которые стали известны лишь недавно¹⁶.

Вести из Коктебеля — ужасны! Осуществилось все, что Макс предсказал с самого начала. Крым переходил из рук в руки; жители Коктебеля пережили весь террор и насилие со стороны обеих враждующих сторон; Макс защищал красных от белых и белых от красных — геройские поступки во имя человеколюбия. После окончания военных действий царила страшная нужда и голод.

Марине как-то удалось послать письмо в Коктебель. 21 ноября (4 декабря) она пишет Волошину; пишет только полуфразами, намеками, чтобы смысл не был понятен непосвященным: может быть, Макс знает что-нибудь о Сереже?

„Дорогой Макс, умоляю тебя, дай мне знать — места себе не нахожу — каждый стук в дверь повергает меня в ледяной ужас — ради Бога!!! Не пишу, потому что не знаю, где и как и можно ли...

Я много пишу. Последняя вещь — большая — Царь-Девушка. В Москве азартная жизнь, всяческие страсти. Гошу повсюду, не связана ни с кем и ни с чем... Макс! Заклинаю тебя — с первой возможностью — дай знать, не знаю, какие слова найти”¹⁷.

17 декабря 1920 года Марина пишет и Асе в Коктебель — в первый раз после трех лет! Краткими словами она рассказывает сестре свои переживания и предлагает ей приехать в Москву:

„Ася! Приезжай в Москву. Ты плохо живешь, у вас еще долго не наладится, у нас налаживается — много хлеба, частые выдачи детям — и — раз Ты все равно служишь — я могу Тебе (великолепные связи!) — устроить чудесное место, с большим пайком и дровами... Я Москву ненавижу, но сейчас ехать не могу, ибо это единственное место, где меня может найти — если жив. Думаю о нем день и ночь, люблю только тебя и его. Я очень одинока, хотя вся Москва — знакомые. Не люди. — Верь на слово. (Или уставшие, что мне, с моим пороком — неловко, а им — недоуменно) ...Ася! Я совершенно та же, так же меня все обманывают — внешне и внутренне — только быт совсем отпал, ничего уже не

люблю, кроме содержания своей грудной клетки. К книгам равнодушна, распродала всех своих французов — то, что мне нужно, сама напишу. ...»¹⁸

1920 год уничтожил все надежды на изменение политического положения в России. Борис умер. Сережа пропал без вести. Марина влагает свое собственное горе в уста киевской княгини Ярославне, которая оплакивает смерть князя Игоря:

Вопль стародавний,
Плач Ярославны —
Слышите?

С башенной выщечки
Непрерывный
Вопль — неизбывный:

— Игорь мой! Князь
Игорь мой! Князь
Игорь!

.....

Кончена Русь!
Игорь мой! Русь!
Игорь!

.....

Ветер, ветер!
Княгиня, весть!
Князь твой мертвый лежит —
За честь!

.....

Но „Лебединый стан” не кончается этими безнадежными словами. Может быть, Сереже все-таки удалось спастись?

Томным стоном утомляет грусть:
— Брат мой! — Князь мой! — Сын мой!
— С новым годом, молодая Русь
За морем за синим!¹⁹

„Если бы победила Белая Армия, которую Марина Цветаева воспела в цикле „Лебединый стан”, то в Белой России она могла бы занять то же положение, что и Маяковский в Красной России, но, возможно, также разочаровалась бы в победивших белых, как в победивших красных разочаровался Маяковский — „архангел — тяжелоступ”, как она его называла”, — замечает Юрий Иваск²⁰.

ГЛАВА 14

В начале 1921 года восстали матросы в Кронштадте. Они попытались подняться против большевиков. Мятеж был потоплен в крови, но Ленин все-таки понял, что, если он хочет удержать за собой власть, он должен что-то изменить — хотя бы в пределах хозяйственной организации страны. За один день он круто изменил политический курс и, в феврале, объявил свою „Новую экономическую политику“, „НЭП“. Этим отменялось центральное управление экономики государством. Разрешались снова небольшие предприятия, „черная торговля“ могла опять обдѣлывать свои подозрительные делишки и можно было быстро заработать деньги. Таким образом положение в Москве сразу улучшилось, хотя по нормальным западным понятиям оно было еще довольно печальным. Молодой, тогда еще только начинавшей карьеру лево-интеллектуальной журналистке французке Луизе Вейсс, одной из первых иностранцев удалось заглянуть в этот новосозданный рай рабочих. Она пришла в ужас:

„У вокзала я села в дребезжащую пролетку, которую тащила шатающаяся на ногах лошадь... Кучер крестился перед каждой церковью, то есть, по крайней мере, двадцать раз. Одет он был в какой-то кафтан, какого-то неопределенного цвета — цвет катастрофы, цвет всего города. Если не серый, так красный: он казался залитым кровью — красными флагами, красными звездами, красными молотками, красными серпами... По обеим сторонам улицы стояли изуродованные деревья аллеи. Ветви их давно исчезли в печках. Под полотнищами с лозунгами хрипели процессии ковыляющих призраков. За собой они тянули маленькие четырехколесные крытые возки. Ничего нет, кроме вывихнутых рук и ног, согнутых телес, черепов без мяса и мыслей. Во впадинах глаз горит только одно желание — выжить!.. На ступеньках Рязанского вокзала, крестьяне продают масло, муку, пирожки. Целые семьи лежат кругом костров, горящих на мостовой улиц... Мужчины в фракных штанах и кожаных куртках, женщины в шубах и лаптях, другие с голыми ногами и в сапогах... Служащие, продающие отдельные листки из архивов, которые употребляются для кручения папирос; молодые люди, украшенные красными значками, предлагали лисьи и овечьи шкурки, отрезки материй; маленькие девочки старались продать разбитые зеркала, вышитые сумочки; другие торговали старыми кусочками мыла, употребленными зубными щетками. И сотни людей, бледнее чем болезнь, изнеможеннее, чем смерть: профессора, мещане, аристократы — которые в немом отчаянии жались друг к другу, предлагая свои последние пожитки, перед тем, как самим сойти в могилу”¹.

Последствия введения НЭПа сказались не только в материальных условиях. Стали появляться не только лавки с продовольственными товарами, но и новые художественные течения, литературные кружки и братства. Оставшейся в России интеллигенции стало даже возможно вступить в контакт с берлинскими и парижскими эмигрантами-литераторами; создалось новое течение, которое называло себя „Смена вех” — оно старалось примирить эмигрантов с со-

ветским государством — течение, очень поддерживаемое в Москве.

В 1921 году было еще возможно заново основать старый „Союз писателей”, хотя в нем не было ни одного коммуниста. Председателем был выбран Борис Зайцев. Союзу было разрешено открыть книжную лавку, где члены Союза могли продавать принадлежащие им книги. Многим это дало возможность заработать деньги. У кого больше не было книг, тот делал их сам: писал в самодельные тетради и нес их в „Книжную лавку писателей”. Много лет спустя Илья Эренбург держал в руках список этих автографов:

„Недавно мне попался в руки каталог рукописных книг, которыми торговала „Книжная лавка писателей”. Среди авторов — Андрей Белый, В. Лидин, М. Герасимов, Шершеневич, Марина Цветаева, много других. Проставлена и моя книжка „Испанские песни”, цена 3000 рублей. Книжка, переписанная Шершеневичем, снабжена примечанием: „По себестоимости 4 куски сахара — 2000 рублей, кружка молока — 1800, 50 папирос — 6000”. Деньги были настолько обесценены, что о них мало кто думал; мы жили пайками и надеждой”².

Таким образом, 1921 год можно считать годом появления „Самиздата”. Марина Цветаева упоминает, что Борис Зайцев уже тогда придумал словечко „Преодоление Гутенберга”.

Писатели имели еще одну возможность заработка: они читали свои произведения на литературных собраниях. Кроме официальных выступлений в больших залах существовали так называемые „литературные кафе”, которые организовывали такие вечера. Было принято, что участвующий на нем писатель получал даром ужин. Самое известное такое кафе в Москве, которое упоминается во многих современных мемуарах, было „Домино”. Кроме голодных писателей, там можно было встретить снобов и быстро разбогатевших (благодаря НЭПу) спекулянтов. Цветаева лишь изредка показывалась в „Домино”, но время от времени она тоже читала в разных кафе свои произведения. Как-то раз

она на одном вечере встретила свою сводную сестру Валерию. Обе не подозревали, что это была последняя встреча в их жизни.

Весной 1921 года письмо, написанное на официальной бумаге, помогло наконец и Асе с сыном вернуться домой в Москву из Феодосии, где она жила во время гражданской войны: „Худая, оборванная, но неизменно живая и живучая...” За нищенскую плату она нашла работу внештатной маленькой работницы-библиотекарши в музее, основанном ее отцом, где теперь правил ее бывший „жених” Анатолий Виноградов. В своих мемуарах Анастасия Ивановна рисует живую картину Москвы 1921 года и рассказывает о своих попытках вернуться к нормальной жизни³.

Вскоре после возвращения Аси в Москву появился с юга один из ее знакомых, молодой поэт Эмилий Миндлин. У него не было даже крыши над головой; вечер за вечером он появлялся в „Домино”, надеясь, что хоть один из присутствующих литераторов возьмет его домой, ночевать. Анастасия Цветаева раздобыла ему на короткий срок комнату, а потом послала его к Марине. В 1938 году Цветаева рассказала Юрию Иваску, как это произошло:

„Москва двадцать первого года. Не растопить буржуйки — дымит, а тепла нет. Каши не сваришь, все той же пшенной каши! Стук в дверь. Входит юноша, облаченный в какой-то рогожный мешок. А глаза — очи Давида. Оказалось: поэт, приехавший с юга. Говорю ему: растопите печку! Он растопил и мы заговорились, пшено же погорело. Стихи его были никакие, но все же — Давид! Миля Миндлин. Принципиальный лентяй...”⁴

Он живет там до осени 1921 года; от топит печку, сидит по вечерам с Мариной и Алей на полу и смотрит на пламя печки, пока Марина читает стихи; сопровождает ее повсюду. Цветаева написала для своего „сопутника 1921 года” цикл стихов: „Отрок”, который она позже, уже после своего отъезда за границу, посвятила своему берлинскому издателю М. Вишняку.

В своей книге Миндлин превозносил Марину в хвалебных

гимнах. Все в ней он находил прекрасным: как она дуновением губ отгоняла витки дыма папирос, как она управлялась с ненавистной, отвлекающей домашней работой — „как будто правила государством”, как она водила его по Москве и показывала ему город. Он подчеркивал, как бескорыстно Марина — у которой самой ничего не было — помогала немущим близким⁵.

Миля Миндлин был хороший друг. Но в этом, 1921 году, сердце ее всецело принадлежало старому князю Сергею Волконскому, 65-летнему бывшему помещику, которого она любила „больше всех и моее всех, на сверх”.

„Я сама так любила 60-летнего кн. Волконского, не выносившего женщин. Всей безответностью, всей беззаветностью любила и, наконец, добыла его — в вечное владение! Одолела упорством любви. Женщин любить не научился, научился любить *любовь!*”⁶

В 24-м году Марина писала Бахраху:

„Подружилась с ним в Москве 1921 г. и тогда переписывала ему начисто — из чистейшего восторга и благодарности — его рукописи — трех его больших книг и вот таким почерком, и ни строки своей не писала — не было времени — и вдруг прорвалась Учеником: Ремеслом”⁷.

Но, к несчастью, и на этот раз получатель этих стихов был их не достоин. Князь Волконский, сам писатель воспоминаний, ничего не понимал в поэзии и даже не подозревал о существовании тех строк, которые, из скромности, не смела ему показать Цветаева. Но зато мудрый, несмотря на все потери, не озлобленный старый князь умел ценить любовь своей молодой подруги. Он посвятил ей свою книгу „Быт и бытие” и написал в предисловии:

„Милая Марина, почему я Вам посвящаю эту книгу? Вы и сами знаете... Вы помните, как мы жили? В какой грязи, в каком беспорядке, в какой бездомности? Да это что! А помните нахальство в папаше, врывающееся в квартиру? Помните наглые требования, издевательские вопросы? Помните жуткие звонки, омерзительные обыски, оскорбительность „товарищеского” обхождения? Помните, что такой

был шум автомобиля мимо окон: остановится или не остановится? О, эти ночи!.. Не могут, не могут понять те, кто *не* жили там — не могут. (Странно, не умеют люди перенестись в такие условия, в которых сами не были — не хватает людского воображения... Но меня еще одно удивляет: как люди не способны применить к себе самим то, через что прошли другие. Перейти от действительности чужого страдания к возможности собственного страдания — как мало людей способны на этот шаг!)... Помните все это? Так вот — это был советский *быт*.

А помните наши вечера, наш гадкий, но милый на керосинке „кофе”, наши чтения, наши писания, беседы? Вы мне читали стихи из Ваших будущих сборников. Вы переписывали мои „Странствия” и „Лавры”. Как много было силы в нашей неподатливости, как много в непреклонности награды! Вот это было *наше бытие*”⁸.

Циклом стихов, озаглавленным „Отрок” и датированным: „2-й русский апрель 1921 г.”, начинается новый сборник стихов Цветаевой — „Ремесло”. В нем содержатся все стихи Цветаевой до апреля 1922 года, то есть ее последние лирические произведения, написанные в России. Книга вышла в 1923 году в Берлине⁹.

Но еще до появления „Ремесла” Марина пишет свою вторую эпическую поэму: „На красном коне”. Она размышляет о своих способностях, о своем таланте: этим она обязана не музам, а Пегасу — крылатому гению на красном коне¹⁰.

Эти стихи она посвящает Анне Ахматовой, и при этом пишет ей письмо, прося ее прочесть корректуры, если издательство Алконост согласится напечатать текст. Ответила ли Ахматова на эту просьбу — нам неизвестно.

„Ремесло” состоит из двух циклов: „Разлука” и „Георгий”, посвященных Сереже. Марина все еще не знает, жив ли ее муж, или погиб.

РАЗЛУКА

Башенный бой
Где-то в Кремле.

Где на земле,
Где —

Крепость моя,
Кротость моя,
Доблесть моя,
Святость моя.

Башенный бой.
Брошенный бой.
Где на земле —
мой
дом,

Мой — сон,
Мой — смех,
Мой — свет,
Узких подошв — след.

Точно рукой
Сброшенный в ночь. —
Бой.

— Брошенный мой!

Весной 1921 года Илья Эренбург (один из первых советских граждан) получил официальный паспорт и выехал за границу. Он обещал навести справки о судьбе Сергея Яковлевича. Однажды вечером, в июле, в дверях трущобы в Борисоглебском переулке появляется Борис Пастернак; Марина его почти не знает. Он передает ей письмо от Эренбурга:

„Перебарывая первую жадность, заглушая радость ропотом слов (письмо так и лежит нераспечатанным) — расспросы: „Как живете? Пишете ли? — что — сейчас — Москва?“ И Ваше — как глухо! — „Река — Паром — берега ли ко мне, я ли к берегу... А может быть и берегов нет — а может быть и...”¹¹

Эренбург пишет, что Сергей Яковлевич жив, здоров и живет, как эмигрант, в Праге. В новом цикле „Благая весть” (намек на праздник Благовещения) — Марина старается выразить свою радость:

Мне жаворонок
Обронил с высоты —
Что за морем ты,
Не за облаком ты!¹²

В 1921 году было еще возможно законно, с паспортом, выехать из Советской России, хотя и не все прошения о разрешении на выезд удовлетворялись, и все предписанные формальности длились многие месяцы. Теперь, когда Цветаева знала, что муж ее жив, она подала прошение на паспорт для себя и для Али. Она хотела последовать за мужем. Она этим делом занялась вовремя: ровно через месяц после написания стихов „Благая Весть” произошло событие, которое не обещало ничего хорошего для писателей: 2 августа 1921 года в Петрограде был арестован Николай Гумилев и 24 августа расстрелян как монархист. Чека начала интересоваться русскими писателями. По Москве ходили слухи, что и Ахматова погибла. 31 августа Марина Цветаева пишет ей письмо:

„Дорогая Анна Андреевна! Все эти дни о Вас ходили мрачные слухи, с каждым часом упорнее и неопровержимее... скажу Вам, что единственным — с моего ведома — Вашим другом (друг=действие!) — среди поэтов оказался Маяковский, с видом убитого быка бродивший по картонажу „Кафе поэтов”. (*Убитый* горем — у него, правда, был такой вид). Он же и дал через знакомых телеграмму с запросом о Вас, и ему я обязана радостью известия о Вас ... Дорогая А. А., чтобы понять этот мой вчерашний вечер ... нужно было бы знать три моих предыдущих дня — *несказанных*”¹³.

Марина хотела прочесть лекцию об Ахматовой, но она не состоялась. Но Маяковскому, из благодарности, она посвятила стихи.

Через несколько дней после ареста Гумилева, русская литература понесла второй тяжелый удар. 7 августа в возрасте 41 года умер Александр Блок. Его просьба о разрешении на выезд за границу для лечения была отклонена властями. Эта смерть послужила Андрею Белому предлогом выра-

зить горячий протест по адресу этих властей: он обвинял их в смерти друга и обращал внимание на то, в каких бесчеловечных условиях прозябали интеллигенты. Возможно, что это воззвание помогло ему самому и другим получить разрешение на выезд.

Горе Марины, потерявшей своего любимейшего поэта, вылилось в несколько стихотворений, написанных сразу же после смерти Блока. Потом она присоединила их к стихам, написанным в 1916 году в Александрове и, год спустя, издала их в Берлине под названием „Стихи к Блоку”.

Пришли и другие плохие известия. Осенью 1921 года Волошину удалось уведомить сестер Цветаевых об отчаянном положении, в котором, через год после окончания гражданской войны, находились писатели в Коктебеле: сестры Герцык были при смерти от голода; он утаил от Цветаевых, что его собственная мать умерла от голода. Марина и Ася сейчас же бросились на помощь: среди московских знакомых они организовали общество спасения бедствующих; Марине даже удалось добраться до Луначарского¹⁴. Неприязнь к Николаю Бердяеву, которую Марина испытывала всю жизнь, началась с тех пор, когда тот, в ответ на ее призыв о помощи, будто бы ей ответил: „У Вас самой ничего нет: *неразумно* давать!”¹⁵

Творческая сила Цветаевой не ослабла и в начале 1922 года. В феврале возник цикл „Сугробы”, который она посвятила Илье Эренбургу; в апреле — большая поэма „Переулочки”. Этим была закончена книжка „Ремесло”.

„Переулочки” — эпос, основанный на народных мотивах, — она посвятила другу-актеру Погадаецкому-Щаброву: „На память о нашей последней Москве”¹⁶.

Это произведение тогда мало кто понимал. Объяснения, которые сама Марина Цветаева постаралась дать в тридцатых годах Юрию Иваску, не смогли помочь¹⁷. Критики-современники предпочли промолчать. Карлинский говорит об „одном из самых разноцветных взрывов словесного фейерверка всей русской поэзии. Несмотря на то, что оно совсем непонятно”.

Может быть, благодаря влиянию всесильного П. С. Когана, хорошего друга Цветаевой, в 1922 году, наконец, появилось несколько томов ее произведений: „Версты”, избранное из стихотворений 1918—1922 гг. из „Верст II” в московском издательстве „Костры”. Тираж в 1000 экземпляров сразу был распродан, так что надо было выпускать 2-е издание. Вышел также сборник „Версты I”, стихи 1916 г. и „Конец Казановы”, который в 1918 г. отверг Брюсов. И, наконец, „Царь-Девница” — все тиражом 2000 экземпляров.

Незадолго до отъезда из Москвы, Марина Цветаева встретила еще одного старого друга. Но это свидание было неудачным: Осип Мандельштам появляется в Борисоглебском переулке со своей молодой женой Надей и хочет представить ее Марине. Надежда Мандельштам описала эту встречу довольно острым пером. Понятно, что она с первого момента настроена против Цветаевой. Ее отталкивает грязь и беспорядок в передней:

„Мы постучались — звонки были отменены революцией. Открыла Марина. Она ахнула, увидев Мандельштама, но мне еле протянула руку, глядя при этом не на меня, а не него. Всем своим поведением она продемонстрировала, что до всяких жен ей никакого дела нет. „Пойдем к Але — сказала она — Вы ведь помните Алю”. А потом, не глядя на меня, прибавила: „А вы подождите здесь — Аля терпеть не может чужих”¹⁸.

Мандельштам зеленеет от злости, но все-таки идет на несколько минут к Але. Он сразу же опять возвращается, он отказывается сесть и, вместе с женой, начинает холодно прощаться. „Она, уже очевидно почувствовала, что переборщила и старалась завязать разговор...”

Но эту обиду преодолеть уже нельзя. Вспоминая, Надежда Мандельштам жалеет, что она была тогда так молода и неопытна, что ей не удалось разговориться с Цветаевой. Она очень положительно отзывалась о ней в своих книгах:

„Марина Цветаева произвела на меня впечатление абсолютной естественности и сногсшибательного своенравия...”

И вдруг свершилось неожиданное: Марина и Аля получили паспорт и разрешение покинуть Советский Союз. В мае 1922 года они выехали, мимо бывшего имения семьи Мейн, „Ясеньки”, через Ригу и после четырех дней путешествия достигли Берлина. Очень скоро, через несколько месяцев, за ними последовала группа русских философов, ученых и мыслителей, среди которых были Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк, Ф. Степун. Но все они уже выехали не по своему желанию: власти выслали их, потому что то, что они думали или писали, уже не могло существовать в новом государстве.

В жизни Марины Цветаевой, так же как и в жизни русского народа, началась новая эпоха.

ЧАСТЬ III

Эмиграция

*„Мое убежище от диких орд,
Мой щит и панцырь, мой последний
форт
От злобы добрых и от злобы злых
Ты, в самых ребрах мне засевший
стих!”*

„Современные записки”, 1921, № 7

ГЛАВА 15

Когда в начале 1922 г. Марина Цветаева приехала в Берлин, она, очевидно, не ощущала потери своей привычной среды. Вероятно, если не считать кельнеров и трамвайных кондукторов, она с берлинцами не встречалась вовсе, только с русскими.

Берлин 1922 года имел довольно странный вид. Р. С. Уильямс, который написал большое исследование о жизни русской эмиграции в Германии¹, утверждает, что в 1922 году в Германии находилось приблизительно 250 000 русских из которых 100 000 в Берлине. Это были бывшие военнопленные, не вернувшиеся домой, остатки различных Белых освободительных корпусов, недавно еще воевавших против большевиков, эмигранты, которые сами сбежали или были высланы, а также и туристы с советскими паспортами, еще не окончательно решившие, вернуться им или нет. Они делились на различные группы и партии, которые продолжали свою политическую деятельность в Германии точно так же, как у себя дома, как будто бы над их головами не прошел ураган.

Берлин для русских был особенно привлекателен тем, что, с одной стороны, жизнь была дешева из-за инфляции, с другой, — немецкая столица имела большое количество не загруженных на полную мощность типографий высокого качества, где можно было напечатать все те многочисленные мемуары, полемические трактаты и литературные произведения, которые возникали, как грибы после дождя. Некоторые предприимчивые литераторы пытали свое счастье в издательском деле; деньги с часу на час теряли свою ценность, их нужно было скорее тратить. У кого имелась рукопись, тот мог рассчитывать на то, что она будет напечатана. В 1924 году вне пределов Советской России существовало 142 русских издательства, из которых 86 были в Берлине. Там выходили две отличные русские газеты, „Руль“, орган кадетов, и „Дни“, стоявшие близко к социалистам-революционерам. Основывались многочисленные литературные журналы, зачастую писателями, приехавшими в Берлин на короткое время. Очень часто эти журналы выходили только несколько месяцев, потом или не было больше денег на продолжение журнала, или издатель уезжал — в „настоящую“ эмиграцию, в Прагу или Париж, либо возвращался домой в Россию².

Русская „фата моргана“ так же внезапно кончилась, как и началась: немецкая валютная реформа летом 1923 года нанесла ей смертельный удар. Многие русские остались жить в Германии, но блестящая литературная деятельность пришла к концу.

„Русский Берлин“ 1922 года простирался главным образом от Прагер плац до Ноллендорфплац и располагал собственными русскими магазинами, парикмахерскими, книжными лавками и даже театром, в котором летом 1922 года Чабров, друг Марины, выступил с триумфом в роли арлекина, в пьесе Шницлера „Покрывало Пиеретты“. Интеллектуальная жизнь осуществлялась здесь во множестве местных кафе: в одном помещался Союз писателей, в другом — „Дом искусств“. Особенную известность приобрело кафе „Прагер диле“ на Прагер плаце, название которого, благодаря Цве-

таевой и неологизму Андрея Белого, („прагердильствовать”), вошло в русскую литературу.

В кафе встречались не только бывшие московские и петербургские литераторы, иногда в первый раз, но и советские с эмигрантами. В страстных литературных дискуссиях, так напоминавших о родине, политика, как не удивительно, находила себе мало места; между „правоверными” и „отщепенцами” еще не пал железный занавес; все еще было в движении, решения о дальнейших путях или возвращении на родину еще не были приняты.

„Берлин этих двадцатых годов был парадоксальным и неповторимым явлением. В чем-то это был еще более фантастический город, чем тот, который столетием раньше описывал Э. Т. А. Гофман”, — вспоминает Александр Бахрах³.

Цветаева и Аля остановились в гостинице „Траутенау-Хоф”, Траутенау-штрассе 9, в Берлине-Вильмерсдорф. В том же пансионе жил Эренбург с женой, который нашел им эту комнату.

Пребывание в Берлине было для Марины лишь временной остановкой. Но, несмотря на это, эти 10 недель стали чрезвычайно важным периодом ее жизни: в это время произошло превращение мифического героя — Андрея Белого — в человека из плоти и крови, превращение человека из плоти и крови в миф — Пастернак, охлаждение старой дружбы, знакомство с новыми людьми и, наконец, свидание с мужем после четырех лет разлуки. Но проникновение в действительную жизнь беженцев и приготовление к наступающим тяжелым годам эмиграции, в Берлине не наступило.

Первые шаги в Берлине, без сомнения, были приятные: Цветаеву встречали, как знаменитую поэтессу. Эренбургу принадлежит заслуга, что ко времени ее появления на Западе были уже напечатаны два ее поэтических сборника: „Разлука”, то есть стихи 1921 года, обращенные к мужу и дополненные поэмой „На красном коне”, и сборник 1916—21 гг. „Стихи к Блоку”. Уже в 1921 г. Константин Бальмонт напечатал подборку стихов Цветаевой в парижских „Совре-

менных записках”, поставив ее в своем предисловии, вместе с Ахматовой, на первое место среди русских поэтесс. Особенно „Разлука”, вышедшая в издательстве „Геликон”, принадлежавшем другу Эренбурга, А. Г. Вишняку, имела большой успех. Несколько позднее в издательстве „Эпоха” вышло второе издание „Царь-Девуцы”, которое тоже привлекло большое внимание. Составлением сборников „Психея” и „Ремесло” занималась в Берлине Цветаева сама⁴.

С А. Г. Вишняком быстро возникли близкие отношения. Евгения Каннак, работавшая машинисткой в издательстве „Геликон”, вспоминает, что она часто видела в издательстве Марину Цветаеву. Она всегда вела за руку свою толстую и не по годам умную девятилетнюю дочь Алю и прочитывала с особенной гордостью страницы из ее дневника⁵. Что Марина очень ценила Вишняка, видно из того, что в своем сборнике „Ремесло”, объединявшем стихотворения с апреля 1921 по апрель 1922 гг., она на скорую руку перепосвятила часть написанных для Миндлина стихов „Геликону”⁶.

Напротив, на отношения Эренбурга и Цветаевой пала тень. За близкой дружбой, начавшейся в Москве, где были закончены „Сугробы”, последовали довольно скоро разногласия. В книге „Люди, годы, жизнь” Эренбург приводит одно из написанных ему тогда Мариной писем:

„Тогда, в 1918 г., Вы отметали моих Дон Хуанов („плащ” не прикрывающий и не открывающий), теперь, в 1922 году — моих Царь-Девуц и Егорушек (Русь во мне, то есть вторичное). И тогда и теперь Вы хотели от меня одного — меня, то есть костяка, вне плащей и кафтанов, лучше всего ободранную. Замысел, фигуры, выявление через — все это для Вас было более или менее бутафорией. Вы хотели от меня главного — без чего я — не я. Я Вас ни разу не сбила (себя постоянно и буду), Вы оказались зорче меня...”⁷

Но настоящая причина, наверно, была другая; даже если Эренбург не мог об этом говорить открыто: как уже и раньше, они спорили о политических вопросах и о сборнике „Лебединый стан”:

„В Берлине я с ней как-то проговорил ночь напролет, и в конце нашего разговора она сказала, что не будет печатать свою книгу”⁸.

В одном письме Цветаева дает свою версию охлаждения к Эренбургу:

„С Э-гом мы разошлись из-за безмерности чувств: его принципиальной сшибшейся с моей, стихийной. Я требовала чудовищного доверия и понимания *вопреки* (очевидности, отсылая его в заочность!)... У меня было всегда чувство с ним, что он все ценное в себе считает слабостью, которую любит и себе прощает. Мои „доблести” играют у него роль слабостей, все мои + (то есть все мною любимое и яростно защищаемое) были для него только прощенными минусами... Я не хотела быть милым ребенком, романтическим монархистом, монархическим романтиком — я хотела *быть*. А он мне бытие *прощал!*”

Еще злее и яснее выражается Цветаева в 1933 г. в письме к Иваску:

„... никогда, ни одной секунды не ощущала его поэтом. Эренбург — подпадение под всех, *безхребтовость*. Кроме этого, циник не может быть поэтом...”¹⁰

Местом встречи всех новоприбывших было кафе „Прагер диле”, где у Эренбурга был стол, за которым он работал и разглагольствовал. Там праздновались свидания, возобновлялись и прекращались знакомства, там обменивались издателями, рукописями, а заодно и спутниками жизни. Не все, бежавшие из России, делали это по политическим мотивам, некоторые просто спасались от семейных обстоятельств: „Много людей, все в молчании, все на глазах, перекрестные любви (ни одной настоящей!) — все в ”Prager Diele”, все шуточно...”¹¹

Здесь собирались литераторы с известными именами. Нина Берберова, приехавшая с В. Ф. Ходасевичем в Берлин 30 июня 1922 года и познакомившаяся с Цветаевой 5 июля, приводит отрывок из дневника Ходасевича, из которого ясно, что 24 июля в „Прагер диле” собралось около пятнадцати писателей, среди них Эренбург, Цветаева, Пастернак,

В. Шкловский и Андрей Белый. (Здесь очевидная ошибка: Пастернак приехал в Берлин только в августе.) Следует прибавить, что все эти писатели и литераторы не только встречались, но также очень сосредоточенно работали.

Андрей Белый приехал в Берлин не для того, чтобы найти новую жену, но чтобы вернуть себе старую, Асю Тургеневу, которую он не видел с 1916 года. Знакомство между ним и Мариной, не состоявшееся в Москве, произошло в „Прагер диле”.

„Стол Эренбурга, обрастающий знакомыми и незнакомыми. Оживление издателей, крылатые писателей. Обмен гонорарами и рукописями. (Страх, что и то и другое скоро падет в цене) ... И вдруг через все — через всех — протянутые руки, кудри — сияние: „Вы, Вы? (Он так и не знал, как меня зовут.) Здесь? Как я счастлив! давно приехали? Навсегда приехали?.. Почему мы с Вами так мало встречались в Москве, так мимолетно?.. У нас с Вами был общий друг, Эллис...”¹²

Белый вспоминает еще о том, что оба они из профессорских семей и оба связаны с Тарусой. Новая дружба растет с каждой минутой. Присутствующие молча удаляются и оставляют их одних. Тем же вечером Белый читает Маринину „Разлуку” — его восторг не знает границ. На короткое время они неразлучны. Белый нашел себе комнату в Цоссене близ Берлина; он оттуда приезжает навестить Марину и Алю и с ними ходит в зоопарк, Марина и Аля навещают его в мрачном Цоссене. Белый в жалком состоянии, он изливает свое сердце Марине, рассказывает про Асю Тургеневу и Любу Блок и каждую свободную минуту пишет свои „Воспоминания о Блоке”. Так же внезапно он исчезает с берлинской сцены.

Молодой человек, которого поэт Саша Черный представляет Марине в одном кафе на Курфюрстендамм, еще не имеет известного имени в среде русской интеллигенции. Он критик и литературный редактор в пражском журнале „Воля России”, его зовут Марк Львович Слоним. В своей рецензии в „Воле России” он отметил появление „Разлуки” как

выдающееся литературное событие и хочет поговорить с автором на литературные темы. Однако Цветаева только интересуется тем, что происходит в Праге, куда она собирается переехать. Они уговариваются встретиться, чтобы подробнее поговорить о литературных делах в Праге, в редакции журнала, которая находится в доме, где Моцарт, по преданию, написал „Дон Жуана”.

„Я предупредил ее о политическом направлении журнала — мы были органом социалистов-революционеров. Она ответила скороговоркой: „Политикой не интересуюсь, не разбираюсь в ней, и уж, конечно, Моцарт перевешивает”. Я до сих пор убежден, что именно Моцарт повлиял на ее решение”¹³.

Во внешности Цветаевой Слониму бросается в глаза то, что в ней отмечали и другие: глядящие в сторону большие серо-зеленые глаза, крупная голова на высокой шее, вскидывание головы и — жест, при котором разлетаются ее легкие золотистые волосы, серебряные браслеты на запястьях ее сильных рук, несколько толстые пальцы в серебряных кольцах, сжимавшие деревянный мундштук, крепкое, мужское рукопожатие: „Какая-то подобранность тонкого, стройного тела и вся ее повадка производили впечатление силы и легкости, стремительности и сдержанности”.

Вскоре после приезда Марина получает длинное, с трудом разбираемое письмо из Москвы. Еще кто-то пишет с восторгом о ее „Разлуке”. Только когда речь пошла о похоронах Татьяны Скрябиной, она поняла, кто автор письма: Борис Пастернак. 29 июня Марина отвечает вежливо и официально: „Уважаемый Борис Леонидович”, напоминает, как они встретились в Москве, и надеется его скоро увидеть в Берлине. Припоминает, что мало знает его стихи, что слышала их только, когда он их читал в Политехническом Музее, и шлет ему два своих сборника. Это письмо она отсылает Л. О. Пастернаку, его отцу, художнику, живущему в Германии, с просьбой переслать их дальше¹⁴.

В ответ Пастернак шлет ей свой сборник „Сестра моя жизнь”. Теперь это удар грома для Марины. На одном дыхании она пишет очерк „Световой ливень”, который Андрей

Белый публикует в своем издательстве „Эпопея”. Там она пишет:

„Стихи Пастернака я читаю в первый раз. Слышала — изустно — от Эренбурга, но от присущей мне фронды — нет, позабыли мне в люльку боги дар соборной любви!! — от исконной мне ревности, полной невозможности любить вдвоем — тихо упорствовала: „Может быть и гениально, но мне не нужно!”

Ее истолкование стихов Пастернака не базируется на его ритмах и размерах — („Это дело специалистов поэзии. Моя специальность — жизнь”), — но толкует она их с поэтической интуицией и сравнивает их с ливнем света.

Где-то в июле — точную дату Ариадна Эфрон не помнит — Сергей Яковлевич наконец получил разрешение приехать в Германию, чтобы встретиться с женой и дочерью после четырехлетней разлуки. Очень скоро после этого, 31 июля, они переехали в Чехословакию. Цветаева не посетила в Берлине ни одного музея, ни театра или концерта.

На следующий день в Берлин приехал Пастернак.

„В ее отъезде из Берлина накануне прибытия Пастернака было нечто схожее с бегством нимфы от Апполона, нечто мифическое и не от мира сего... А может быть, то был — не менее мифотворческий — бег с уже распознанным, уже достоверным сокровищем в руках, присвоение его, умыкание, нежелание разделять его со всеми в безвоздушном пространстве, окружающем столики „Прагер диле”; та боязнь посторонних глаз, сглазу, которые столь были присущи Марине с ее стремлением и приверженностью к тайне обладания сокровищем: будь оно книгой, куском природы, письмом или душой человеческой. Ибо была Марина великой собственницей в мире нематериальных ценностей, в котором не терпела совладельцев и соглядатаев”¹⁵.

„Русский Берлин” 1922 года ныне исчез с лица земли в подлинном смысле слова. Не только людей разметала судьба во все стороны — дома и вся эта часть города были разрушены во время Второй мировой войны. Нынешний Прагер плац лишь по названию сходит со старым; что выстояло в бом-

бежке, отступило перед бульдозерами новостроек Западного Берлина; нет даже и русской церкви на Находштрассе, где служили о. Сергей Булгаков и позже, до 1945 года, иеромонах Иоанн (Шаховской), впоследствии архиепископ Сан-Францисский. Единственные свидетели, которые могли бы рассказать о коротком звездном часе русской духовной жизни в Берлине — старые тополя на Прагер плац, чудом выжившие сквозь огненные ночи.

И еще одно осталось навсегда — признание Цветаевой в любви Берлину:

Дождь убаюкивает боль.
Под ливни опускающихся ставень
Сплю. Вздрагивающих асфальтов вдоль
Копыта — как рукоплесканья.

Поздравствовалося — и слилось.
В оставленности златозарной
Над сказочнейшим из сиротств
Вы смилостивились, казармы!¹⁶

ГЛАВА 16

Подробного описания жизни русской эмиграции в Чехословакии во время недолгого существования этого демократического государства не существует и, наверно, никогда не будет написано. Когда, в мае 1945 года, Красная армия заняла Прагу, то одной из первых задач ее различных „органов” было захватить все документы и источники к истории русской эмиграции и увезти их в Советский Союз; то, что они тогда не получили, им было подарено самим коммунистическим правительством в 1948 году. Бóльшая часть свидетелей этой эпохи или очень стары, или находятся в других странах. Сегодня о количестве и о значении русской колонии в Праге можно судить, посетив кладбище в Ольшанах в Праге. Но одно неоспоримо: своей помощью и гостеприимством Чехословацкая Республика, возглавляемая тогда президентом Масариком, оказала огромную, незаменимую услугу русской науке и искусству за границей. Творчество Марины Цветаевой тоже не могло бы осуществиться без этой помощи и поддержки.

Уже в XIX столетии многие чехи любили великий славянский братский народ и восхищались им. В конце первой мировой войны пленные австрийцы чешского и словацкого происхождения организовали так называемый „Чешский легион“, который принял деятельное участие в гражданской войне 1918 года. Чешский легион сыграл большую, решающую роль в ее исходе: сначала он сражался на стороне адмирала Колчака, а потом неожиданно бросил его, прекратил военные действия и вернулся в только что созданную Чехословацкую Республику. После того, как остатки разбитой Добровольческой Армии были эвакуированы через Галлиполи и попали в Турцию, Масарик организовал широкую помощь эмигрантам. Таким образом, многие участники гражданской войны нашли убежище и новую родину в Чехии. Офицеры, не имевшие специальности, получали стипендии для окончания своего образования и даровое жилище в студенческих домах; знаменитые русские ученые были приглашены в чешские университеты, как например, искусствовед и византолог Н. П. Кондаков — в Пражский университет¹, лингвист Н. Н. Дурново — в университет Брно, философ Н. О. Лосский — в Братиславу. Такие ученые, как Роман Якобсон и князь Н. С. Трубецкой, были главными создателями знаменитой Пражской школы лингвистики. Подрастающей молодежи были предоставлены бывшие бараки для военнопленных в Моравской Тржебове, в которых разместилась русская гимназия с интернатом. Особенно широкую помощь оказало чехословацкое правительство русским интеллигентам. Многие писатели получали годами денежную помощь и, таким образом, имели возможность работать дальше. На стипендию, которую получала Марина Цветаева, а вначале и муж ее — семья могла жить. Даже когда Эфроны переселились во Францию — чешская стипендия была главным источником их существования.

Параллельно с этой помощью государства существовали и другие, частные организации, как например, „Česko-ruská Jednota“, основанная уже в 1919 году. Целью этого благотворительного общества было создание связей между мест-

ными чешскими интеллигентами и русскими эмигрантами. Круги местной немецкой интеллигенции держались в стороне. Во главе „Едноты” стояла чешская писательница Анна Тескова, родившаяся в Петербурге. В центре церковных кругов стояли Пражский епископ Сергей (Королев) и княгиня Наталия Яшвиль — член-основатель Кондаковского Института. „Левые” круги собирались в редакции „Воли России”, влиятельного журнала социалистов-революционеров.

Зимой 1922 года в Прагу съехалось большинство крупных мыслителей и литераторов, высланных большевистским правительством, среди них некоторые из авторов знаменитого сборника „Веки” и другие, вернувшиеся, после долгих исканий, к вере и православной церкви. В Праге они сталкивались с массой молодых русских студентов, бывших солдат и офицеров Белой армии, из которых многие, после всех потрясений и катастроф, начали задумываться над причинами гибели России и над тем, как это все могло случиться. Многие, в свою очередь, нашли ответ в христианстве. Сначала в Белграде, где тогда жили молодые Зерновы, а потом повсюду в русском рассеянии формировались студенческие православные братства и началось удивительное русское христианское возрождение, которое впоследствии сильно повлияло и на духовный мир Запада. Большая заслуга в этом принадлежала епископу Сергию („Пражскому”), одной из сильнейших личностей среди православной русской иерархии на Западе. Два первых съезда студенческой русской молодежи из Чехословакии и всей Европы были организованы в Пржерове в 1923 и 1924 гг. при участии Бердяева, о. Сергия Булгакова, А. Карташева, В. Зеньковского и других; итогом было возникновение „Русского Студенческого Христианского Движения” — их печатный орган: еще ныне существующий „Вестник” — и план основания Богословского Института в Париже².

Профессора жили в так называемом „Профессорском доме” при церкви в центре Праги, студенты были помещены на окраине города в бывшей казарме с кличкой „Свобо-

дарана”, где до приезда Марины жил и Сергей Яковлевич. Николай Еленев живо описывает ее:

„Здание вмещало по обеим сторонам своих узких туннелей несколько сот „кабинок”. Тянулись они вплотную. Отделяли их тонкие перегородки, которые не доходили до цементного пола и не упирались в потолок...”³

Там русские студенты-эмигранты жили и учились — так усердно, что почти везде были первыми, даже в спорте. Все были уверены, что очень скоро вернутся на родину и что тогда они смогут быть ей полезными своими знаниями.

Когда 1 августа 1922 года Марина и Аля приехали в Чехословакию, Сергей Яковлевич должен был найти квартиру. Так как жизнь в самой Праге была слишком дорога, семья поселилась в маленькой деревне Мокропсу недалеко от города, где уже жили очень многие русские беженцы. Сергей Яковлевич продолжал учиться в Пражском университете и оставил за собой кабинку в „Слободарне”, часто он ездил в Прагу только на день.

Для Марины год, проведенный в деревне Мокропсы („Мокрые псы”, как говорили с презрением новые жильцы), был годом отрешения, когда она многое передумала и переоценила. Но это было и время плодотворной работы в тишине деревенского одиночества, очень отличавшегося от берлинского муравейника. Она так описала окружавшую ее обстановку:

„Крохотная горная деревенька, живем в последнем доме ее, в просторной избе. Действующие лица жизни: колодез-часовней, куда чаще всего по ночам или ранним утром бегаю за водой (внизу холма) — цепной пес — скрипящая ка-литка. За ними сразу лес. Справа — высокий гребень скалы. Деревня вся в ручьях”⁴.

И дальше:

„Третий дня уходит на топку огромной кафельной печки. Жизнь мало чем отличается от Московской, бытовая ее часть — пожалуй, даже беднее! — но к стихам прибавилось: семья и природа. *Месяцами* никого не вижу. Все утро пишу и хожу: здесь чудные горы”⁵.

Забота о семье: без всякого сомнения жизнь здесь отличалась от московской богемной. Как и у большей части русских эмигрантов, у семьи Эфронов почти что все время не хватало денег для жизни в Праге. Они кочевали по деревням в окрестностях Праги, часто преследуемые враждебно настроенными домовладельцами. Квартыры нужно было топить, чистить, убирать; семью надо было кормить; часто не хватало даже самых примитивных предметов обихода. Сергей Яковлевич продолжал учиться в Праге; ранним утром, на рассвете, он уезжал на поезде в город и возвращался совсем разбитым поздно вечером домой. Марина и, главным образом, Аля должны были ухитряться, без помощи прислуги, сами справляться со всеми обязанностями повседневной жизни. Эти новые условия совсем изменили отношения между матерью и дочерью. В революционной Москве они жили, как сестры: они делили все заботы — Аля была не только двойником, но и собственностью матери. Теперь десятилетняя Аля начала играть в куклы и превратилась в ребенка, то есть в то, чем была на самом деле. Марина была озабочена: Аля начала ускользать от нее. „Я ей совершенно равнодушна”, — писала она Бахрау.

Но главнейшей проблемой Марины, наверно, был ее муж, с которым надо было опять сжиться. Он оказался совсем не тем святым Георгием, каким она его себе представляла в Москве: на самом деле это был разбитый человек. В то время, когда Марина все еще разделяла идеалы Белой армии и ничего не хотела слышать о коммунизме, с которым близко познакомилась, Сережа начал сомневаться. Теперь ему казалось, что во время гражданской войны он воевал не на той стороне. Ариадна Эфрон вспоминает слова отца:

„...Представьте себе вокзал военного времени — большую узловую станцию, забитую солдатами, мешочниками, женщинами, детьми, всю эту тревогу, неразбериху, толчею — все лезут в вагоны, отпихивая и втягивая друг друга. Втянули и тебя, третий звонок, поезд трогается — минутное облегчение — слава тебе, Господи! — но вдруг узнаешь и со смертным ужасом осознаешь, что в роковой суете попал — впрочем,

вместе со многими и многими! — не в тот поезд, что твой состав ушел с другого пути, что обратного хода нет — рельсы разобраны. Обратно, Мариночка, можно только пешком — по шпалам — всю жизнь...”⁶

Под влиянием этой исповеди родились стихи Марины „Рассвет на рельсах”, навеянные ежедневными отъездами Сережи в Прагу:

Покамест день не встал
С его страстями стравленными
Из сырости и шпал
Россию восстанавливаю...”⁷

Ариадна Сергеевна с удовольствием вспоминала свое детство в Чехословакии, даже несмотря на трудные условия:

„Зимовали хорошо, честно, дружно, пусть и трудно. Трудности мне стали видны впоследствии, девочкой я их просто не понимала, может быть, потому, что легкой жизни я не знала; то, что на мою долю приходилась часть домашней работы, считала не только естественным — радостным; то, что у меня было всего два платья, не вынуждало меня мечтать о третьем... то, что были редки подарки и гостинцы, только повышало их волшебную ценность в моих глазах. Главное же: мужественная бедность Марины и Сережи, достоинство, выдержка и зачастую юмор, с которым они боролись со всеми повседневными тяготами, поддерживая и ободряя друг друга, вызвали у меня такое жаркое чувство любви к ним и соратничество с ними, что уже это само по себе было счастьем. Счастьем были вечера, которые иногда проводили мы вместе, у стола, освобожденного от еды и посуды, весело протертого мокрой тряпкой, уютно и торжественно возглавленного керосиновой лампой с блестящим стеклом... Сережа читал нам вслух привозимые им из Праги книги; Марина и я, слушая, штопали, чинили, латали...”⁸

В „русских” деревнях под Прагой — Мокропсах, Вшено-рах, Радошовице, Иловитше и других — жило много „товарищей по несчастью”. Скоро стали налаживаться знакомст-

ва с соседями. С Людмилой Чириковой — дочерью известного писателя — Марина познакомилась еще в Берлине; теперь она встретилась и с остальной семьей⁹. Крепкие связи были и с семьей Еленевых. Особенно дружна была Марина с Екатериной Исааковной Еленевой, „приятельницей и сподвижницей по Мокропсам”¹⁰. Но с Николаем Еленевым скоро возникли недоразумения. Цветаева прожила пять лет под коммунистическим правительством, против которого боролся Еленев. Некоторые привычки этих лет сказались на Марине. Еленев вспоминает:

„Марина привезла с собой через границу если не страх, то призрак голода. Войдя, она протянула мне кое-как обернутую в газету большую кастрюлю: „Я принесла вам каши. Мы сварили ее слишком много. Я подумала: не выбрасывать же ее...” Хотя средств на существование в то время у меня было очень мало, в таком подарке я не нуждался. Он показался мне странным, неуклюже неуместным. Но побуждение Марины мне стало ясным гораздо позже. Советская действительность не вошла, или почти не вошла, в мой жизненный опыт. Но на Марине она сказалась, даже на ней, по своему существу — прирожденному бунтовщику...”¹¹

Заметно известное недоверие к „советскому” в Цветаевой. У некоторых ее соотечественников на Западе это недоверие так и осталось.

Ее отношения с политически левыми кругами, очевидно, с самого начала были лучше, чем с другими. Уже в сентябре, как было условлено со Слонимом, она посетила редакцию газеты „Воля России”, где ее дружелюбно приняла вся редакционная коллегия¹². Разговор с М. Л. Слонимом начался в его кабинете, но он очень быстро был перенесен в кафе „Славия” на набережной Влтавы.

Этот первый разговор продолжался несколько часов. Они говорят о литературе, и Слоним очень удивлен, что Марина так много знает о Казанове и даже написала о нем несколько пьес в стихах. Было условлено, что „Приключение” и переработанная „Конец Казановы” (переименованная в „Феникс”), будут печататься в „Воле России”. Но уже при

этом первом свидании между ними возникает горячий спор по поводу перевода эпиграфа к „Приключению”:

„Я был поражен, с какой страстью М. И. отстаивала свою версию и приводила самые неожиданные аргументы. „Но ведь это мелочь”, — попытался я остановить ее. „Мелочь?” — спросила она с каким-то зловещим присвистом, точно я был повинен в богохульстве: „выбор слов — самое важное”. Сколько раз после этого я наблюдал, как спокойствие и терпимость М. И. исчезали лишь только речь заходила о точности отдельных слов, о законности мало употребляемых оборотов или ритмических ходов, и она становилась воительницей, готовой уничтожить противника: для нее первый стих Евангелия от Иоанна был священным: „В начале бе Слово, и Слово бе от Бога, и Бог бе Слово”.

С этого дня у Марины был верный друг в Праге. Они часто виделись, гуляли по городу, восхищаясь его красотами, и обыкновенно кончали свои странствования в одном из бесчисленных пражских кафе.

„В течение трех лет — с 1922-го по конец 1925-го года — мы часто встречались с М. И., часами разговаривали, гуляли и быстро сблизились. Общность литературная скоро перешла в личную дружбу. Она продолжалась 17 лет и была неровной и сложной: размолвки и примирения, взлеты и снижения. В одном я оставался неизменным: я считал ее большим и исключительным поэтом, наравне с Пастернаком, Маяковским, Мандельштамом и Ахматовой, и еще в 1925 году писал, что в эмиграции ей соразмерен только Ходасевич”.

Слоним хвалит необыкновенный и острый ум Марины, в котором соединялся здравый рассудок, ясность мысли и способность отвлеченного мышления — и все вместе вдруг вырывалось в настоящий женский порыв.

„М. И. была чрезвычайно умна. У нее был острый, сильный и резкий ум — соединявший трезвость, ясность со способностью к отвлеченности и общим идеям, логическую последовательность с неожиданным взрывом интуиции. Эти ее качества с особенной яркостью проявились в разго-

ворах с теми, кого она считала достойными внимания. Она была исключительным и в то же время очень трудным — многие говорили — утомительным собеседником. Она искала и ценила людей, понимавших ее с полуслова, в ней жило некое интеллектуальное нетерпение, точно ей была неохота истолковать брошенные наугад мысль или образ. Их надо было подхватывать налету, разговор превращался в словесный теннис, приходилось все время быть на чеку и отбивать метафоры, цитаты и афоризмы, догадываться о сути по намекам, отрывкам... Самое главное для нее была молниеносная реплика — своя или чужая — иначе пропал весь азарт игры, все возбуждение от быстроты и озарений. Я порою чувствовал себя усталым от двух-трех часов такого напряжения и по молодости лет как-то стыдился этого, как признака неполноценности и скрывал это”.

Марк Львович очень много делал для Марины Цветаевой — и тогда и позже; наверно, больше, чем она сама знала. Благодаря его хорошим отношениям и связям с важными чешскими кругами он мог обеспечить ей стипендию. Он также добивался того, чтобы „Воля России” периодически печатала произведения Цветаевой, хотя редакция и читатели совсем не были в восторге от этой певицы „белого” движения.

В сентябре 1922 года Марина знакомится с новыми людьми. Один из первых, написанных ею в Чехии циклов стихов „Деревья” посвящен „Моему чешскому другу, Анне Антоновне Тесковой”. Председательница „Ческо-русской Едноты” очень скоро заинтересовалась Цветаевой и хотела, чтобы она у них читала свои стихи. В короткой записке от 2/15 ноября 1922 года, адресованной Анне Тесковой, — первой в их обширной корреспонденции, — Марина благодарит за приглашение, которое она принимает¹³. Она и позже не раз принимала участие в организованных этим обществом вечерах в Пражской гостинице „Беранек”. На одном из них она познакомилась с чешским писателем и переводчиком на русский язык Франтишком Кубкой. Он рассказывает об этом в своей книге „Hlasý od východu” („Голоса с Востока”)¹⁴.

Несмотря на то, что Марина Цветаева все-таки часто езд-

ла в Прагу, где у нее были знакомые, которые о ней заботились (не только Слоним, но и Еленев рассказывает о прогулках по Праге, к „Пражскому Рыцарю” под Карловским мостом), — этот год в Мокропсах был тихим годом плодотворной работы, окруженный нетронутой, прекрасной природой. 27 сентября, вдали от Родины, она отпраздновала свое тридцатилетие. В этот день она написала стихи, которые, как она позже поведала Пастернаку, сама относила к одним из самых своих любимых произведений.

„СЕДЫЕ ВОЛОСЫ”

Это пеплы сокровищ:
Утрат, обид.
Это пеплы, пред коими
В прах — гранит.

Голубь голый и светлый,
Не живущий четой.
Соломоновы пеплы
Над великой тщетой.

Беззакатного времени
Грозный мел.
Значит, Бог в мои двери —
Раз дом сгорел!

Не удушенный в хламе,
Снам и дням господин,
Как отвесное пламя
Дух — из ранних седин!

И не вы меня предали,
Годы, в тыл!
Эта седость — победа
Бессмертных сил.¹⁵

После этих стихов в поэтическом творчестве наступает пауза. Цветаева работает над большим произведением: она продолжает вещь, которую начала еще в России, и в течение трех месяцев пишет большое эпическое произведение, как бы продолжение к „Переулочкам” и недоконченному „Егорушке” — доказательство того, что духовно и душевно она все еще в России:

„Кончаю большую вещь (в стихах), которую страстно люблю и без которой осиротею”¹⁶.

„Большая вещь” — эпос „Молодец”. В 1924 году он появился в пражском издательстве „Пламя”. Тема этого произведения — старинное русское предание о деревенской девушке Марусе, которая влюбляется в вампира. „Молодец” был встречен и положительно и отрицательно. Позже Ольга Чернова спросила, почему Марина выбрала именно эту тему. Вот ответ Марины на этот вопрос:

„...Я должна назвать, то есть создать, того, кто меня звал. Как будто бы мои вещи выбирают меня сами, и я часто их писала против воли. России хотелось сказываться какими-то вещами, выбрали меня. И убедили, обольстили — чем? Моей собственной силой: только ты! Да, только я. И поддавшись — когда зряче, когда слепо — повиновалась, выискивая ухом какой-то заданный слуховой урок. И не я из слов выбирала сто первое, а она (вещь) на все сто эпитетов упиравшаяся: меня не так зовут”¹⁷.

В своем одиночестве Марина находит еще одну возможность выражения: она начинает писать письма. Она ищет общения с друзьями, оставшимися в Берлине, и вскоре поддерживает корреспонденцию с несколькими людьми. Но и в этой переписке она остается писательницей: перед тем, как отослать письмо, она шлифует каждое слово, каждую фразу и сначала переписывает свои письма в свою тетрадь. Таким образом сохранилась в ЦГАЛИ большая часть архива Цветаевой, даже если некоторые подлинники этих писем погибли или просто еще не опубликованы. Это очень важно, потому что эти письма являются, наряду с лирикой и прозой, самостоятельной частью литературного наследства Цветаевой.

Содержание писем, конечно, меняется в соответствии с адресатами. Например, в переписке с Романом Гулем речь больше всего идет о конкретных вопросах: о печати ее произведений, о переговорах с ее издателями, которых должен был найти Гуль и т. д. Мы много узнаем из этих писем о жизни, а также о взглядах и мнениях писательницы. Например, она волнуется из-за критики ее „Царь-Девуцы“, написанной Ю. Айхенвальдом, в которой известный критик пишет:

„Хочется отметить красиво изданную „Эпохой“, еще красивее написанную Мариной Цветаевой полу-сказку „Царь-Девуца“. Талантливая поэтесса создала художественную игрушку в народном русском стиле... Она полна неожиданностями и причудами, за ее развитием не всегда сразу уследишь, но юмору и фантазии автора отдаешься охотно, с улыбкой внимания и удовольствия... Целое заворочит тебя своими чарами, дыханием национальной стихии, умчит по чистым волнам, по реке русской речи. Воистину там „русский дух, там Русью пахнет“¹⁸.

На это — реакция Марины:

„Умилялась — но — не то! Барокко — русская речь, игрушка — талантливо — и ни слова о внутренней сути: судьбах, природах, героях — точно ничего, кроме *звону в ушах* не осталось. — Досадно. Не ради русской речи же я писала!“¹⁹

Но Цветаева пишет и другого рода письма. Она обращается к людям, которых она вообще или почти не знает. Она судит этих людей только по ответам на ее письма и, поэтому, часто судит неправильно. Но это те контакты, которые она так любит: дружба душ, которым не мешает прозаическая реальность.

„Мой любимый вид общения — потусторонний: сон, видеть во сне“, — пишет она Пастернаку. — „А второе: переписка. Письмо, как некий вид потустороннего общения, менее совершенно, нежели сон, но законы те же. Ни то, ни другое — не по заказу: снится и пишется не когда *нам* хочется, а когда хочется: письму — быть написанным, сну — быть увиденным. Мои письма *всегда* хотят быть написанными!“

И в том же письме:

„Я не люблю встречу в жизни: сшибаются лбом. Две стены. Так не проникнешь. Встреча должна быть аркой: тогда встреча — *над*. Закинутые лбы!“²⁰

Но скоро сказалось опасное последствие этих снов наяву: не раз Марина глубоко и нежно влюблялась в героя своих снов, и каждый раз она была глубоко разочарована и опечалена: она открыла ему секреты своей души. Эти герои же вдруг умолкали, отстранялись от нее, или оказывались совсем другими, чем она себе представляла. В сущности, вся эта корреспонденция — это только монолог, который относится не столько к тем, кому она пишет, но:

„поверх их голов — Богу. Или, по крайней мере — ангелам...“

Первый из этих героев, с которым Марина встречается во сне — Борис Пастернак, на которого в Москве она почти не обратила внимания. Но его книга „Темы и Вариации“, которую он посылает ей из Берлина в феврале 1923 года, — это „ожог“: „Ваша книга — ожог... обожглась и загорелась — и сна нет, и дня нет...“

Она пишет ему — будто изрекает пророческие слова:

„А знаете, Пастернак, Вам нужно писать большую вещь. Это будет Ваша вторая жизнь, первая жизнь, единственная жизнь, Вам никого и ничего не станет нужно“.

Но 9 марта 1923 года приходит горькая, страшная весть: решение принято, Пастернак отворачивается от Запада и едет обратно в Москву. Он хотел бы попрощаться с Мариной и предлагает ей приехать в Берлин. Марина не может: у нее нет денег, она не может так скоро получить нужные для этого путешествия документы и не может бросить семью. Домашние повседневные тяжелые работы им одним не по силам. Она пишет:

„Не приеду, потому что поздно, потому что беспомощна, потому что Марк Слоним (например) достает разрешение в час, потому что это моя судьба — потеря... Предстоит огромная бессонница, Весны и Лета. Я себя знаю, каждое дерево, которое я облюбую глазами, будет — Вы. Как с этим жить?“

(Дело не в том, что Вы — там, а я — здесь, дело в том, что Вы будете там, что я никогда не буду знать, есть Вы или нет. Тоска по Вас и страх за Вас, дикий страх, я себя знаю)... Встреча с Вами была бы для меня некоторым освобождением от Вас же, законным. Вам ясно? Выходом! Я бы (от Вас же) выдышалась в Вас. Вы только не сердитесь! Это не чрезмерные слова, это безмерные чувства: чувства, уже исключающие понятие меры!"²¹

Марина посылает Пастернаку корректурный экземпляр своего еще не напечатанного сборника стихов „Ремесло” и поручает Гулю найти в Берлине „Разговоры Гете с Аккерманом” и передать книги Пастернаку от нее, на вокзале.

От отчаяния — потери поэта, ее мнимого брата — Марина Цветаева спасается в свое искусство. Между 17 марта и 11 апреля она пишет цикл „Провода”, состоящий из десяти стихов. А между 8 и 23 апреля — „Поэты”; оба цикла посвящены Пастернаку²². Там она еще раз воплощает то, что писала ему уже в письме: „Это не чрезмерные слова, это безмерные чувства, чувства уже исключающие понятие меры!”

Более точное и меткое описание Цветаевой трудно себе представить.

ПОЭТ № 3

Что же мне делать, слепцу и пасынку,
В мире, где каждый и отч и зряч,
Где по анафемам, как по насыпам —
Страсти! где насморком
Назван — плач!

Что же мне делать, ребром и промыслом
Певчей! — как провод! загар! Сибирь!
По наважденьям своим — как по мосту!
С их невесомостью
В мире гирь.

Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший — сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью
В мире мер?!”²³

Весна 1923 года принесла Марине не только горе, но и досадные житейские неприятности: владелец дома, в котором жили Эфроны, подал на них в суд жалобу, потому что они недостаточно чисто мыли полы. К тому же она очень рассердилась, что была раскритикована ее рецензия на книгу кн. С. М. Волконского, появившаяся в литературном журнале „Записки наблюдателя” под названием „Кедр. Апология”. Критики обрушились и на рецензию Цветаевой, и на саму книгу Волконского. Юрий Айхенвальд написал в газете „Руль”, что Цветаева, по-видимому, ошиблась: ее рецензия книги Волконского — не апология, а панегирик.

Но еще больше переживала Марина, что она никак не могла найти издателя для своих дневников московского революционного времени. Она пишет Гулю:

„Геликон ответил, условия великолепные — но: *вне политики*. Ответила в свою очередь. Москва 1917—19 гг. — что я, в люльке качалась? Мне было 24—26 лет, у меня были глаза, уши, руки, ноги: и этими глазами я видела, и этими ушами я слышала, и этими руками я рубила (и записывала!), этими ногами я с утра до вечера ходила по рынкам и заставам, — куда только не носили! *Политики* в книге нет: есть *страстная* правда: *пристрастная* правда холода, голода, гнева, *Года!* У меня младшая девочка умерла с голоду в приюте — это тоже „политика” (приют большевистский)”²⁴.

Но, по-видимому, берлинские издатели, которые все еще надеялись на продажу своих изданий на родине, предпочитали держаться в стороне от этих „земных примет”. К тому же было еще одно условие: Марина хотела, чтобы дневники Али были напечатаны как послесловие ее собственных²⁵.

Весной в издательстве „Геликон” появился сборник сти-

хов „Ремесло”. Он имел большой успех, и критика была прекрасная. Например, Вера Лурье писала:

„'Ремеслом' Цветаева показала, что нашла выход своему духовному взрыву. Она принадлежит к тем огромным поэтам, которым нет средних путей, или полное падение вниз головой или победа. Цветаева победила себя и других. ...За всем удалством, грубоватыми мужскими замашками и силой, в Цветаевой кроется бесконечно много женского, все устремления ее к жертве и подвигу — чисто женские... Какой маленькой и бледной кажется женственность и нежность Ахматовой в сравнении с любовным порывом Цветаевой... Зрелое, подлинное ремесло Цветаевой еще только началось, она богата бесконечными возможностями. От всей души, с искренней любовью и нежностью хочется сказать вместе с ней про ее музу: 'Храни ее, Господи!' ”²⁶

Другая, тоже хвалебная рецензия на книги „Разлука” и „Ремесло” появилась в газете „Дни”, под заголовком „Поэзия рифм”. Подписана она была критиком, о котором Марина ничего не знала: Александр Бахрах. Ей сразу показалось, что он, единственный из всех, не припечатал ее под “style russe”, а наоборот — понял дух ее поэзии. Цветаева поражена его интуицией. 20 апреля она набрасывает в свою тетрадь „Письмо критику”:

„Я не знаю, принято ли отвечать на критику иначе как колкостями — и в печати. Но поэты не только подчиняются обрядам — они творят их! Позвольте же мне нынче, в этом письме утвердить обряд благодарности критику: — поэт”.

Только 9 июня она решается отправить это письмо, к которому прибавляет еще одну фразу:

„Случай достаточно редкий, чтобы не слишком рассчитывать на последователей!”²⁷

Так начинается „роман в письмах” Цветаевой и молодым человеком, которому тогда было немногим больше двадцати лет. Это один из важнейших эпизодов ее жизни.

Александр Васильевич Бахрах, литератор и критик, писавший впоследствии много о русских зарубежных писателях, в своих письмах (они до сих пор не опубликованы),

по-видимому, обладал теми качествами, которые — как описывает Слоним — Цветаева ценила в своих собеседниках. Уже первый ответ на ее письмо — что ее новая книга ничего общего не имеет с „ремеслом” — попал прямо в цель. У нее просыпается интерес к этому чуткому молодому человеку. 30 июня она пишет:

„Незнакомый человек — это все возможности, тот, от кого все ждешь. Его еще *нету*, он только завтра будет завтра, когда меня *не* будет!). Человека сущего я предоставляю всем, имеющее быть — мое...”

А 14—15 июля:

„Вы — чужой, но я взяла Вас в свою жизнь, я хожу с Вами по пыльному шоссе деревни и по улицам Праги... Я хочу, чтобы Вы росли большой и чудный и, забыв *меня*, никогда не расставались с тем — иным — *моим* миром!...”

„Я хочу от Вас — чуда. Чуда доверия, чуда понимания, чуда отрешенности. Я хочу, чтобы Вы, в свои двадцать лет, были семидесятилетним стариком — и одновременно семилетним мальчиком, я не хочу возраста, счета, борьбы, барьеров. Я не знаю, кто Вы, я ничего не знаю о Вашей жизни, я с Вами совершенно свободна, я говорю с духом... Все дело — в часе”.

К этому письму приложено первое стихотворение из цикла „Час души”.

25 июля:

„... Я хочу Вас безупречным, то есть гордым и свободным настолько, чтобы идти под упрек, как солдат под выстрелы: души моей не убьешь! Безупречность — не беспорочность, это — ответственность за свои пороки, осознанность их — вплоть до защиты их... Дружочек, нарушение формы — безмерность. Я неустанно делаю это в стихах, была моложе — только это и делала в жизни! Все пойму...”

По-видимому, в тот же день Марина получила письмо от Бахраха, в котором он как-то поддерживает ее представления. Она читает этот ответ в лесу, лежа в траве на склоне над домом и пишет ему „безмерный” ответ, в котором она развивает план: она хочет приехать в Берлин и встретиться

там с Бахрахом. Неудивительно, что молодой человек пугается и не отвечает.

На глазах читателя узел „романа в письмах” завязывается в душевную драму. Душа Марины глубоко влюбилась в душу придуманного ею волшебного существа; она далека от мысли, что она, наверно, сама виновата в том, что он замолк. С отчаянием она ждет ответа от Бахраха. 17 августа она коротко пишет:

„Я писала Вам дважды и ответа не получила... Если мои письма дошли — всякие объяснения Вашего молчания излишни, равно как всякие Ваши дальнейшие заботы о моих земных делах, с благодарностью, отклонены.

Письмо, оставшееся без ответа, это рука, не встретившая руки. Не мое дело — осведомляться о причинах, и не Ваше — о моих чувствах...”

27 августа она пробует еще раз:

„Я за этот месяц исстрадалась... ни на одно из моих последних писем я не получила ответа... Станьте на секунду мной и поймите, ни строки, ни слова, целый месяц, день за днем, час за часом... О, много было мыслей и возгласов и чувств. И такая боль потери, такая обида за живую мою душу, такая горечь, что — не будь стихи — я бы бросилась к первому встречному: забиться, загасить, залить. Друг, я не маленькая девочка (хотя — в чем-то никогда не вырасту), жгла, обжигалась, горела, страдала — все было — но ТАК разбиваться, как я разбилась о Вас, всем размахом доверия — о стену! — никогда. Я оборвалась с Вас, как с горы”.

По-видимому, в тот же день приходит какое-то известие от Бахраха, потому что 28 августа, вне себя от радости, она пишет ему и прилагает выдержки из дневника, написанные между 26 июля и 25 августа, которые она называет „бюллетень болезни”, и написанные для него стихи. Особенно хорошо передает ее настроение.

„ПИСЬМО”

Так писем не ждут,
Так ждут письма.
Тряпичный лоскут,

Вокруг тесьма
Из клея. Внутри — словцо
И счастье — И это — все.

Так счастья не ждут,
Так ждут — конца:
Солдатский салют
И в грудь — свинца
Три дольки. В глазах красно.
И только. — И это — все.

Не счастья — стара!
Цвет — ветер сдул!
Квадрата двора
И черных дул.

(Квадрата письма:
Чернил и чар!)
Для смертного сна
Никто не стар!

Квадрата письма".²⁸

Но в этом письме она пишет и другое:

„Мне предстоят трудные дни. Расстаюсь с Алей и отправляю ее в гимназию (в Моравию). С. уже там. У нас было решено, что Аля поедет с детьми (сейчас конец каникул, и дети съезжаются), а я перееду в Прагу, где у нас уже снята комната, и буду жить там. Вот те 2—3 свободные недели, о которых я Вам писала. Сегодня получаю письмо: мое присутствие необходимо, необходимо ввести Алю в гимназическую жизнь... Я сейчас на внутреннем (да и на внешнем!) распутье, год жизни — в лесу, со стихами, с деревьями, без людей — конец. Я накануне большого нового города (может быть — большого нового горя?!) и большой новой в нем жизни, накануне новой себя...²⁹

ГЛАВА 17

„1-го (сентября) я переезжаю в Прагу... У меня дом на горе — и весь город у ног...”

Так описывает Марина Цветаева свою комнату в „Švedská ulice” № 1373 на Смиховском пригорке. Оттуда открывается чудесный вид на город.

После переезда в Прагу, Цветаева отвезла дочь в интернат (как она говорит „в лагерь”) гимназии в Моравска Тржебова и осталась с ней там на несколько дней — с 8 до 16 сентября. Аля сразу же почувствовала себя в школе, как дома, и, наверно, была счастлива быть — наконец! — ребенком среди других детей. Здесь никто не принуждал ее вести себя, как знаменитый „вундеркинд”. Марина — разочарована. Она пишет Бахраху:

„Аля уже принята, сразу вжилась, счастливая, ее глаза единодушно объявлены звездами, и она, на вопрос детей (пятисот!), кто и откуда, сразу ответила „Звезда, и с неба!” Она очень красива и очень свободна, ни секунды смущена, сама непосредственность. Ее будут любить, потому что она ни в ком не нуждается. Я всю жизнь напролет любила *сама*,

и еще больше ненавидела, и с рождения хотела умереть, это было трудное детство и мрачное отрочество, я в Але ничего не узнаю, но знаю одно: она будет счастлива. — Я никогда этого (для себя) не хотела. И вот — десять лет жизни, как рукой снято. (Это — почти — что катастрофа. Меня это расставание делает моложе.) Десятилетний опыт снят, я вновь начинаю *свою* жизнь”.

Моравска Тржебова (Mährisch-Trübau) тогда была чисто немецким городком и напоминала Марине ее детские годы в Германии. Здесь, вдали от повседневных забот, она спокойнее вспоминает о своей летней любви.

„Воздух, которым я дышу — воздух трагедии; в моей жизни нет неожиданностей, п. ч. я их все предвосхитила, но — кроме внутренних, подводных течений есть еще: стечения, хотя бы обстоятельств, просто события жизни, которых не предугадаешь. У меня сейчас определенно чувство кануна — или конца. (Что, может быть, — то же!) ... Погодите отвечать, здесь ответов не нужно, ответ будет потом, когда я, взорвав все мосты, попрошу у Вас силы взорвать последний... Вы были первым — за годы, *кажется*, кто меня в упор (в пространство) окликнул. О, я сейчас расслышала, это был зов в ту жизнь... И я отозвалась, подалась на голос, который ощутила, как руку. ...Ведь я не для жизни. У меня все — пожар! Я могу вести десять отношений (хороши „отношения”!) сразу и каждого, *из* глубочайшей глубины, уверять, что он — единственный. А малейшего поворота головы от себя — не терплю. Мне *больно*, понимаете? Я ободранный человек, а Вы все в броне. У всех вас: искусство, общественность, дружбы, развлечения, семья, долг, у меня, на глубину НИ-ЧЕ-ГО. Все спадает, как кожа, а под кожей — живое мясо или огонь: я: Психея. Я ни в одну форму не умещаюсь — даже в наипростейшую своих стихов! Не могу жить. Все не как у людей. Могу жить только во сне...”¹

Но вдруг — удар грома! Через десять дней после этого письма, 20 сентября, Бахрах получает из Праги следующее известие:

„Мой дорогой друг, соберите все свое мужество в две

руки и выслушайте меня: *что-то* кончено. Теперь самое тяжелое сделано, слушайте дальше. Я люблю другого — проще, грубее и правдивее не скажешь. Перестала я Вас любить? Нет. *Вы* не изменились и не изменилась — я. Изменилось одно: моя болевая сосредоточенность на Вас. *Вы* не перестали существовать для меня, я перестала существовать в Вас. Мой час с Вами кончен, остается моя вечность с Вами. О, на этом помедлите! Есть, кроме страстей, еще и просторы. В просторах сейчас наша встреча с Вами... Как это случилось? О, друг, *как* это случается? Я рванулась, другой ответил, я услышала большие слова, проще которых нет, и которые я, может быть, в первый раз за жизнь. ... Что из этого выйдет — не знаю. Знаю: большая боль. Иду на страдание”.

Герой этого нового, на этот раз непридуманного романа Цветаевой, Константин Родзевич, принадлежал к кругу русской пражской колонии. Бывший офицер, теперь товарищ по школе и друг Сергея Эфрона. Еленев о нем отзывался очень злобно. Слониму он показался „себе на уме, хитроватым, не без юмора, довольно тусклым, среднего калибра”. Но Ариадна Эфрон яростно защищает его:

„Герой поэм был наделен редким даром обаяния, сочетавшим мужество с душевной грацией, ласковость — с ироничностью, отзывчивость — с небрежностью, увлеченность (увлекаемость) — с самоотверженностью, мягкость — с вспыльчивостью...”²

Ариадна Эфрон утверждает, что Родзевич всю свою жизнь чтит память Марины Цветаевой, что спас и сохранил ее письма, автографы ее стихов и, несмотря на войну, участие в сопротивлении против немцев, концентрационный лагерь — верно хранил все и в 1973 году передал в Москву в архив Цветаевой, которым заведовала Ариадна Сергеевна. Так же отзывался о нем в 1978 году Владимир Сосинский.

Роман продолжался лишь несколько недель. Уже 27 сентября Марина пишет одно из своих самых известных стихотворений „Пражский рыцарь”, в котором она обращается к маленькой статуе под Карловым мостом. Она особенно любит этого рыцаря и находит, что он похож на нее саму:

ПРАЖСКИЙ РЫЦАРЬ

Бледно-лицый
Страж над плеском века —
Рыцарь, рыцарь
Стережущий реку.

(О, найду ль в ней
Мир от губ и рук?!)
Ка-ра-ульный
На посту разлук

Клятвы, кольца...
Да но камнем в реку —
Нас-то — сколько
За четыре века!..³

Между этим моментом и горьким сознанием — 12 декабря 1923 года остаются только несколько коротких недель. В этот день Марина, „чтобы понять”, „окунет в стихи, чтобы оттуда увидеть” то, в чем она раньше, наверно, себе не хотела сознаться:

Ты, меня любивший фальшью
Истины — и правдой лжи,
Ты, меня любивший — дальше
Некуда! — За рубежи!

Ты, меня любивший дольше
Времени. — Десницы взмах! —
Ты меня не любишь больше:
Истина в пяти словах.⁴

Для такой женщины, как Марина Цветаева, возможен только один выход из такого положения: она порывает со страстно любимым человеком „в полном разгаре любви”, как она сообщает Бахраху:

„С ним я была бы *счастлива* (никогда об этом не думала!). От него я бы хотела сына... Остается одно: стихи...”

В „Поэме Горы” и „Поэме Конца” Цветаева подробно описала, как и что привело к разрыву. Первую она пишет между 1 января и 1 февраля 1924 года; вторую она начинает того же 1 февраля, но занимается ею до 8 июня⁵. Она пишет Пастернаку:

„Гора раньше и — мужской лик, с первого горяча, сразу высшую ношу, а Поэма Конца уже разразившееся женское горе, грянувшие слезы, я, когда ложусь, — не я, когда встаю! Поэма Горы — гора с другой стороны увиденная. Поэма Конца — гора на мне, я под ней”⁶.

Эти „поэмы” принадлежат к лучшим произведениям Цветаевой: рифмы как будто скачут и обгоняют друг друга. Содержание — все та же, всегда современная, всегда повторяемая тема, о разочарованной женской любви. Здесь, можно сказать — воистину — женщина высказывает все, что переживает женщина. Сегодня мы это принимаем и ценим мастерство поэта. Но тогда этот неприкрашенный, настоящий и правдивый прорыв вызвал возмущение большей части живущих на Западе русских писателей: начиная от Горького и до Бунина — все упрекали Цветаеву за ее стилистические и рифмические новаторства и за „бестактность” выражения. Ко всему прибавился скандал, который в замкнутом круге пражской эмиграции не мог остаться незамеченным и послужил темой бесконечных разговоров и сплетен.

Несмотря на все эти переживания, жизнь Марины текла дальше. В Прагу часто съезжались писатели и люди, близкие к литературе. Между 4 ноября и 6 декабря 1923 года здесь пробыли Владислав Ходасевич и Нина Берберова; они ехали к Максиму Горькому. Марина часто их видела, но между ними тесной дружбы не завязалось⁷. Владимир Набоков тоже вспоминает „странную *лирическую прогулку*, в 1923-ем году, что ли, при сильном весеннем ветре по каким-то пражским холмам”, которую он совершил с Цветаевой⁸.

Кажется, и Андрей Белый думал поселиться в Чехословакии насовсем. В день своего окончательного отъезда в Россию он обратился к Марине, с отчаянием прося ее помочь получить разрешение на въезд в Чехию.

Частым гостем в Праге был Ф. А. Степун; он жил в Германии, но приезжал в Прагу читать лекции. Он предложил Марине работать литературным критиком.

„Хочет сделать меня критиком, я артачусь, ибо не критик, а апологист”, — объясняет она Гулю 10 апреля 1924 года.

Жизнь в „доме на горе” принесла Марине и радостные, спокойные дни. В соседней квартире поселилась с 15-летней дочерью Ариадной Ольга Колбасина-Чернова, которая только что развелась с Виктором Черновым, последним председателем партии социалистов-революционеров. Она и ее три дочери провели несколько недель на Лубянке, когда Ариадне было лишь 10 лет⁹. Адя Чернова и Аля Эфрон так же, как и их матери, сразу же подружились. В своих воспоминаниях Ольга Чернова описывает, как на следующий же день после ее прибытия на новую квартиру, она увидела молодую женщину, которая протянула ей сухую, жилистую руку и сказала:

„Я Ваша соседка, Марина Цветаева-Эфрон. Я пришла, чтобы попросить Вас одолжить вилки и ложки. Сегодня вечером приходят гости, а нам не хватает”.

У Ольги Черновой тоже почти ничего нет; она может предложить только корсиканский кинжал, от которого соседка приходит в восторг. Их дружбу скрепляет обоюдное восхищение Пастернаком: часами они читают наизусть стихи из „Сестра моя жизнь”. Ольга Чернова рассказывает некоторые интересные подробности о Цветаевой:

„Вскоре я узнала ее привычку писать с самого раннего утра. Никакие силы, никакие обязательства не могли заставить ее уклониться от этой работы. Когда приехала из пансиона ее дочь, десятилетняя Аля, Марина заставляла ее по утрам убирать комнату, готовить обед, а потом, через два года, нанять новорожденного брата, из-за чего Аля не могла поступить в школу и систематически учиться. Впрочем, это не мешало ей писать грамотно на двух языках и приобрести много знаний и, все это своими силами и способностями. Марина говорила: 'Или я — моя жизнь, то есть

мое творчество, или она, еще не проявившая себя, еще в будущем. А я уже *есмь* и стихами жертвовать не могу' ”¹⁰.

Марина Цветаева очень хорошо понимала, что жизнь Али — не из легких. Она сказала Ольге Черновой:

„Аде, 15-ти лет, сидеть ночи подряд над *чужими* куклами, и Але, 11-ти весь день метаться от метлы к сорному ящику, когда сотни тысяч *ничтожеств* того же возраста, челюсти себе смещают, вызывая золотой свободный бесконечный богатый день — дуб, кто этого не чувствует, и негодяй, кто не вступается!”¹¹

Но факт налицо: школьное образование Али продолжалось только один год. Она сама пишет, что у нее в легких были обнаружены пятна.

После окончания длинных лирических поэм летом 1924 года Цветаева опять вернулась к работе, начатой ею еще год тому назад, во время эры Бахраха: драматизации темы о Тезее. Ей хотелось представить Тезея, как героя, которому везло во всех его предприятиях, но не имевшему счастья в любви. Она хотела сделать Тезея центральной фигурой трилогии. Первая часть „Ариадна” — юность героя; вторая „Федра” — его зрелые годы и третья „Елена” — его старость. Уже весной 1923 года она написала несколько стихов, которые показывают, что она усиленно занималась греческой мифологией; темы и мотивы больше всего были заимствованы у Густава Шваба. Но после событий 1923 года Марина создала совершенно новую концепцию задуманного произведения: Тезей покидает спящую Ариадну на острове Наксос, потому что только через принесенную им жертву может осуществиться ее, предначертанная ей богами, судьба. Третья часть трилогии никогда не была написана¹².

Осенью 1924 года семья Эфрон переселилась в другую деревню близ Праги, Вшеноры, гораздо менее живописный пригород. Мать и дочь Черновы переехали в Париж, где уже жили старшие дочери-близнецы Ольги Елисеевны от первого брака. Благодаря этому мы очень хорошо осведомлены о следующих месяцах (до 26 октября 1925 года) в жизни Цветаевой: она и Ольга Чернова много и часто писали друг

другу. В этой корреспонденции меньше говорится о высоких вопросах поэзии и этики, а больше о маленьких, иногда мелочных, повседневных беженских заботах в безрадостных Вшенорах.

Хотя Эфроны жили здесь под одной крышей, но они мало видели друг друга. Сережа все еще учился в городе и, при этом, занимался другими, очень интересными, но никак не оплачиваемыми делами: он участвовал в издании левой студенческой газеты „Своими путями”; вместе с Мариной и В. Ф. Булгаковым он редактировал сборник „Ковчег”, в котором в первый раз была напечатана „Поэма Конца”; был членом правления Союза писателей в Праге и, кроме всего, с увлечением отдавался своему любимому занятию — театру. В то время, когда он рано утром уезжал в Прагу и поздно ночью возвращался домой, Марина, как и другие жены эмигрантов, сидела в своей убогой квартире и старалась своим писанием заработать деньги на повседневные нужды семьи. Плата, которую „Воля России” давала за ее сотрудничество, была главным источником ее дохода; вторым были стипендии чешского правительства. Во Вшенорах Марина не могла совершать длинные прогулки, так необходимые для ее душевного равновесия, как в лесах и на холмах около Мокропсов. Легко можно себе представить, насколько плохо было ее настроение. Она пишет Ольге Черновой 25 января 1925 года:

„Вы помните Катерину Ивановну из Достоевского? — Я — Загнанная, озлобленная, негодующая, в каком-то исступлении самоуничтожения и обратного. Та-же ненависть, обрушивающаяся на невинные головы. Весь мир для меня — квартирная хозяйка Амалия Людмиловна, *все* виноваты. Но яростность чувств не затемняет здравость суждения, и это самое тяжелое”.

Марина знает, что ей придется остаться во Вшенорах по крайней мере еще на год.

„Я в ящике без воздуха, не скрываю, это не жизнь, для жизни (без людей) нужна природа, *новая* природа с голосами, заменяющими людские — нужна свобода — у меня ни

того, ни другого, ни десятого, у меня своя тетрадь. И так еще год! (Я о своей душе говорю, о главной, о требовательной, о негодующей себе!)”

Гости из Праги приезжают редко:

„Людские посещения мне мало дают. Первая минута радость (от перемены! нарушения хода) — и сразу примус, печь, посуда, мыть, варить — ничего не успеваешь, все грязное, все жжется, потом наспех стихи прочесть — и уже темно — и уже люди спрашивают про поезда. Кроме того, не умею на людях, мне нужны не люди, а человек — один — упор — хотя бы одного вечера”.

Причина трудностей Марины и ее плохого настроения не только душевная: она ожидает своего третьего ребенка — сына, которого она, как она пишет, обещала мужу. Она совершенно уверена, что это будет сын. Она сидит дома, вяжет неуклюжие шарфы и мало пишет. Когда вдруг на нее обращает внимание литературный мир — Анна Тескова приглашает ее прочесть лекцию в „Едноте”, ее первая реакция — отказаться. Но она просит Тескову посетить ее во Вшенорах.

„Жду визита одной чешки — пожилой и восторженной, которая пригласила меня читать лекцию о чем хочу в Карловом университете, 7-го мая 1925-го в 7 часов вечера, на что ей было объявлено о моих собственных 7-ми месяцах и гадательных еще часах и датах определенного февраля 1925-го года. Жаль, что она не акушерка! С деловым (у Достоевского — умным) человеком и поговорить приятно. Но она, увы — старая дева!”¹³

Точно не известно, посетила ли Анна Тескова Цветаеву во Вшенорах в январе или феврале. Но этим письмом о лекции Марины в Карловом университете начинается регулярная переписка с „пожилой и восторженной чешкой”, которая кончается только в день отъезда Цветаевой в Советский Союз¹⁴. С этого дня мудрая чешка, на много лет старше нее, осторожно и благотворно вмешалась в жизнь писательницы; она умела подбодрить ее, незаметно и тактично помочь. Может быть, письма Тесковой, проникнутые участием, материнской заботой и теплотой, особенно способст-

вовали тому, что Цветаева, опять и опять, находила силы для преодоления всех трудностей и катастроф; может быть, жизнь Цветаевой не пришла бы к ужасному концу в Елабуге, если бы Анна Тескова была как-нибудь достигаема. А Марина любила своего чешского друга до конца своей жизни.

В письмах Анне Тесковой Марина часто упоминает некоего М. Л. Не трудно догадаться, что это тот же человек, который в письмах Черновой называется „дорогой“, и что к этому „дорогому“ Марина равнодушна. Это — Марк Львович Слоним — написал в 1970 году теплые слова о своей дружбе с Мариной Цветаевой¹⁵: он говорил, что после разрыва с Родзевичем Марине Ивановне особенно нужно было „дружественное плечо, в которое можно зарыться, уткнуться — и забыться...“. Но тут произошло „столкновение индивидуальностей, темпераментов и устремлений“.

И далее:

„...во-первых, как обычно, М. И. создала обо мне некую иллюзию: она представляла себе меня как воплощение духовности и всяческих добродетелей, совершенно не зная ни моей личной жизни, ни моих наклонностей или страстей или пороков. Поднявшись в заоблачную высь, она недолго в ней парила, и приземление, как всегда, причинило ей ушибы и страдание“.

Слоним находит еще причину для „трещины в их отношениях“:

„Во-первых: она от близких требовала безраздельной отдачи, безоглядного растворения, включая жертву, причем хотела, чтобы принес ее не слабый, а сильный человек, слабого она бы презирала“.

Слоним не придуманный мифический герой, а настоящий живой человек во плоти и крови, с которым при каждой встрече заново приходится объясняться. Поза идеала Марины — Татьяны из „Евгения Онегина“ — тут неприменима.

„Из многих людей — за многие годы — он мне самый близкий: по не — мужскому своему, не — женскому — третьему царству — облику, затемняемому иногда — чужими

глазами навязанным... А что больно мне от него было (и, наверно, будет!) — Господи! От кого и от чего в жизни мне не было больно, было *не* больно?.. и если бы не захватанность и не *страшность* этого слова (не чувства!) я бы просто сказала, что я его — люблю”, — пишет она О. Е. Черновой 10 мая 1925 года.

На фоне этого признания становится совершенно понятной злостная и даже коварная реакция Марины, когда она замечает, что между ними „нет того идеального согласия — литературного и личного — о каком она мечтала...” — как выражается Слоним.

19 ноября Марина пишет свою знаменитую „Попытку ревности”. Актуальная причина к этому подробно описана в письме к Черновой от 17 ноября 1924 г. 3 декабря она пишет Черновой:

„Посылаю ему на Новый год мой стих, что Вам послала („... Как живется Вам...”). Пусть резнет по сердцу или хлестнет по самолюбию (в тот вечер, по крайней мере, ему будет отравлена его „гипсовая тетрадь”).

Как живется вам с другою —
Проще ведь? — Удар весла! —
Линией береговую
Скоро ль память отошла

Обо мне, плавучем острове
(По небу — не по водам)!
Души, души! — быть вам сестрами,
Не любовницами — вам!

.....

Ну, за голову: счастливы?
Нет? В провале без глубин —
Как живется, милый? Тяжче ли,
Так же ли как мне с другим?¹⁶

В Советском Союзе много спорили о том, кому на самом деле Цветаева посвятила эти стихи. Может быть, она все-таки обращается в них к Родзевичу? Но письма к Черновой отвечают на этот вопрос. Понятно, что могли быть и сомнения, потому что Цветаева не раз посылала этот взрыв гнева и другим — тем, которые в это время были в немилости.

А как отнестся к стихам сам Слоним? Он осторожно писал:

„Трещина в наших отношениях произошла в конце 1924 — начале 1925-го года, когда выяснилось, что у нас нет того идеального согласия — литературного и личного — о каком она мечтала. Да, наши основные взгляды на поэзию, и вообще на творчество слова, совпадали, но ряд моих мнений и оценок расходились с Мариниными, и несмотря на ее „попытки терпимости“, как я их насмешливо называл, она ощущала недовольство и разочарование...”¹⁷.

Слоним остался верным другом Цветаевой до конца ее жизни, после ее смерти и до конца своих собственных дней.

Мне посчастливилось несколько раз встретиться с Марком Львовичем между 1973 и 1976 годами в его квартире в Женеве. Как-то зашла речь и о „Попытке ревности“. Как сейчас вижу перед собой, как он вдруг схватился за ручки кресла и прошептал:

„Иногда с ней было трудно. Но она была великий человек. То, что я хотел сказать о ней, я уже написал. Все остальное я возьму с собой в могилу!”

ГЛАВА 18

Рождение 1 февраля 1925 года сына Георгия в жизни Цветаевой бóльшая „цезура”, чем, например, переезд в Париж. Если уже и раньше работы и заботы по хозяйству приносили ежедневные трудности, то это были мелочи в сравнении с тем, что прибавилось с появлением в доме новорожденного. К тому же неумение Марины справляться с практическими задачами осложняло положение. Ребенок требовал все время: он стал центром ее жизни. Марина перенесла на сына весь накопившийся в ней избыток любви — той любви и нежности, с которой ни ее муж, ни герои ее „романов” не знали, что делать. Теперь в ее жизни маленький Георгий начал играть первую скрипку, и Марина беспрекословно подчинялась.

Ребенок родился на две недели раньше предполагаемого срока, в воскресенье, во время страшной снежной бури. Он не дышал и был без сознания, и только быстрая помощь русского врача Альтшюлера спасла его жизнь. Вначале помогали соседки-подруги (Цветаева несколько раз упоми-



Приблизительно 1925 год

нает Анну Ильинишну Андрееву, вторую жену Леонида Андреева, и Марию Сергеевну Булгакову), но, без сомнения, вся тяжесть увеличившейся семьи легла на слабые плечи Али. Марина описывает Анне Тесковой — она уведомила ее раньше всех о рождении сына — новые затруднения теперешней жизни:

„С прислугой пока ничего, местные (поденные) очень дороги, 12—15 кр. в сутки, жить не идут... У С. Я. в ближайшие дни 3 экзамена (Нидерле, Кондаков и еще один), и он весь день в библиотеке. Весь дом остается на Але, ибо я даже если встану, недели две еще инвалид, то есть долженствую им быть. Я не жалуюсь, но повествую (и все это конечно минет)“¹.

И дальше:

„Большая просьба, м. б. нескромная: не найдется ли у когонибудь в Вашем окружении простого стирающегося платья? Я всю зиму жила в одном, шерстяном, уже расползшемся по швам. Хорошего мне не нужно — все равно нигде не придется бывать — что-нибудь простое. Купить и шить сейчас безнадежно: вчера 100 крон акушерке за три посещения, на днях 120—150 крон угольщице за десять дней, залог за детские весы (100 крон), а лекарства, а санитария! — о платье нечего и думать! А очень хотелось бы что-нибудь чистое к ребенку. Змея иногда должна менять шкуру“.

Подарки для ребенка посыпались со всех сторон. Редакция „Воли России“ подарила детскую коляску, за которую, если верить Слониму, Марина по-настоящему даже не поблагодарила.

Сына Марина непременно хотела назвать Борисом — „В честь моего любимого современника, Бориса Пастернака“. Только после долгих уговоров мужа столковались на имени Георгий. Марина признается Ольге Черновой, почему она согласилась на это имя:

„Итак, мальчик — Георгий, а не Борис; Борис так и остался во мне, в нигде, как все мои мечты и страсти. Жаль... Назовя этого Георгием, я тем самым сохраняю право на его Бориса, него Бориса, от него — Бориса — безумие? Нет,

мечты на будущее... с Б. П. мне вместе не жить. Знаю. По той же причине, по тем же общим причинам (С. и я) почему Борис не Борис, а Георгий; трагическая невозможность оставить С. и вторая, не менее трагическая, из *любви* устроить *жизнь*, из вечности — дробление суток. (С Б. П. мне не жить, но сына от него я хочу, *что-бы в нем через меня жил*. Если это не сбудется, не сбылась моя жизнь, замысел ее..."²

Борис Пастернак — это олицетворение светлого, легкого мира. Мечты об этом мире появляются в стихах „Русской ржи от меня поклон“, которые в эти дни Марина пишет для Пастернака. Ими заканчивается сборник „После России“:

...Дай мне руки — на весь тот свет!
Здесь мои обе заняты.

8 июня 1925 г., в Духов день, отец Сергей Булгаков крестил маленького Георгия во Вшенорах. Крестной матерью была Ольга Чернова, а отцом Алексей Ремизов. Вскоре за ребенком укоренилось уменьшительное имя Мур, которое за ним и осталось.

Теперь нельзя было даже думать о прогулках, которые так любила Марина. Деревенская грязная улица во Вшенорах оказалась почти непреодолимым препятствием для детской коляски. Когда же настало теплое летнее время, то Марина проводила долгие часы в одной „беседке, стоящей прямо в навозе“. Пока Мур спал в своей коляске, Марина написала там большую часть своей лирической сатиры „Крысолов“ — одно из лучших ее произведений. В черновых тетрадях архива Цветаевой, который находится в Москве, это произведение, написанное на 300 страницах большого формата, включает в себе до 10 разных вариантов некоторых мест.

Вскоре поэма „Крысолов“ стала печататься в „Воле России“, в нескольких номерах. Таким образом, газета была обеспечена материалом почти на целый год³. Впервые идея этой сатиры пришла Цветаевой уже осенью 1923 года в Моравской Тржебове. Городок послужил ей моделью „Горо-

да Гаммельна", сытого, буржуазного немецкого города. Это легенда о „крысолове" отомстившем зажиточным жителям (которые плохо отнеслись к нему): он увлекает за собой — игрой на флейте — всех детей и ведет их в пропасть смерти. В „Крысолове" чувствуется многое, что можно понять как презрение и неприязнь к сытым буржуам и богатым; это, несомненно, чувства, восходящие к далекому детству Марины, и возникшие под влиянием ее матери, относившейся с презрением ко всякому чванству и хвастовству богатых; но тут встречается и беспомощная злоба маленькой Марины против пошлости немецкого пансионата Бринк во Фрейбурге и раздраженность против некоторых типов, встретившихся ей в эмиграции. А крысы, наводнившие город, употребляют большевистский жаргон ранних двадцатых годов.

На Пасху 1925 года Сергей Яковлевич играл с большим успехом в пьесе Островского, поставленной в студенческом театре. По этому случаю Марина, в первый раз после рождения сына, поехала в Прагу. Но в других делах его преследовали неудачи: за день до назначенного экзамена у профессора Кондакова — знаменитый ученый скончался⁴. Студенческая стипендия не была продолжена. К довершению всех трудностей у Сережи опять появились симптомы его старой болезни легких; пришлось лечь на несколько недель в русский госпиталь Земгора. Из писем этого времени видно, что Цветаева все больше и больше начинает думать о том, как создать для своей семьи более надежный образ жизни. Все чаще и чаще появляется мысль — вначале скорее как шутка — о переезде в Париж. В Чехословакии она страдает от своей бедности, но, по-видимому, совсем не отдает себе отчета в том, что и в Париже жизнь беженцев нелегка. Она не может понять, отчего умная, талантливая Чернова работает на фабрике, и удивляется, что она ни с кем не встречается и, например, даже еще не познакомилась с Бахрахом.

Летом Цветаева прерывает свою работу над „Крысоловом". Узнав, что ее старый враг, Брюсов, умер в Москве,

она начинает писать воспоминания о нем. Но из задуманного ею короткого очерка вышел глубокомысленный литературный портрет писателя⁵.

„Вышло, как всегда, впятеро длинней, чем думала, вместо анекдотических записей о Брюсове-человеке — оценка его поэтической и человеческой фигуры с множеством сопутствующих мыслей. (Любопытно, как Вам понравится.) Задача была трудная; вопреки отталкиванию, которое он мне (не одной мне) внушал, дать идею его своеобразного величия. Судить, не осудив, хотя приговор казалось — готов”⁶.

Эта статья о писателе Брюсове, „Герой труда”, заключает в себе несколько открыто антикоммунистических мест; здесь писательница не скрывает свои политические убеждения. Но в Советской России все еще печатали ее произведения и, хотя бы поэтому, то, что она писала, было не дипломатично. Может быть, в этом и заключается причина, по которой Горький так яростно отверг „Героя труда”. В письме, написанном 20 декабря 1925 года Горьким Ходасевичу, он выразился весьма отрицательно об этой статье⁷. Так как каждое слово Горького имело огромный вес в Советской России, Цветаева обзавелась там новым мощным противником. Когда же, приблизительно в то же время, в парижских „Современных Записках” появились ее „Мои службы — сатирическое описание революционной Москвы и работы в „Наркомнаце” — ее, раз навсегда, заклеили все „власть имущие” в литературном московском мире. Ее работы больше не печатались, а если и упоминались еще, то только в отрицательном смысле⁸.

Но на этом не кончилось: откровенность и отсутствие какой-либо литературной критики — что очень характерно для Цветаевой, — настроили против нее и национально чувствующие круги эмигрантов. Незадолго до отъезда из Чехословакии она написала две короткие статьи, первая из которых, „Возрожденщина”, — яростное нападение на „правую” парижскую газету „Возрождение”, потому что та позволила себе раскритиковать журнал „Своими путями”,

редактируемый ее мужем⁹. Во второй статье, ответе на анкету журнала „Своими путями”, где нескольким русским писателям эмиграции был поставлен вопрос: „Что вы думаете о Советской России и возможно ли возвращение туда?”, Цветаева ответила:

„Родина не есть условность территории, а непреложность памяти и крови. Не быть в России, забыть Россию — может бояться лишь тот, кто Россию мыслит вне себя. В ком она внутри — тот потеряет ее лишь вместе с жизнью... Лирикам же, этикам и сказочникам, самой природой творчества своего дальноржим, лучше видеть Россию издалека — всю — от князя Игоря до Ленина — чем кипящей в сомнительном и слепящем котле настоящего. Кроме того, писателю там лучше, где ему меньше всего мешают писать (дышать). „Но пишут же в России!” — Да, с урезами цензуры, под угрозой литературного доноса, и приходится только дивиться героической жизнеспособности, так называемых, советских писателей, пишущих, как трава растет из под тюремных плат — невзирая и вопреки. Что до меня — вернуться в Россию не допущенным „пережитком”, а желанным и жданным гостем”¹⁰.

Эти слова обращены ко всем тем, которые были за безусловное возвращение, то есть и к ее собственному мужу.

То, что Цветаева говорила о национализме, совершенно не совпадало с мнением широких кругов эмиграции. В своих письмах она еще яснее говорит об этом:

„Чувствую вообще отвращение ко всякому национализму *вне* войны. — Словесничество. — В ушах навязло. Слова „богоносец” *не* выношу, скриплю. „Русского Бога” топлю в Днепре, как идола. Гуль, народность — тоже платье, м. б. — кожа, м. б. седьмая (последняя), но *не* душа”¹¹.

Цветаева не хотела даже быть „русским писателем”: два года спустя она писала Рильке, по-немецки:

„Писать стихи, это уже переводить — из родного языка, на другой язык — на французский, или немецкий — это сводится к тому же. Ни один язык не есть — родной язык. Стихи — это повторение уже сказанного. Поэтому мне не

понятно, когда говорят о французских или русских или других поэтах. Я не русский писатель и мне всегда кажется странным, когда меня за такового считают и принимают. Именно поэтому делаются поэтом (если бы это вообще было возможно *стать* поэтом, если бы не *быть* уже таковым!) чтобы не быть французом или русским, а быть *все*... Национальность — это скрытность, замыкание в себя. Орфей разверзает национальность или растягивает ее так широко, что в ней помещаются все (бывшие и настоящие)»¹².

Легко можно себе представить, что в результате таких выпадов популярность Цветаевой среди ее соотечественников в Праге не увеличивалась. Чем дольше затягивалось их возвращение домой — некоторым, более прозорливым, уже стало ясно, что их пребывание за границей так скоро не кончится — тем сильнее росла тоска по потерянной родине, любовь к России. Многим также не нравились политические взгляды Сергея Яковлечича. „Марину Цветаеву я помню по Праге, — пишет один старый эмигрант в частном письме. — Она была еще юной, но ее, бедную, все сторонились. К ней относились с опасением — и все это из-за ее мужа. Он, действительно, был очень неприятным господином, даже на первый взгляд”.

Летом 1925 года все чаще и чаще проглядывает в письмах Марины страх перед второй зимой во Вшенорах:

„О зиме здесь не хочу думать: тупеешь (черная работа, гуси), я озлеваю (тоже). С. вылезает из последних жил, а бедный Мур — и думать не могу о нем в копоты, грязи, сырости, мерзости. Растить ребенка в подвале — растить большевика, в лучшем случае вообще — бомбиста. И будет прав”¹³.

Ольга Чернова была настоящим, верным другом: она пригласила Марину приехать в Париж и поделить с ней ее квартиру. Вначале шла только речь о литературном вечере, с помощью которого Марина надеялась улучшить свое финансовое положение. В письме Тесковой она пишет:

„Вопрос и просьба: не могли бы Вы похранить у себя некоторое время нашу корзинку с вещами? Некоторое вре-

мя, потому что: либо через три месяца вернусь, либо, еще устроюсь в Париже (в чем *очень* сомневаюсь). С. Я. ее мне вышлет "par petite vitesse"... Заграничный паспорт на днях будет, визу М. Л. обещал достать, денег пока нет. Еду с Алей и Муром... Как поеду — не знаю: ужасающе — неприспособлена... Не знаю, например, как устроить питание Георгия? Ест он 4 раза в сутки и ему все нужно греть. Как это делается? Спиртовку ведь жечь нельзя... Никому не рассказывайте о моем отъезде, то есть о *возможности* моего невозвращения, и, если вернусь, помогите мне устроиться в Праге, где-нибудь на окраине, хорошо бы — недалеко от Вас. Мы бы вместе ходили и бродили. Жизнь за городом не в меру тяжела — даже мне. (Столько лишней работы и такая дороговизна на все, кроме жилища)".

„(Насчет Парижа) еду не в Париж (не люблю залюбленных мест, как залюбленных людей: всегда подозрительно!), а вообще еду — надо же куда-нибудь! А в Париж — потому, что там мне обещают устроить выступление (заработок) и — потому, что там друзья. У меня их мало”¹⁴.

Слоним пишет:

„У меня не было уверенности, что М. И. найдет во Франции осуществление всех своих планов, но спорить с ней я не хотел, тем более, что отъезд ее был сопряжен со множеством практических и денежных трудностей, и она просила меня о помощи... Я был хорошо знаком с французским консулом и достал для Эфронов необходимую визу. Затем нужно было закрепить за М. И. чешскую писательскую субсидию и аванс из „Воли России”. Под эти будущие блага Тесковой удалось устроить заем у одной знакомой дамы, и 31-го октября 1925 года, временно оставив мужа в Праге, М. И., дрожа и волнуясь, пустилась в путь с Муром и Алей. В том же поезде ехала Анна Ильинична Андреева, взявшая на себя всякие пугавшие М. И. хлопоты, вплоть до кормления десятимесячного младенца”¹⁵.

С этим отъездом кончился для Марины четырехлетний период ее жизни. Наверно, она только смутно подозревала, что это был один из богатейших, благотворнейших перио-

дов ее жизни. Этот отъезд, о котором она так мечтала, настраивает ее грустно:

„Прага, по существу, тоже такой город — где только душа весит. Я Прагу люблю первой после Москвы и не из-за „родного славянства“ — из-за собственного родства с нею, за ее смешанность и многодушие. Из Парижа, думаю, напишу о Праге — не в благодарность, а по влечению. Издалека все лучше вижу”.

Еще раз вспоминает она „Пражского Рыцаря”, который представляется ей символом и олицетворением ее жизни в Праге. „Для меня он символ верности (себе! не другим)”¹⁶.

Творчество Марины Цветаевой за эти три года в Чехии достигло высшей точки ее совершенства. То, что она, позже, говорит о своем поэтическом сборнике „После России”, относится и к другим произведениям этого времени:

„Из 153 стр. текста — 133 стр. падают на Прагу. Пусть чехи убедятся, что не даром давали мне иждивение все эти годы”¹⁷.

ГЛАВА 19

Материалов к истории русской эмиграции во Франции осталось гораздо больше, чем в Чехословакии. Существуют воспоминания, письма, несколько ценных книг о литературе — в первую очередь здесь нужно назвать фундаментальный труд Глеба Струве¹ — но, несмотря на все это, русская эмиграция во Франции (и вообще) еще ждет своего историко-графа. Задача трудная, ибо во время многочисленных катастроф последнего полувека исчезло много первоисточников. Описание судьбы русской эмиграции на Западе не может быть целью этой книги, хотя понять жизнь Марины Цветаевой за рубежом можно только, если представить себе фон, на котором протекала эта жизнь. В противном случае легко можно прийти к слишком черным выводам.

Причин, по которым русские беженцы так стремились попасть именно в столицу Франции, несколько: сюда, несомненно, нужно причислить и традиции XIX века, и наверное представление о Франции, которое создали в начале XX века московские и петербургские писатели-франкофилы и

богатые путешественники или люди, имеющие квартиры в Париже; они знали и передавали французскую действительность только частично. Когда в 1920—1922 гг. большое количество беженцев приехало во Францию, то Париж уже был политическим центром русской эмиграции; здесь с 1919 года существовало т. н. „Русское Политическое Собрание“, сюда съехалось большинство дореволюционных политических деятелей, и с первого момента началась литературная жизнь. Особенно интеллигенция стремилась закрепиться в Париже, хотя французское правительство этому никак не способствовало. Разрешение на постоянное жительство было связано с большим количеством неприятных бюрократических ходатайств и, хуже всего, разрешение на работу обладателям Нансенского паспорта давалось только для самой черной работы, как, например, на автомобильные заводы Рено в Бийанкур, чистки уборных и вагонов французских железных дорог и т. д. Оставались такие вольные профессии, как водители такси, кельнеры, певчие и музыканты в русских ресторанах, тренеры тенниса, учителя разных языков; женщины, повелевавшие раньше зачастую многочисленной прислужкой, сами сделались горничными, модистками, портнихами. Многие из бывших офицеров и молодых людей без образования поступили в Иностранный Легион, где некоторые из них с успехом делали военную карьеру в чужой армии, как, например, французские генералы Пешков и Андоленко.

Несмотря на все это, во Франции в 1925 году постоянно жило свыше 150 000 русских эмигрантов, большинство из них в Париже. Это были бывшие помещики, промышленники, офицеры, простые, одинокие солдаты или интеллигенты различных оттенков, среди них особенно много литераторов. Можно себе легко представить, что таким людям было особенно трудно привыкнуть к новой обстановке. Но нужно особенно подчеркнуть, что им это часто удавалось, что очень многие из них своими самоотверженными усилиями не только сами пережили тяжелые времена, но и поставили на ноги своих детей. Они продолжали писать и думать, что им

хотелось, и всем этим внесли ценнейший вклад в русскую культуру. Следует добавить, что большая заслуга в этом принадлежала тем терпеливым героическим русским женщинам, которые, ко всему прочему, безропотно несли тяжесть ежедневного быта и семьи; и прямым олицетворением таких женщин была Марина Цветаева.

Столицей русского зарубежья Париж стал также потому, что здесь происходило много культурных событий. Здесь было сконцентрировано большинство из приблизительно 300 разных обществ и объединений — культурных, политических, общественных, благотворительных; здесь в 1925 г. на территории Сергиевского Подворья на Rue de Crimée, был основан Богословский Институт, огромную роль которого в связи с ознакомлением и сближением восточного и западного христианства невозможно переоценить. Некоторые из русских газет и журналов имели свои редакции в Париже. Они сильно влияли на русскую культурную жизнь уже тем, что давали своим сотрудникам плохо оплачиваемую, но постоянную работу и печатали (даже если они за это платили только гроши) сочинения писателей и поэтов. Для многих эти деньги были их главным доходом.

В Париже тогда существовали следующие газеты: „Последние новости” (1920—1940) под редакцией П. Н. Милюкова, где с самого начала писали все знаменитые и менее знаменитые литераторы; „Возрождение” (1925—1936), газета правых кругов, где участвовали Бунин, Зайцев, Шмелев и другие. Кроме того, был в Париже „толстый” журнал „Современные записки” (1921—1940) левого направления, под редакцией М. В. Вишняка, где печатались Бердяев, Шестов, о. Сергей Булгаков, Мережковский, З. Гиппиус. В первом же году появились там стихи Марины Цветаевой, привезенные на Запад в 1920 году К. Бальмонтом, с его уже упомянутым предисловием². Были и другие литературные журналы: „Русская мысль” (1921—1927), под редакцией П. Б. Струве, и „Звено” (1923—1928), где главным литературным критиком был Георгий Адамович.

Литературная деятельность кипела не только в редак-

циях, но, как когда-то в Москве и Петербурге, в разных *café*. Центром русской литературной жизни в Париже стал холм Montparnasse, где, главным образом, по ночам, после работы, регулярно встречались интеллектуальные группы и группировки в *café* "Napoli", "Select" и "La Bolle".

Ведущую роль на Монпарнассе играл петербуржец Георгий Адамович. Он, ученик Гумилева, продолжал писать по всем канонам акмеизма, в то время как его основоположники (Ахматова, Гумилев и Мандельштам) от него скоро отошли. Адамович, как строгий критик, требовал от парижских поэтов соблюдения этой традиции; он был изобретателем так называемой „парижской ноты". Неудивительно, что найти себе место в таком климате для Цветаевой было трудно.

О „литературном Монпарнассе" много написано. Эренбург, когда он приехал из Москвы, был постоянным посетителем „Ла Болл". Молоденькая Зинаида Шаховская, приехавшая в Париж впервые в 1924 году, смотрела на эти „ночные монпарнассские русские сиденья" немного со стороны, хотя „ведь все были в те времена бездомными, ютились где-то, куда и позвать никого нельзя было. Кафе было клубом, спасением от одиночества". И далее: „Нельзя забыть и благодетельное присутствие... нескольких материально обеспеченных молодых еврейских женщин, верных попечительниц эмигрантской литературы. Они устраивали балы и вечера, распространяли и покупали билеты, собирали деньги на издания сборников стихов, утешали и подкармливали, иногда и вдохновляли..."³

В лучшем положении, чем другие беженцы, находились Мережковские, которые, хотя и не были материально обеспечены, но, по крайней мере, владели дореволюционной парижской квартирой. У них по воскресеньям, как когда-то в Петербурге, проходили чаепития с философско-религиозными и литературными беседами, которые назывались „Зеленой лампой". Их подробно описал Юрий Терапиано⁴. Зинаида Гиппиус, остроумная и злая женщина, писала ядовитые рецензии под псевдонимом „Антон Крайный";

ее очень боялись. С первого момента она и Цветаева друг друга возненавидели.

Вся эта суета не подходила к Цветаевой, но даже если бы ей и хотелось, после ее приезда в Париж, броситься в литературную жизнь Монпарнасса, она бы не смогла; все силы уходили на то, чтобы в новых условиях устроить жизнь семьи. Ольга Елисеевна жила с тремя дочерьми — Адей и близнецами от первого брака Ольгой и Наташей — в квартире из трех комнат на rue Rouvet, в пролетарском 19-м округе. Со своим обычным гостеприимством она предоставила семье Эфрон одну из этих комнат, в которой находился даже письменный стол. За этим столом Марина закончила „Крысолова“. В письме к Тесковой она жалуется, что „по абсолютной занятости“ от самого Парижа она еще ничего не видела:

„Я в Париже месяц с неделей и еще не видела Notre Dame. До 4-го декабря (нынче 7-е) писала и переписывала поэму. Остальное — как в Вшенорах: варка Мурке каши — одеванье и раздеванье, гулянье, купанье — люди, большей частью не нужные — *бесплодные* хлопоты по устройству вечера: снять зал — 600 фр. и треть с дохода, есть даровые, частные, но никто не дает. Так уже три отказа. Квартал, где мы живем, ужасен — точно из бульварного романа „Лондонские трущобы“. Гнилой канал, неба не видишь из-за труб, сплошная копоть и сплошной грохот (грузовые автомобили). Гулять негде — ни кустика. Есть парк, но 40 минут ходьбы, в холод нельзя. Так и гуляем — вдоль гниющего канала“⁵.

Труднее всего было переносить тесноту и постоянную толчею в квартире. В январе 1926 г. Слоним навестил Марину и нашел ее в плохом состоянии. Он упрекает ее в неблагодарности по отношению к своим хозяевам, но забывает, как трудно чувствительной писательнице работать в таких условиях. Цветаева сама описала это состояние очень выразительно:

Тише, хвала!
Дверью не хлопать,
Слава!

Стола

Угол — и локоть.

Сутолочь, стоп!
Сердце, уймись!
Локоть — и лоб.
Локоть — и мысль.

Юность — любить,
Старость — погреться:
Некогда — *быть*,
Некуда деться.

Хоть бы закут —
Только без прочих!
Краны текут,
Стулья — грохочут,

Рты говорят:
Кашей во рту
Благодарят
„За красоту”.

Знали бы вы,
Ближний и дальний,
Как головы
Собственной жаль мне —

Бога в орде!
Степь — каземат —
Рай — это где
Не говорят!

Юбочник — скот —
Лавочник — частность!
Богом мне тот
Будет, кто даст мне

(Не времени!
Дни сочтены!)
Для тишины —
Четыре стены.⁶

Но даже такие неблагоприятные условия не отвлекали Цветаеву от работы, как видно из ее переписки с молодым князем Дмитрием Алексеевичем Шаховским. Шаховской учился в Лувенском университете в Бельгии и готовил издание нового литературного журнала „Благонамеренный”. Перед самым отъездом Цветаевой из Чехословакии он два раза обращался к ней с просьбой участвовать в этом издании⁷. Из Брюсселя Шаховской старался — безуспешно — найти зал для литературного вечера Цветаевой.

Как трудно было русским писателям устраивать вечера, которые приносили авторам столько дохода, чтобы заплатить хотя бы самые тяжелые долги, мы знаем из книги Ксении Куприной об ее отце. Она приводит письмо Цветаевой, в котором та благодарит мать Куприной за помощь при продаже билетов на первый вечер Марины:

„Я знаю, что ни до стихов, ни до поэтов никому нет дела: даже не роскошь — сложное развлечение. Тем ценнее участие и сочувствие”⁸.

На квартире Черновой Марина наконец познакомилась с героем своего романа в письмах из 1923 года. Неудивительно, что эта встреча не могла быть удачной.

Александр Бахрах вспоминает:

„...Встреча эта произошла при многочисленных свидетелях и была окружена оттенком показной „светскости” и с бисквитами к чаю. Что-то в окружающей обстановке звучало, как фальшивая нота. Сама Цветаева это сознавала и спустя несколько лет писала мне: „Я перед Вами виновата, знаю. Знаете в чем? В неуместной веселости нашей встречи. Хотите другую — первую — всерьез?”

Но что-то за эти годы ушло, что-то выветрилось. Если быть суеверным, то надо признать, что Рок... был явно против нас и какие-то „бесенята” вмешивались в наши дружес-

ские отношения, которые так и не удалось наладить. ...И так случилось, что за все ее парижские годы я побывал у нее считанное число раз..."⁹

Уже в начале пребывания Цветаевой в Париже начались неприятности с крестным отцом Мура, Ремизовым. Он позволил себе одну из своих знаменитых шуток: опубликовал где-то сообщение, что Цветаева приехала из Праги, чтобы в Париже издавать новый журнальчик под названием „Щипцы". Она очень рассердилась:

„От своей резкой отповеди Ремизову, по просьбе „Последних новостей", пришлось отказаться, — пишет она Шаховскому. — Опровержение же они поместили. Ненавижу такие шутки, шуток с собой вообще не понимаю, в детстве кидалась предметами, ныне, увы, ограничиваюсь словесным рипостом, но всегда вредоносным и всегда мгновенным. Шутить со мной — отсутствие чутья и дурной вкус. Жаль, что их проявил именно Ремизов, весь на чутье..."¹⁰

Редакция журнала „Звено" организовала на Рождество 1925 г. лирический конкурс. Жюри состояло из Адамовича, Зинаиды Гиппиус и Константина Мочульского; из 200 полученных стихотворений надо было выбрать 20 лучших для печати. Нельзя их упрекать за то, что они сделали это по своему вкусу:

„Помню, что в полном тройственном согласии мы забраковали, как совсем негодное, стихотворение Марины Цветаевой, присланное, по условиям конкурса, без подписи... Цветаева, однако, долго не могла прийти в себя от возмущения и даже писала письма в редакцию „Звена", требуя огласки происшествия: позор, мол, скандал, стихи разных Петровых, Сычевых и Чижовых одобрили, а Цветаеву — Цветаеву! — отвергли.., — вспоминает Адамович и добавляет: — К тому же присланное Цветаевой стихотворение было действительно вяло и малоразумительно, при всей обычной напускной напористости, с восклицательными знаками чуть ли не в каждой строчке"¹¹.

Это отвергнутое „Звеном" стихотворение было напеча-

но в первом номере „Благонамеренного”. Оно было посвящено Д. А. Шаховскому.

С самого начала Марина не имела среди уже укоренившихся парижских русских литературных критиков того успеха, которого она сама ожидала. Многие годы спустя Адамович объясняет это так:

„...Была еще Марина Цветаева, с которой у нас что-то с самого начала не клеилось, да так и не склеилось, трудно сказать по чьей вине. Цветаева была москвичкой, с вызовом петербургскому стилю в каждом движении и каждом слове: настроить нашу „ноту” в лад ей было невозможно иначе, как исказив ее. А что были в цветаевских стихах несравненные строчки — кто же это отрицал? „Как некий херувим...”, без всякого преувеличения. Но взять у нее было нечего. Цветаева была несомненно очень умна, однако слишком демонстративно умна, слишком по своему умна — едва ли не признак слабости, — и с постоянными „заскоками”. Была в ней вечная институтка, „княжна Джаваха”, с „гордо закинутой головой”, разумеется „русой”, или еще лучше „золотистой”, с воображаемой толпой юных поклонников вокруг: нет, нам это не нравилось! Было в ней по-видимому и что-то другое, очень горестное: к сожалению оно осталось нам неизвестно”¹².

Но Бахрах понял, что корни всех бед лежали гораздо глубже:

„Все мы частично виноваты в том, что она не была здесь окружена той минимальной внимательностью, которую при ее житейской беспомощности заслуживала более других, и что материальная необеспеченность цветаевской семьи временами доходила до крайних пределов. А к этому прибавилось еще удручающее ее непонимание ее творчества не только широкой читательской массой, но и сплошь да рядом и так называемой „культурной элитой”. ... Но все же, что ни говорить, некоторая доля вины за создавшееся положение лежала и на самой Цветаевой. Она не хотела ладить не только со своими читателями, но — что для нее горше — не ладила и с редакторами-работодателями, упрямо предла-

гая им материалы не по их „мерке”, не по уровню их изданий. Она противилась каким-либо компромиссам и все, что делала, делала с каким-то вызовом. Кому? В первую очередь самой себе, своей собственной судьбе...”¹³

Все эти нападения, непонимание, более или менее глубокие уколы, очень раздражали Цветаеву. Вся ее досада отражается в одном из ее самых умных, блестящих, но и крайне злом эссе: „Поэт о критике”, написанном в Париже в начале 1926 года. К понятию „поэт” она находит несколько примечательных определений:

„...Поэт, во-первых, некто за пределы души вышедший. Поэт — *из души*, а не в душе (сама душа — *из!*). Во-вторых, за пределы души вышедший — в слове. (В-третьих („поэт в душе”) — какой поэт? Гомер *или* Ронсар? Державин *или* Пастернак...) Равенства дара души и глагола — вот поэт. (Посему — ни не-пишущих поэтов, ни не-чувствующих поэтов. Чувствуешь, но не пишешь — не поэт (где ж слово?), пишешь, но не чувствуешь — не поэт (где ж душа?). Где суть? где форма? Тождество.) Неделимость сути и формы — вот поэт”.

Она размышляет о своем собственном искусстве:

„Слушаюсь я чего-то постоянно, но не равномерно во мне звучащего, то указующего, то приказующего. Когда указующего — спорю, когда приказующего — повинуюсь. Приказующее есть первичный, неизменяемый и не заменимый стих, *суть представляющая стихов*. (Чаще всего последним двустихием, к которому затем прирастает остальное.) Указующее — слуховая дорога к стиху: слышу напев, слов не слышу. Слов ищу”.

Своей статьей Цветаева хочет доказать, что только поэты, а не литературные критики имеют право выражать свое мнение о поэтах и их произведениях. Она видит возможность рассчитаться с некоторыми известными людьми, которых она не любит: с Буниным, Зинаидой Гиппиус — ее она упрекает не в отсутствии доброй воли, а в наличии злой; и даже со старым доброжелательным Айхенвальдом, который так хорошо к ней относится („...розовая вода, журчащая

вдоль всех его статей..."). Больше всего она нападает на Адамовича: к своей статье „Поэт о критике” она прилагает „Цветник” из литературных бесед Г. Адамовича, чтобы доказать, как он, просто по настроению, меняет свое отношение к разным писателям. (Что Цветаева в этом была права, подтверждал, тридцать лет спустя, Глеб Струве.)¹⁴

Но до того, как во втором номере „Благонамеренного” был напечатан „Поэт о критике” 6 февраля 1926 года состоялся наконец первый литературный вечер Цветаевой. Глеб Струве помог найти зал на rue Denfer № 79. О предстоящем вечере объявили все русские газеты. Он кончается триумфальным успехом. Марина одета в черное платье, присланное из Праги Анной Тесковой; сестры Черновы перешли его и украсили бабочкой, символизирующей Психею. Перед битком набитой аудиторией Марина читает свои старые стихотворения, включая „Лебединый стан”. Публика ее приветствует, критика очень положительная. В публике собрался „le tout Paris littéraire russe”. Можно предполагать, что там находится не только князь Святополк-Мирский, приехавший из Лондона, но князь Шаховской из Бельгии. Из писем к нему можно заключить, что Цветаева познакомилась с ним лично в начале февраля 1926 года.

Успех этого литературного вечера был, несомненно, одной из причин, повлиявших на решение семьи Эфрон окончательно остаться во Франции. Второй причиной было увлечение Сергея Яковлевича Парижем и парижской группой „Евразийцев”. Это возникшее в 20-ых годах политическое движение искало спасение России в отказе от „гниющего” Запада и в связи с дикой, еще нетронутой западным влиянием традицией азиатских племен. Евразийцы отнюдь не приветствовали революцию, но готовы были с ней согласиться из патриотических и исторических соображений. Эфрон с энтузиазмом бросился в новое дело: он и Д. П. Святополк-Мирский начали готовить издание нового Евразийского журнала, в котором наряду со статьями эмигрантов, печатались бы и статьи новых советских авторов. Сергею Яковлевичу, по-видимому, и здесь, в Париже, не пришла

в голову мысль, что какая-нибудь оплачиваемая деньгами работа облегчила бы материальное положение семьи. Может быть, этому мешало его слабое здоровье.

В мае 1926 года Мирский пригласил Марину Цветаеву на две недели в Лондон, где он преподавал русский язык в Славянском Институте при университете и писал историю русской литературы. Дмитрий Петрович очень любит хорошую еду и водит Марину по лучшим лондонским ресторанам. Но безуспешно: Марину не интересует тонкая кухня — ее можно бы было кормить хотя бы сеном. Проведенные в Лондоне две недели — это ее первые каникулы после восьми лет. Здесь у нее наконец есть время начисто отделать свою статью „Поэт о критике” и вести переписку с Шаховским о ее печатании в журнале „Благонамеренный”.

Вернувшись в Париж, Марина покидает rue Rouvet. 24 апреля она переезжает с детьми, Ольгой Черновой и ее дочерьми на все лето в Saint-Gilles-sur-Vie, в Вандею. Она могла себе это позволить на деньги, заработанные на литературном вечере. Выбор этого места жительства имел также сентиментальные причины, как она объясняет Тесковой:

„Все-таки радуюсь, что в Вандее, давшей когда-то столь великолепную вспышку *воли*”.

Кроме Ольги Черновой с дочерьми, лето в Saint-Gilles проводила и Анна Андреева с детьми. Из Парижа часто появлялись и друзья сыновей Андреевых — молодые журналисты, сотрудники „Воли России” — Владимир Сосинский и Даниил Резников. Впоследствии Вадим Андреев женился на Ольге, Даниил Резников на Наташе, а Владимир Сосинский — на Аде Черновых. Кажется, что присутствие Марины Цветаевой вносило в этот круг известную напряженность. Несмотря на то, что для тогда еще совсем молодого Валентина Андреева „Марина Ивановна была поверенной, но не то что в сердечных, а скорее в душевных делах”, как он рассказал Анне Ахматовой в 1970 году¹⁵, и что связь с В. Б. Сосинским не прерывалась до самого отъезда Марины в Россию, имя Ольги Черновой исчезает из ее писем, по крайней мере из тех, которые нам известны до сих пор.

Как только Марина поселилась на новом месте, разразился литературный скандал: почти что одновременно появились во втором (последнем) номере журнала „Благонамеренный” статья „Поэт о критике” и первый номер нового евразийского журнала „Версты” — под редакцией Святополк-Мирского, С. Я. Эфрона и П. П. Сувчинского, в тесном сотрудничестве с А. Ремизовым, М. Цветаевой и Л. Шестовым, как стояло на заглавном листе. Название было взято от сборника Цветаевой.

„Поэт о критике” подействовал, как взрыв бомбы. И новый сборник вызвал бурю негодования: в первом номере была „Поэма горы” Цветаевой и новые работы Ремизова, Шестова и Николая Сергеевича Трубецкого, „Потемкин” Пастернака и произведение Артема Веселого. Газета сотрудничала с большевиками! Долго не прекращалось всеобщее возмущение; П. Б. Струве, который никогда раньше не писал на литературные темы, назвал „Версты” „отвратной ненужностью”. Михаил Осоргин, писатель и влиятельный критик, решил совсем порвать с Цветаевой; Юлий Айхенвальд писал своему племяннику Слониму, что он глубоко обижен и не понимает, почему столь чтимая им писательница так резко на него нападает¹⁶. Зинаида Гиппиус пустила в ход все регистры своего искусства интриги, чтобы уничтожить „шайку Шаховского-Святополк-Мирского, включая Маринку”. Из ее писем к Владиславу Ходасевичу видно, что З. Гиппиус старалась организовать концентрированную травлю издателей „Благонамеренного” и „Верст”. При этом она не останавливалась даже перед тем, чтобы пустить в ход оскорбительные намеки, затрагивающие честь этих лиц¹⁷.

В это время только один молчал: Георгий Адамович. Но „Цветник” он никогда не простил Цветаевой. Когда только мог, он потом говорил плохое, отрицательное о ней. У Адамовича создался, по-видимому, своего рода „Цветаевский комплекс” и, кажется, что это так и осталось почти до конца его жизни.

На Марине болезненно сказались эти буйные реакции,

которых она, по-видимому, не ожидала. Она описывает Анне Тесковой эти нападки и прибавляет:

„Laissez dire” — вот что написано над дверью одного из здешних рыбацких домиков. То же говорю и я”.

А 8 июня она пишет:

„Ваше письмо было для меня большой радостью и поддержкой. Самая большая редкость — чистый подход к вещи, вещь и ты — так Вы подошли к моему „Поэту о критике”. Статья написана *просто* (это не значит, что я над ней не работала — простота дается не сразу, сложность (нагроможденность!) легче, читалась она предвзято... *ни одного голоса в защиту*. Я вполне удовлетворена. Но все это уже прошлое. Настоящее вещи — когда она пишется. Дописано — прошло. Самостоятельное существование вещи вне меня — вот цель и итог”¹⁸.

Но все это уже лежит в прошлом. Даже то, что Д. А. Шаховской бросает (на время) свою литературную деятельность, удаляется на Афон и постригается в монахи, у нее вызывает скорее сочувствие, чем удивление:

„Чистое сердце, это лучше, чем редакторство”, — пишет она Тесковой¹⁹.

Ее собственное сердце далеко: оно мечется между Москвой и Muzot в Швейцарии. У нее новый друг, с которым она переписывается. На этот раз, он ей по плечу: это Райнер Мариа Рильке.

ГЛАВА 20

В начале апреля 1926 года Борис Пастернак получил в Москве два письма. Возможно, что даже в один и тот же день. В одном — переписанная от руки копия „Поэмы конца” Цветаевой, а второе — письмо от живущего в Мюнхене отца. Леонид Осипович Пастернак был большим другом Рильке. Отец писал сыну, что Рильке хвалит Бориса (...*Der junge Ruhm Ihres Sohnes Boris hat mich von mehr als einer Seite her angerührt...*”).

До сих пор Пастернак восхищался поэтом Рильке и читал его только издалека. Вступить с ним в переписку — такая мысль никогда не пришла бы ему в голову. Теперь же, 12 апреля 1926 года, он садится и пишет по-немецки (он владеет в совершенстве этим языком) длинное послание:

„Великий, обожаемый поэт! Я не знаю, где окончилось бы это письмо и в чем бы оно разошлось с самой жизнью, позволь я чувствам любви, удивления и признательности, которые я испытываю вот уже два десятилетия, заговорить в полный голос. Я Вам обязан основными чертами моего

характера, всем складом духовного существования. Это Ваши создания... То, что я чудом попался Вам на глаза, потрясло меня. Известие об этом отозвалось в моей душе подобно току короткого замыкания..."

Он продолжает:

„В тот же день, что и известие о Вас, я здешними окольными путями получил поэму, написанную так неподдельно и правдиво, как здесь (in der UdSSR) никто из нас не напишет. Это было вторым потрясением дня. Эта поэтесса Марина Цветаева, прирожденный поэт большого таланта, родственного по своему складу Деборд-Вальмор. Она живет в Париже в эмиграции. Я хотел бы (o bitte, verzeihen Sie mir die Kühnheit und die scheinbare Zudringlichkeit), осмелился бы пожелать ей, чтобы она тоже пережила нечто подобное той радости, которая, благодаря Вам, излилась на меня. Я представляю себе, чем была бы для нее книга с Вашей надписью, может быть, „Дуинэзские элегии", известные мне лишь понаслышке..."

Он также просит Рильке послать и ему экземпляр „Элегий" — по адресу Цветаевой:

„...никогда нельзя знать с посылками по почте из Швейцарии"¹.

Рильке сразу же отозвался на это письмо: он послал Марине „Дуинэзские элегии" и „Сонеты Орфею" с короткой припиской:

„...Я так потрясен силой и глубиной его слов, обращенных ко мне, что сегодня не могу больше ничего сказать: прилагаемое же письмо отправьте другу в Москву. Как приветствие"².

„Прилагаемое письмо" — краткие слова благодарности и сообщение, что Рильке исполнил желание Пастернака:

„... „Элегии" и „Сонеты к Орфею" — уже в руках поэтессы! Экземпляры этих же книг Вы получите в самое ближайшее время..."

Марина получает посылку и письмо Рильке 7 мая в St.-Gilles. Для нее это „удар в сердце". Она посылает заказным

строки, написанные Рильке, и приписывает сама только одну фразу, адресованную ей самой:

„...Я так потрясен силой и глубиной его слов...”

Марина садится за свой стол и пишет Рильке длинное письмо по-немецки, в котором она признается в любви к его поэзии. Она высчитывает, когда приблизительно он может получить это письмо и пишет: 9 мая. К ее величайшей радости она получает ответ (от 10 мая):

„Марина Цветаева, неужели Вы только что были здесь? Или: где *был* я?..”

Наверное, Марина получила это письмо 12 мая. В тот же день она пишет ответ и отправляет его с обратной почтой. Так же быстро — 17 — отвечает Рильке. В этом письме он рассказывает о своей жизни, о своем одиночестве и замечает, что он не в состоянии понять стихи Цветаевой, его знания русского языка недостаточны для этого. Из его писем можно заключить, что он понимает ее саму. Но, может быть, он переоценивает ее чуткость и возможность понять настоящее положение? Марина, очевидно, не понимает, что под фразой Рильке — что она всегда может писать ему, когда ей хочется, даже тогда, когда ответы запаздывают, — кроется не что другое, как усталость, истощение смертельно больного человека.

Тем временем Пастернак, который способствовал этому знакомству, живет в Москве, ждет ответа от Рильке и снова и снова читает „Поэму Конца” и восхищается „родственной душой”, которую, как ему кажется, он открыл в Марине. С ним происходит то же самое, что уже часто бывало с Цветаевой. Он влюбляется в этот призрак, который кажется ему таким далеким от пошлости домашней жизни в Москве от переполненной квартиры больного ребенка...

Довольно сумбурно он пишет Марине 20 апреля 1926 года:

„Я тебе начинал сегодня пять писем... Не разрушай меня, я хочу жить с тобой, долго, долго жить... Я задам тебе сейчас вопрос, без всяких пояснений со *своей* стороны, потому что я верю в *твои* основания, которые у тебя должны быть...

Ты на него ответь, как никому никогда не отвечала, — как себе самой. *Ехать ли мне к тебе сейчас или через год?* Эта нерешительность у меня не абсурдна, у меня есть настоящие причины колебаться в сроке...”³

И вдруг вместо ответа приходит коротенькое письмецо от Рильке. Марина не могла еще получить его письма, Пастернак плохо рассчитал длительность „окольных путей”. Он увидел лишь, что приписка столь любимой рукой не содержит ни одного личного слова. Неудивительно, что Пастернак обижен и чувствует, что его оттолкнули.

„До этого были три неотправленных. Это болезнь. Это надо подавлять. Вчера пришла твоя передача его слов: твое отсутствие, осязательное *молчание* твоей руки. Я не знал, что такую похоронную музыку может поднять, отмалчивать любимый почерк. Я в жизни не помню тоски, подобной вчерашней...”⁴

И опять пишет 23 мая:

„Рильке сейчас не пишу. Я его люблю не меньше твоего, мне грустно, что ты этого не знаешь. Отчего не пришло тебе в голову написать, как он надписал тебе книги, вообще, как это случилось, и, может быть, что-нибудь из писем. (Ведь ты стояла в центре пережитого взрыва и вдруг — в сторону.)”⁵

В это время Пастернак сосредоточенно работает над своим „Лейтенантом Шмидтом”. К своему письму Цветаевой он прилагает свои стихи „Посвящение”. Из начальных букв строк складывается акrostих: „Марине Цветаевой”.

Цветаева ничего не знает о тех чувствах, которые вызвали в Пастернаке ее письма. 23 мая она пишет ему из St.-Gilles и прилагает копии своих первых двух писем от Рильке. Ничего не подозревая, она рассказывает ему о своем пребывании на берегу моря, а потом продолжает:

„Рильке не пишу. Слишком большое терзание. Бесплодное. Меня сбивает с толка, выбивает из стихов — вставший Nibelungenhort легко справишься?! Ему — не нужно. Мне больно. Я не меньше его (в будущем), но я моложе его. На много жизней. Глубина наклона — мерило высоты. Он

глубоко наклонился ко мне — м. б. глубже, чем... (неважно) — и что я почувствовала? *Его рост*. Я его и раньше знала, теперь знаю *на себе*. Я ему писала: Я не буду себя уменьшать, это Вас сделает Выше (меня не сделает ниже!), это Вас сделает только *еще одиноче*, ибо на острове, где мы родились — все — как мы”.

Она прибавляет по-немецки:

”Durch alle Welten, durch alle Gegenden, an allen Weg-Enden, das ewige Paar der Sich-nie-Begegnenden”⁶.

25 мая Цветаева получает письмо Пастернака от 19 мая. Она спешит с ним объяснить:

„Борис, ты меня не понял. Я так люблю твое имя, что для меня не написать его лишний раз, сопровождая письмо Рильке, было настоящим лишением, отказом. То же, что не окликнуть еще раз из окна, когда уходит (и с уходящим на последующие десять минут, все. Комната, где даже тебя нет. Одна тоска расселась.) Борис, я сделала это сознательно. Не ослабить удара радости от Рильке. Не раздробить его на два. Не смешать двух вод. Не превратить *твоего события* в собственный случай. Не быть ниже себя. Суметь не быть”.

Она отклоняется от темы, философствует об Орфее и Эвридике, о своей неприязни к морю и продолжает:

„О Рильке. Я тебе уже о нем писала (ему не пишу). У меня сейчас покой полной утраты — божественного ее лика — *отказа*. Пришло само. Я *вдруг* поняла. А чтобы закончить с моим отсутствием в письме (я так хотела: *явно*, действительно отсутствовать) — Борис, простая вежливость не совсем или совсем простых вещей. Вот”⁷.

Но Марина не выдерживает: 3 июня она все-таки пишет Рильке. Она ему объясняет, что фразу, в которой он говорит, что, наверно, ей не ответит, она поняла, как просьбу дать ему покой. Рильке отвечает сейчас же. 8 июня он пишет из Muzot о плохом состоянии своего здоровья. И дальше:

„...Я написал тебе сегодня длинное стихотворение, сидя на теплой (но, к сожалению, еще не совсем согревшейся) стене среди виноградников, и привораживая ящериц его звучанием...”⁸

Эти стихи — знаменитая „Элегия Марине Цветаевой-Эфрон”. Издатели Полного собрания сочинений Рильке были знакомы с „Элегией” только по наброскам из нее.

О растворенье в мирах, Марина, падучие звезды!
Мы ничего не умножим, куда б ни упали, какой бы
новой звездой! В мирозданье давно уж подсчитан
итог...
Но и меньше не может уход наш священную
цифру...

Почувствовал ли Рильке своим тонким чутьем поэта это всегда присутствующее, всегда возвращающееся стремление, желание „пройти, чтоб не оставить следа”?

Как я тебя понимаю, о женский цветок на том же
неопалимом кусте...

отвечает Рильке. Но здесь он и предупреждает:

...Припомни, Марина, как часто
воля слепая влекла нас сквозь ледяное преддверье
новых рождений...

Только нельзя, Марина, влюбленным так много
знать о крушениях. Влюбленных неведение — свято.
Пусть их надгробья умнеют...⁹

Здесь, наконец, встретились двое, понимающие друг друга и говорящие на одном языке: смертельно больной, одинокий, потерявший родину австриец и такая же бездомная русская, безжалостно брошенная в поток жизни.

„Да, та „Dichterin”, о к-ой пишет Рильке Пастернаку — я. Я последняя его *русская* радость — его последняя Россия и дружба”¹⁰.

2 июля Марина получила новый подарок от Рильке: его сборник стихов на французском языке — „Vergers” („Сады”) с посвящением: „A Marina Zwetajewa-Efрон”:

Прими песок и ракушки со дна
французских вод моей — что так странна —
души. Хочу, чтоб ты увидела, Марина,
пейзажи всех широт, где тянется она
от пляжей Cote d'Azur в Россию, на равнины.

Конец июня 1926, Muzot^{1 1}

Говорится даже о встрече в Савойе, в конце 1926 или в начале 1927 года. 6 сентября приходит зов Рильке:

„Im Frühling? Mir ist bang! Eher! Eher!“
(„Весной? Мне страшно! Раньше! Раньше!“)

После этого он вдруг замолкает и не отвечает даже на письмо Марины, которое состоит из одной только фразы:

„Lieber Rainer! Hier leb ich. — Ob Du mich noch liebst?“

(„Райнер, здесь я живу. Райнер, любишь ли меня еще?“)^{1 2}

Этим летом даже любимый Пастернак отходит на задний план. Марина не хочет, чтобы он участвовал в радости этого лета. Очень возможно, что ответ на письмо от 10 июля, в котором она отвечает на предложение Пастернака приехать к ней, — подействовал на него, как холодный душ.

Она пишет:

„Я бы не могла с тобой жить не из-за непонимания, а из-за понимания. Страдать от чужой правоты, которая одновременно и своя, страдать от правоты — этого унижения я бы не вынесла. (По сей день я страдала только от неправоты, была одна права, если и встречались сложные слова (редко) и жесты (чаще), то двигатель всегда был иной.) ... Встречаясь с тобой, я встречаюсь с собой, всеми остриями повернутой против меня же...“

Жизнь вместе была бы возможна только на том свете:

„Борис, Борис, как мы бы с тобой были счастливы — и в Москве, и в Веймаре, и в Праге, и на этом свете и особенно на том, который уже *весь в нас*. (Твои вечные отъезды (как я это вижу) и твоими глазами, глядящими с полу. Твоя

жизнь — заочная со всеми улицами мира и — ко мне домой.)
/.../ Мы бы спелись”¹³.

Несколько лет спустя Марина упоминала это происшествие в письме Анне Тесковой:

„Летом 26 года, прочтя где-то мою Поэму Конца, Б. безумно рванулся ко мне, хотел приехать — я *ответила*: не хотела *всеобщей* катастрофы...”¹⁴

Но ни Рильке, ни Пастернак, ни веселая молодежь в Saint-Gilles не могли отвлечь Марину от работы; это не удалось даже ее сыну, который как раз начинал бегать. Она написала для Пастернака лирическое произведение в стихах под названием „С моря” — описание встречи во сне:

С Северо-Южным,
Знаю: невозможным!
Можным — коль нужным!
О чем-то дорожном.

— Воздух кругом
Мчащим щепу! —
Сон три минуты
Длится. Спешу.

С кем — и не гляну! —
Спишь. Три минуты.
Чем с Океана —
Долго — в Москву-то!

Молниеносный
Путь — запасной:
Из своего сна
Прыгнула в твой...

Сразу же после „С моря” появилась новая „лирическая поэма” — „Попытка Комнаты”. Опять встреча во сне. На этот раз попытка создать „комнату-сон”, в которой понятия о месте и времени — не существуют. Там хотела она встретиться с Пастернаком; но эта поэма неожиданно обрела самостоятельную жизнь:

„Очень важная вещь, Борис, о которой хочу сказать. Стих о тебе и мне — начало (пропуск) — оказался стихом о нем и мне, *каждая строка*. Произошла любопытная подмена: стих писался в дни моего крайнего сосредоточения на нем, а направлен был — сознанием и волей — к тебе. (Оказался же — мало о нем! — о нем — сейчас (после 29-го декабря), т. е. предвосхищением, т. е. прозрением.) Я просто рассказывала ему, живому, к которому *не собиралась!* — как не встретились, как *иначе* встретились. Отсюда и странная, меня самое тогда огорчившая нелюбовность, отрешенность, *отказность* каждой строкой. Вещь называется „Попытка комнаты” и от каждой — каждой строкой отказывалась...”¹⁵

В St.-Gilles Цветаева закончила „Лестницу”. Она описывает дом в бедном районе Парижа и живущих в нем русских эмигрантов. Это протест против бедности и несправедливости, который, в сущности, не подходит к настроению этого лета. Но она работает дальше над этой темой, чтобы заглушить в себе вездесущую привязанность к Рильке.

Но стихи не давались ей так трудно, как продолжение уже начатой трилогии о Тезее. После долгого и многочисленного обмена письмами с Сосинским и Тесковой Марине, наконец, удается получить свой экземпляр классических сказаний Густава Шваба. Марина работала над второй частью — „Федрой” — летом и до конца года, до того дня, как получила известие о смерти Рильке. В это время две картины были закончены.

Но денежные трудности не прекращались и в Вандее. К тому же из Праги пришло неприятное письмо, вызвавшее большое волнение: Марине предлагали или немедленно вернуться в Чехословакию, или отказаться от стипендии, которую ей платило чешское правительство. Так как Сергей Яковлевич и не думал о том, чтобы прекратить работу в „Верстах” и покинуть Париж, то пришлось думать о других возможностях. Дом в St.-Gilles был нанят до 1 октября, но Марина предполагала вернуться в Прагу к 15 сентября, и просила Анну Тескову найти ей квартиру. Тем временем

с помощью друзей, в том числе наверное и с помощью Тесковой, удалось продолжить стипендию еще на один год.

Поездка в Прагу осталась только прекрасным сном. 24 сентября Марина сообщила Тесковой, что для нее нанята в Медоне квартира с садиком. Но переезд затягивается. Письмо Тесковой от 10 октября, в котором об этом говорится, стало жертвой красного карандаша издателей писем.

Тем временем семья Эфрон приютилась в Bellevue, Boulevard Verdun 31, в квартире, которую опять надо было делить с другими людьми. Жизненные трудности этого года мало отличались от прошлогодних проблем: Сергей Яковлевич вообще почти не показывался; Аля брала уроки у старой француженки, которая через несколько недель умерла; Марина выбивалась из сил: хозяйство, уход за Муром, работа над „Федрой” и постоянная тоска и мысли о Рильке, который совсем замолк. Ко всему этому прибавилась еще ссора с главным журналом:

„С Соврем. Записками разошлась совсем — просят стихов *прежней* Марины Цветаевой, т. е. 16 года. Недавно письмо от одного из редакторов: „Вы, поэт Божьей милостью, либо сознательно уродуете себя, либо морочите публику”. Письмо это храню. Верх распушенности. Автор — *Руднев*, бывший московский городской голова”¹⁶.

В последний день 1926 года в Bellevue появился давно не виданный гость: Слоним, на обратном пути из Америки. Он сообщил Марине, что Рильке умер. С „большой осторожностью”, как он говорил сам, потому что знал, „как она его боготворила”:

„М. И. была очень взволнована и сказала: „Я его никогда не видела и теперь никогда не увижу”. Перед уходом я спросил, не хотят ли М. И. и Сергей Яковлевич встретить новый год у наших общих знакомых, вместе с „вольнороссовцами”. У меня в то время было большое личное горе, ни о каких праздниках и ресторанах я и думать не мог, речь шла о скромном дружеском вечере. Сергей Яковлевич, как всегда, ждал, как решит М. И., она приглашение отклонила. Но согласилась на мою просьбу написать о Рильке для „Воли

России". Через короткое время она прислала мне в Прагу „Твоя смерть". Проза эта появилась в нашем журнале в марте 1927 года"¹⁷.

Марина осталась дома в эту ночь под Новый Год. Она пишет короткое письмо Пастернаку, сообщая о смерти Рильке:

„Борис, умер Райнер Мария Рильке. Числа не знаю — три дня назад. Пришли звать на Новый год и, одновременно, сообщили. Последнее письмо ко мне (6 сентября) кончалось воплем: "Im Frühling? Mir ist bang! Eher! Eher!" (Говорили о встрече.) На ответ не ответил, потом, уже из Bellevue мое письмо к нему в одну строку: "Rainer, was ist's? Rainer, liebst Du mich noch?" Увидимся ли когда-нибудь? — С новым его веком, Борис!"¹⁸

Вслед за этим она пишет ему второе письмо и шлет ему свое приветствие к Новому году — обращение к Рильке (на немецком языке); после этого она повторяет то же самое в стихотворной форме. Так создается „Новогоднее" — известное также как „Письмо к Рильке". Там описывается, как Цветаева узнает о его смерти:

.....

Рассказать как про твою узнала?
Не землетрясенье, не лавина,
Человек вошел — любой — (любимый —
Ты). — Прискорбнейшее из событий.
— В Новостях и Днях. — Статью дадите?
— Где? — В горах. (Окно в еловых ветках.
Простыня.) — Не видите газет ведь?
Так статью? — Нет. — Но... — Прошу избавить.
Вслух: Трудна. Внутрь: не христопродавец.
— В санатории. (В раю наемном.)
— День? — Вчера, позавчера, не помню.
В Альказаре будете? — Не буду.
Вслух: семья. Внутрь: все, но не Иуда... ¹⁹

„В полном разгаре моего письма к нему" Цветаева полу-

чает письмо от последней секретарши Рильке — русской, Елены Черношвитовой.

Марина отвечает:

„Этим письмом с 31 декабря — *живу*, для него бросила „Федру”... Еще останавливает меня его открытость (письма). Открытое письмо от меня — ему... Письмо, которое будут читать *все*, кроме него! Хотите одну правду о стихах? Всякая строчка — сотрудничество с „вышними силами”, и поэт — *много*, если секретарь! (Думали ли Вы, кстати, о прекрасности этого слова: секретарь — *secret*?) Роль Рильке изменилась только в том, что, пока жил, сам сотрудничал с —, а теперь — сам „высшая сила””²⁰.

За новогодним письмом следует „лирическая проза”: „Твоя смерть”. Марина смешивает в этом произведении смерть Рильке со смертью учительницы Али и смертью русского ребенка. В 1929 году она возвращается к Рильке: в „Воле России” печатаются „Несколько писем РМР”. Теперь, с тех пор, как он умер, она чувствует, что он ее собственность; теперь нет больше между ними трудностей с языком — теперь им обоим принадлежит вечность.

Семья Эфронов бедствует все больше и больше: на обед покупается только конина и то самая дешевая; многие из русской колонии их бойкотируют. Но Марина нашла в Рильке что-то вроде защитника и покровителя. Рильке умер, она никогда его не увидит; значит — она никогда не может разочароваться в нем. Теперь он принадлежит ей, ее личной собственности — ее „*Nibelungenhort*” — крепость, в которой можно спастись, когда действительность слишком тяжела.

ГЛАВА 21

Одна из легенд, которыми окружена Марина Цветаева, — она их нередко сама создавала, — что в эмиграции никто не был способен понять и оценить великую писательницу, что она, всеми нелюбимая, прозябала в одиночестве, только со своей тетрадью, которая служила ей единственным способом общения с миром. Но даже Ариадна Эфрон подвергла эту легенду в 1969 году осторожной критике:

„Вопреки создавшейся легенде, отождествляющей *творческое* одиночество Цветаевой, обусловленное неприятием современниками-эмигрантами ее внеканонического искусства, с *человеческим* ее одиночеством, как бы являющимся неким врожденным состоянием — Марина Цветаева была человеком открытым, общительным, отзывчивым на любой окликающий ее голос — не тянувшимся, а — рвавшимся к людям...”¹

Безусловно многие парижские писатели и литераторы не понимали Цветаеву, нападали на нее; но были и другие, которые ценили ее, помогали ей и были с ней — самым

естественным образом — дружны. Так, например, письма Цветаевой Льву Шестову 1926 и 1927 гг. ясно говорят о том, что не все были настроены против нее².

Второе убедительное доказательство: несколько лиц из русских наняли для семьи Эфрон квартиру, меблировали ее и заплатили аренду. Мы знаем, что к ним принадлежали князь Д. П. Святополк-Мирский, Саломея Гальперн-Андроникова, Е. А. Извольская и другие. Квартира была в Медонне, Avenue Jeanne d'Arc, No. 2, в нескольких минутах ходьбы от леса; она состояла из трех комнат с газовым отоплением, кухни, ванной комнаты и находилась прямо посреди „русского квартала“. Совсем близко жил герой „Поэмы конца“ с женой — Муной Булгаковой — подругой Марины по Чехословакии.

„Постоянно видимся, дружественное благодушие и равнодушие, вместе ходим в кинематограф, вместе покупаем подарки: я — своим, она — ему. Ключ к этому сердцу я сбросила с одного из пражских мостов, и покоится он, с Любушкиным кладом, на дне Влтавы — а может быть — и Леты“³.

Елена Александровна Извольская, дочь бывшего министра иностранных дел, которая зарабатывала на жизнь переводами, познакомилась с Мариной на вечере евразийцев. Они сразу понравились друг другу. До этого вечера Извольская видела Марину только на фотографии:

„Непохожа на свой портрет в „Верстах“, Марина для меня потому, что на фотографии она слишком „хорошенькая“ круглолицая, нарядно одета и причесанная. Та, которую я в тот вечер увидела, была ни нарядной, ни хорошенькой: худа, бледна, почти измождена; овал лица был узок, строг, стриженные волосы — еще светлые, но уже подернуты сединой, глаза потуплены. Вся она была не хорошенькая, а *иконописная*. Однако, несмотря на некоторую сурововость, она быстро втянулась в атмосферу нашей вечеринки, и приняла участие в беседе. Мне хочется тут подчеркнуть, что Марина вовсе не была столь „дикой“, „одинокой“, „нелюдимою“, как ее нынче часто изображают, и как она сама любила изображать. По крайней мере *внешне*,

она людей не чуждалась, даже охотно с ними знакомилась, интересовалась ими. В ней была очень большая чуткость к человеку, она искренне хотела с ним общаться, но не умела, быть может, или не решалась...”⁴

Елена Извольская жила с матерью недалеко от Эфронов. Это был дом, в котором жили почти только эмигранты (он описан в „Истории одного посвящения”). Марина часто там бывала, читала жителям — в зависимости от их политических убеждений — „Лебединый стан” или „Молодец” и была всеми любима. Она тоже принимала гостей.

Елена Извольская пишет:

„Мы часто навещали Марину. Она всегда была рада нам и вела с нами бесконечные беседы: о поэзии, об искусстве, музыке, природе. Более блестящей собеседницы я никогда не встречала. Мы приходили к ней на огонек, и она поила нас чаем или вином. А по праздникам баловала нас: блинами на масленицу, пасхой и куличом после светлой заутрени. Мы вместе ходили в маленькую медонскую церковь Св. Иоанна Воина, очень скромную, но красиво расписанную. Марина редко говорила о религии, но просто и чистосердечно соблюдала церковные обряды. Заутреня в Медоне была как-то продолжением пасхальной ночи в Москве...”⁵

Но дилемма продолжала существовать: у Марины не было времени писать. Дообеденное время нужно было посвящать работам по хозяйству; надо было ухаживать и присматривать за Муром; часто приходили гости; вечером голова была пуста, мысли и чувства нельзя было больше навестать. Марина пишет Тесковой:

„У меня — за годы и годы (1917–1927 гг.) отупел не ум, а душа. Удивительное наблюдение: именно на чувства нужно время, а не мысль. Мысль — молния, чувство — луч самой дальней звезды. Чувству нужен досуг, оно не живет под страхом. Простой пример: обваливая 1 1/2 кило мелких рыб в муке, я могу думать, но чувствовать — нет: Запах мешает! Запах мешает, клейкие руки мешают, брызжущее масло мешает, *рыба* мешает: каждая в отдельности и все 1 1/2 кило вместе. Чувство, очевидно, более требовательно,

чем мысль. Либо все, либо ничего. Я своему не могу дать ничего: ни времени, ни тишины, ни уединения: я *всегда* на людях (с 7 ч. утра, до 10 ч. вечера, а к 10-и ч. так устаю, что — какое чувствовать! Чувство требует *силы!*”⁶

Продолжается и травля „Верст”.

„Меня в Париже, за редкими исключениями, ненавидят, пишут всякие гадости, всячески обходят и т. д. Ненависть к присутствию в отсутствии, ибо *нигде* в обществ. местах не бываю, *ни на что ничем* не отзываюсь. Пресса (газеты) сделали свое. Участие в Верстах, муж-евразиец и, вот в итоге, у меня комсомольские стихи и я на содержании у большевиков. Schwamm (und Schlamm!) drüber!”⁷

И дальше:

„Читаете ли Вы травлю евразийцев в Возрождении, России, Днях? „Точные сведения”, что евразийцы получали *огромные суммы* от большевиков. Доказательств, естественно, никаких (ибо быть не может!) — пишущие знают эмиграцию. На днях начнутся опровержения — как ни гнусно связываться с заведомо-лжецами — необходимо. Я вдалеке от всего этого, но и мое политическое бесстрашие поколеблено. То же самое, что обвинить *меня* в большевистских суммах! Так же умно и правдоподобно. С. Я., естественно, расстраивается, теряет на этом деле последнее здоровье. Заработок: с 5 1/2 ч. утра до 7—8 веч. игра в кинематографе фигурантом за 40 фр. в день, из к-их 5 фр. уходят на дорогу и 7 фр. на обед — итого за 28 фр. в день. И дней таких — много — если 2 в неделю. Вот они, большевистские суммы!”⁸

Нет, в те времена в хозяйстве Эфронов большевистских сумм наверняка не было. Елена Извольская так описывает это хозяйство:

„На наших глазах, Марина Цветаева писала, на наших глазах, также, увы! трудилась непосильно, бедствовала, часто голодала. Русский Париж признавал весь трагизм ее положения — разве можно заработать „прожиточный минимум” стихами и беллетристикой? А другого „ремесла” у нее не было. И быть не могло. Создалось „общество помощи Мари-

не Цветаевой”, кое-как оплачивающее квартиру и семейный паек. Сердце не камень, но чем сердце лучше камня? *Такой* нищеты в русской эмиграции мне редко пришлось видеть. Мы, ее медонские соседи, тем более делили ее заботы, что постоянно у нее бывали. Чем могли ее „выручали”, но она нам со своей стороны *столько* давала, что ничем, абсолютно ничем, нельзя было ей отплатить”⁹.

До сих пор неизвестно кто тот меценат, который за свой счет напечатал последний сборник стихов Марины — „После России”. Подготовительные работы длились на протяжении всего лета 1927 года.

„Даю ее как последнюю лирическую, знаю, что последнюю. Без грусти. То, что можешь — не должно делать. Вот и все. Там я все могу. Лирика (смеюсь, — точно *поэмы* не лирика! Но условимся, что лирика — отдельные стихи) — служила мне верой и правдой, спасая меня, вывозя меня — и заводя каждый час по-своему, по-моему. Я устала разрываться, разбиваться на куски Озириса. Каждая книга стихов — книга расставаний и разрываний, с перстом Фомы в рану между одним стихом и другим. Кто же из нас поставил конечную черту без западания сердца: а дальше?”¹⁰

Творение 1927 года — „Поэма воздуха”, написана под впечатлением перелета (20, 21 мая) Линдберга через океан. Тема этого довольно длинного стихотворения — в сущности, та же, что и темы предыдущего года: опять говорится о свидании во сне — теперь это свидание происходит в воздухе; по-видимому, собеседником опять является Рильке. „Слушайте, что я когда-либо написала и напишу...” — говорит Марина в письме Пастернаку.

Цветаева не только выпустила в 1927 году новую книгу, но и усердно работала над следующим произведением. С этого года начался, как говорит Глеб Струве, расцвет русской зарубежной литературы. Бунин, Зайцев, Шмелев, Ремизов, Бердяев, Мережковский, Алданов, Куприн, Ходасевич — все они в это время писали или печатали свои лучшие произведения. К этим старшим литераторам присоединилось молодое, начинающее поколение: Владимир Набоков, Борис

Поплавский, Михаил Осоргин, Нина Берберова, Владимир Варшавский и целый ряд молодых поэтов. По вечерам, после утомительной работы, они встречались на Монпарнассе, вместе сидели там в кафе, философствовали и голодали. По воскресеньям старые и молодые посещали собрания „Зеленой Лампы” у Мережковских.

В своей интересной книге В. С. Варшавский обращает внимание на душевное состояние этого молодого, „незамеченного” поколения^{10а}, этих 25—30-летних „ветеранов” гражданской войны и „эмигрантских сыновей”. Их положение было еще труднее, чем старых литераторов, которые успели создать себе имя еще в России и хотя бы иногда печатались в разных органах печати, в то время как никто не интересовался молодыми. Они голодали еще больше, чем старшее поколение, тосковали и страдали от одиночества, страстной любви к России, которой больше не было. С тридцатых годов их произведения начали выходить, главным образом, в журнале „Числа”, где им покровительствовал Адамович.

В конце 20-х годов, как раз во время расцвета русской литературы за рубежом, начался ожесточенный спор между Адамовичем, Ходасевичем и Слонимом о смысле и нужности, даже о возможности этой самой литературы вне пределов России. Более или менее все были одного, пессимистического, мнения: она не нужна и невозможна, так как Россия больше не существует, нет читателей и русский автор не может работать вне России. Отклики на эти споры находят-ся также в творчестве Цветаевой. Что когда-нибудь настанет время, когда читатели в самой России начнут интересоваться произведениями эмигрантских писателей, им даже в голову не приходило: слишком сильно было чувство, что они „унесли Россию” и что за ними ничего не осталось.

В сентябре 1927 года у Марины Цветаевой неожиданный гость: из Италии приехала сестра ее, Ася. Она работала в Москве в Музее изящных искусств (создание ее отца). Ася хотела написать книгу о Максиме Горьком, который жил тогда в Сорренто. В начале 1927 года она послала ему пись-

мо, и Горький пригласил ее на месяц в Италию. Он приглашал также и Марину — сестры могли бы у него встретиться. Но Анастасия Ивановна предпочла сама поехать в Париж.

Анастасия Ивановна подробно описывает свое пребывание в Париже. Она в восторге от Али и Мура; квартира производит на нее большое впечатление. Но ей кажется, что Марина устала и постарела. Она гораздо мягче относится к сыну, чем раньше к Але; но она и менее энергична, жизнеспособна, чем в хаосе и разрухе старой московской квартиры.

„Вечером Марина лежала на своем диванчике, где и спала (в ее комнате я помню только диван, ее стол и книги), и, пуская папиросный дым — а на глазах у нее были слезы: — Ты пойми: *как* писать, когда с утра я должна идти на рынок, покупать еду, выбирать, рассчитывать, чтоб хватило — мы покупаем самое дешевое, конечно — и вот, все найдя, тащусь с кошелкой, зная, что утро — потеряно: сейчас буду чистить, варить (Аля в это время гуляет с Муром), и когда все накормлены, все убрано — я лежу, вот так, вся пустая, ни одной строки! А утром так рвусь к столу — и это изо дня в день...”¹¹

Ася отыскала в Париже свою бывшую подругу из московской школы, Галю Дали (тогда еще замужем за Полем Элюаром), и встретила с Ильей Эренбургом, который работал в Париже корреспондентом советской газеты. Марина ни за что не хотела сопровождать сестру, под предлогом, что боится ужасного движения на улицах Парижа. Видела ли она кого-нибудь из бывших друзей — об этом нигде не засвидетельствовано. Осталось также неизвестным — навещали ли в Париже Сергей Эфрон своего бывшего московского друга по школе, Марселя Орбека.

Оказалось, что присутствие Аси было особенным счастьем: вскоре после ее приезда Мур заболел скарлатиной, а вслед за ним и Марина, и Аля. Несколько дней жизнь Марины была в опасности, но ее сильный организм выдержал: в день отъезда Аси она в первый раз встала. Сережа поехал проводить Асю на вокзал; в минуту, когда поезд тронулся,

прибежал Родзевич и передал Асе прощальное письмо Марины. Чувствовали ли тогда сестры, что это настоящая и последняя разлука?

„В последний раз мы виделись в ее тридцать пять, мои тридцать три года. Еще около десяти лет переписывались. Далее жизнь навеки нас разлучила...”¹²

Поездка Аси в Италию к Горькому имела свои последствия в Москве. По-видимому, Пастернак был в таком ужасе от ее рассказов о жизни Марины в эмиграции, что решил все сделать, чтобы облегчить ей возвращение на родину. Когда Горький благодарил его за посланную ему книгу „Детство Люверс”, он обратил внимание знаменитейшего тогда в СССР писателя на Марину Цветаеву.

„В том узле лиц и фактов, которого вы с таким великодушием этим летом коснулись, важно и близко мне огромное дарование Марины Цветаевой и ее несчастная, запутанная судьба... Если бы вы спросили, что я собираюсь *писать* или делать, я бы ответил: все, что угодно, что может помочь ей и поднять и вернуть России этого большого человека, м. б. не сумевшего выровнять свой дар по судьбе или, вернее обратно”.

Горький ответил весьма немилостиво:

„... С В(ашей) высокой оценкой дарования Марины Цв. мне трудно согласиться. Талант ее мне кажется крикливым, даже истерическим, словом она владеет плохо и ею, как А. Белым, владеет слово. Она слабо знает русский язык и обращается с ним бесчеловечно, всячески искажая его. Фонетика, это еще не музыка, а она думает: уже музыка... М. Цветаевой, конечно, следовало бы возвратиться в Россию, но — это едва ли возможно”¹³.

После этого письма между Горьким и Пастернаком на долгое время прекратились отношения.

После выздоровления и отъезда Аси тоска Марины по Анне Тесковой и по Праге возросла до огромных размеров. Прожитые в Чехословакии годы становились в воспоминаниях все прекраснее, а „Пражский Рыцарь” — превратился в символ:

Марина пишет Тесковой:

„(Как я хочу в Прагу! — сбудется? Если даже нет, скажите: да!) В жизни не хотела назад ни в один город, совсем не хочу в Москву (всюду в России, кроме!), а в Прагу хочу, очевидно пронзенная и замороженная. Я хочу той себя, несчастно-счастливой — себя — Поэмы Конца и Горы, себя — души без тела всех тех мостов и мест...”¹⁴

Но мудрая Тескова понимает, что Марина ищет не действительности пражской жизни — а мечту о ней. Слоним, который теперь часто жил в Париже, вспоминает:

„Всякий раз, как я попадал в Чехию, я разговаривал с верным другом М. И., Анной Тесковой, которой она неоднократно писала об этом, но мы оба ясно понимали всю трудность, вернее невозможность подобного предприятия. У меня создавалось впечатление, что умная и рассудительная Тескова, зная способности М. И. творить мифы и самой в них верить, боялась, что поездка в Прагу принесет М. И. не радость, а разочарование”¹⁵.

Много писем должна была написать Цветаева и многих просить, чтобы найти подписчиков для своего нового сборника стихов „После России”. Леонид Пастернак нашел трех подписчиков в Берлине, но в общем, кажется, что никто книгой особенно не интересовался. Когда же она, наконец, появилась, то не вызвала ничего похожего на то восхищение, которое произвели первые книги Цветаевой: критика или молчала, или отвергала „После России”. Только Слоним нашел одобрительные слова. В парижских книжных магазинах можно было еще в конце 50-х годов купить лежавшие там экземпляры. Теперь же за такую книгу заплатили бы огромные деньги.

В июне 1928 года Цветаева опять устроила литературный вечер. Он прошел успешно, хотя сам выбор дня был неудачный: в тот же вечер шел спектакль Московского театра им. Вахтангова, находившегося на гастролях в Париже. Это был тот театр, который раньше носил название „Третьей Студии”. Режиссером театра в Париже был не кто иной, как старый друг Марины — Павел Антокольский. Ей удалось

с ним встретиться. В 1966 году Антокольский рассказал в журнале „Новый мир” о том, как посетил Марину в Медоне, а также о короткой, поспешной встрече с ней в кафе на Boulevard Saint-Michel. По-видимому, они не знали, о чем говорить: тем для разговора было мало.

„О прошлом мы совсем не вспоминали, а о Москве, о России она избегала распространяться — ей это было явно тяжело. Мы прощались наспех, на чужом, людном, бешеном перекрестке, без мысли о будущей встрече, без надежды на встречу”¹⁶.

Другая встреча с прошлым поразила Марину глубже, чем встреча с Антокольским. При подготовке литературного вечера и при продаже билетов Марине деятельно помогала и поддерживала ее Вера Николаевна Бунина, жена Ивана Бунина. (Он так же ненавидел Цветаеву, как и она его.) Только после третьего письма Марина поняла, что эта Вера Бунина, урожденная Муромцева, — не кто иной, как подруга ее сестры Валерии и близкая родственница профессора Д. И. Иловайского. Вдруг перед духовным взором Марины воскресает мир ее детства: дом в Трехпрудном переулке, Нерви, столь горячо любимая Надя Иловайская. Но после пятого письма, 23 мая, корреспонденция прекращается.

10 апреля Анна Тескова получает от Марины необычно веселое письмо:

„У нас в доме неожиданная удача в виде чужой родственницы, временно находящейся у нас. Для дома — порядок, для меня — досуг — первый за 10 лет. Первое чувство не „могу писать”, а „могу ходить”! Во второй же день ее водворения — пешком в Версаль, 15 километров, блаженство. Мой спутник — породистый 18-летний щенок, учит меня всему, чему научился в гимназии (о, многому!) — я его — всему, чему в тетрадь. (Писание — учение, не в жизни же учишься!) Обмениваемся школами. (Только я — самоучка. И оба отличные ходоки.)”

Так началась дружба между Мариной и молодым Николаем Гронским. Он был сыном бывшего московского городского советника, который теперь редактировал „По-

следние новости". Молодой человек обожал ходить пешком, он был альпинистом и, к тому же, писал стихи. Новичок в поэзии и большой поэт быстро друг другу понравились; они предпринимали длиннейшие прогулки пешком и углублялись в разговоры на интересовавшие их обоих темы. Марине очень нравился поэтический талант Гронского, она видела в нем первого настоящего поэта в эмиграции и считала его своим духовным учеником.

Летом 1928 года вся семья Эфрон поселилась в Pontailac на Атлантическом Океане. С Гронским договорились, что и он приедет на несколько дней в сентябре. В ожидании этой встречи между Медоном и Океаном летали в большом количестве письма — двадцать семь его, столько же — ее. Из этой переписки известны до сего дня только отрывки¹⁷. Но под конец Гронский отказался от этой поездки: опять Марина радовалась слишком рано. Грустно писала она Анне Тесковой:

„Так же не поехал на океан, как я не поеду к Вам в Прагу. — Порядок вещей. — Не удивилась совсем и только день горевала, но внутренне — опустошена, ни радости, ни горя, тупость. Ведь я в нем теряю не только его — его-то совсем не теряю! — а *себя — с ним, его — со мной*, данную констелляцию в данный месяц вечности, на данной точке земного шара”¹⁸.

Марина позже вспоминает:

„Это длилось год. Потом началось — неизбежное при моей несвободе — расхождение *жизней* (а весной 1931 г. и совсем разошлись — наглухо)”.

Гронский влюбился в девушку своего возраста и посвятил ей все стихи, которые раньше посвятил Цветаевой — за исключением одного стихотворения, где упоминалось имя Марины. Но Марина продолжала и дальше ценить его как поэта и особенно хвалила его эпос "Belladonna"¹⁹.

Из всех произведений этого лета, по крайней мере одно, лирическое стихотворение, „Разговор с Гением”, обращено к Николаю Гронскому: Высшие Силы наставляют молодого поэта, как он должен писать стихи²⁰. Другое сочинение

этого лета „Красный бычок”, короткое стихотворение в котором проскальзывают намеки на большевиков. В нем идет речь о добровольце гражданской войны, который в 28 лет умирает в Париже от туберкулеза. В бреду ему является смерть под видом весело прыгающего красного бычка, и Марина вдруг понимает, что это и есть тот бычок, который так испугал ее и Мандельштама в Александрове в 1916 году.

Смерть ли молодого добровольца-белогвардейца напомнила Марине героическую борьбу Белой Армии во время гражданской войны? Или „Живой разговор” летом 1928 года? „ — Через десять лет забудут! — Через двести лет вспомнят! — Второй — я”²¹. Во всяком случае в Pontaillass Марина принялась за новую работу. Она пишет Тесковой:

„Пишу большую вещь: Перекоп (конец Белой Армии) — пишу с большой любовью и охотой, с несравненно большими, чем напр. Фредру”²².

В этой работе она использовала дневник мужа.

Но тут произошла чисто цветаевская невзгода: как раз тогда, когда Марина преданно и радостно воздвигала памятник Белой Армии, как раз тогда, когда „Последние Новости” начали печатать в продолжениях „Лебединый стан” и настойчиво запрашивали стихи из периода „Юношеских стихов” — произошло событие, которое глубоко скомпрометировало писательницу в глазах парижских эмигрантов: приехал Маяковский. На литературном вечере он читал свои стихи. Марина всегда им восхищалась. Теперь она напечатала в первом номере издаваемой ее мужем газеты „Евразия” следующее „приветствие” Маяковскому:

„28-го апреля 1922 г., накануне моего отъезда из России, рано утром, на совершенно пустом Кузнецком, я встретила Маяковского.

— Ну-с, Маяковский, что же передать от Вас Европе?

— Что правда — здесь.

7-го ноября 1928 г., поздним вечером, выходя из Cafe Voltaire, я на вопрос:

— Что же скажете о России после чтения Маяковского? не задумываясь ответила:

— Что сила — там”²³.

Это роковое заявление, да к тому же в новой евразийской газете, которую обвиняли в сотрудничестве с большевиками, вызвало взрыв всеобщего негодования. „Последние Новости” сейчас же прекратили печатать „Лебединый стан” — полное его издание появилось только в 1957 году в Мюнхене — и с этого времени Цветаева считалась среди эмигрантов сотрудницей большевиков. Позже „Последние Новости” опять начали печатать ее произведения, но многие из нетерпимых создателей политического мнения порвали с ней навсегда.

А как реагировал Маяковский? Был ли он хотя бы благодарен Марине за ее смелое выступление? Он „забыл” у Эльзы Триоле экземпляр „После России” с собственной надписью автора. Позже, 26 сентября 1929 года, он заявил в своей речи на II Пленуме руководителей РАПП:

„Там говорят относительно поэтессы Цветаевой: у нее хорошие стихи, но идут мимо. Отсюда выход: надо дать Цветаевой ----- чтобы не шла мимо. Это полонщина, которая шла „сама по себе”, которая агитировала за переиздание стихов Гумилева, которые „сами по себе хороши”. А я считаю, что вещь, направленная против Сов. Союза, направленная против нас, не имеет права на существование, и наша задача сделать ее максимально дрянной и на ней не учить!”²⁴

ГЛАВА 22

После политического скандала — „приветствия” Цветаевой Маяковскому — в скором времени последовал второй: 22 января 1929 года Марина писала Тесковой:

„У евразийцев раскол... (пр. 2 с.) Проф. Алексеев (и другие) утверждают, что С. Я. чекист и коммунист. Если встречу — боюсь себя... Профессор Алексеев... (пр. 1 с.) негодяй, верьте мне, даром говорить не буду. Я лично рада, что он уходит, но очень страдаю за С., с его чистотой и жаром сердца. Он, не считая еще двух-трех, единственная *моральная сила* Евразийства. Верьте мне! — Его так и зовут „Евразийская совесть”, а проф. Карсавин о нем: ’Золотое дитя евразийства’ ”.

Раскол евразийцев усилился из-за того, что князь Н. С. Трубецкой и некоторые другие бросили это общество, которое уже тогда находилось под влиянием коммунистов¹. Какую роль играл там Сергей Эфрон? Жил ли он тогда только своей мечтой и идеалом или уже в 1929 году деятельно сотрудничал с коммунистами? — Точно установить это уже

нельзя. Зинаида Шаховская считает, что он был виноват в расколе евразийцев.

Слоним и его кружок молодых писателей, назвавший себя „Ковчег“, не участвовали в политической травле. Среди них Марина была желанным гостем. В начале 1929 года Слоним познакомил ее с Наталией Гончаровой. Знаменитая художница была внучатой племянницей жены Пушкина и носила то же имя. Познакомились они в конце января, в знаменитом ресторанчике „Petit Saint-Benoit“, на левом берегу Сены — любимом ресторане Ларионова и Гончаровой. За чашкой кофе в близком „Café de Flore“ Марина сказала, что хотела бы что-нибудь написать об этих обеих Наталиях Гончаровых. Было решено, что Марина придет в ателье, чтобы поближе познакомиться со своей моделью.

„Мой подход к ней — изнутри человека, такой же, думаю, как у нее к картинам. Ничего от внешнего. *Никогда* не встречала такого огромного я среди художников (живописцев)“².

Гончарова, со своей стороны, сделала иллюстрации к поэме „Молодец“; она давала уроки рисования Але. Марина очень ценила Гончарову. Но она находила, что та была слишком тихая, слишком пассивная для настоящей дружбы. Однако при этом она сама признает:

„Мне всегда совестно давать больше, чем другому нужно (=может взять!) — раньше я давала — как берут — штурмом! Потом — смирилась. Людям нужно другое, чем то, что я могу дать. Раз М. Л. мне сказал: „Одна голая душа. Даже страшно!“³

Большая „Не-статья“ под названием „Наталя Гончарова“ была напечатана в 1929 году в трех номерах газеты „Воля России“. Это блестящий разбор сходства и зависимости разных видов искусства между собой; с большой фантазией и большим „чутьем“ набросок о легкомысленной и поверхностной жене Пушкина, целый клад автобиографических сведений о жизни самой Цветаевой, но — это не биография художницы Гончаровой. Интуиция покидает Цветаеву, когда она имеет дело с живым человеком, и

картин Гончаровой она совсем не понимает. Еще раз подтверждается, что Цветаева находит контакт к искусству только с помощью слуха⁴.

Весной 1930 года Марина опять возвращается к Рильке. Для газеты „Воля России” она переводит „Письма молодому поэту” на русский язык и пишет при этом в предисловии:

„Убеджена еще, что когда буду умирать — за мной придет. *Переведет* на тот свет, как я сейчас *перевожу* его (за руку) на русский язык. Только так понимаю — перевод”⁵.

В то же время подвигалась работа над „Перекопом”. Но 15 мая пришлось прекратить эту незаконченную задачу: материал для повести о нем — Дневник Сережи — вдруг исчез.

„Последнего Перекопа не написала — потому что дневника уже не было, а сам перекопец... к Перекопу уже остыл — а остальные, бывшие и *не* остывшие — рассказывать не умели — или я не понимала (военное). Так и остался последний Перекоп без меня, а я — без последнего Перекопа. — Жаль”⁶.

Так писала Марина Цветаева, когда осенью 1939 года переписывала свою работу в тетрадь; при отъезде ее в Советский Союз эта тетрадь осталась на Западе. А в самом конце тетради 7 января 1939 года, она приписала послесловие:

Н. В. А может быть — хорошо, что мой *Перекоп* кончается победой: так эта победа — *не* кончается”⁷.

Добрыми друзьями Цветаевой еще с пражских времен и сотрудниками „Воли России” были муж и жена Лебедевы. Летом 1929 года они пригласили Алю приехать к ним в Бретань. Для Марины и Мура — денег не хватило. Пришлось остаться в Медоне. Но стремление и привязанность к зеленым холмам Вшенор только увеличились. Марина мечтала о том, чтобы в награду за безвыездное лето поехать осенью в Прагу, повидать Анну Тескову и „позаботиться о душе”.

Опять строятся планы литературного вечера в Праге; даже кажется, что на этот раз все удастся и устроится. В письмах уже точно говорится о продаже билетов и о снятии

зала. Марина будет читать в Бельгии и оттуда хочет поехать в Чехословакию. Но, кажется, на этот раз Тескова сама отказалась в последнюю минуту от этого плана.

Но в то же время — другое событие: перед самым отъездом в Брюссель Марина пишет Тесковой:

„'Евразия' приостановилась, и С. Я. в тоске — не может человек жить без непосильной ноши. Живет надеждой на возобновление и любовью к России...”

Потом приходит открытка из Брюсселя:

„С. Я. с перерывом Евразии ничего не зарабатывает, мои доходы Вы знаете. Если и 500 чеш. крон кончатся — не знаю, что будем делать. (пр. 32 стр.) ...”⁸

Потом Тескова получает письмо без даты:

„Дорогая Анна Антоновна! Давным-давно от Вас нет вестей... А у нас — печальные: на почве *крайнего* истощения у С. Я. возобновился старый легочный процесс — пока не активный, но грозный именно из-за его истощения... (пр. 6 с.) Врачебная помощь нам обеспечена, но главное дело в санатории (отъезд, отдых, воздух, покой) = больших деньгах. Евразия кончилась, а с ней и редакторское скромное жалование, живем в долг — куда там санатория!.. Ради Бога, чтобы только не прекратилось в 1930 г. чешское иждивение. Тогда мы совсем пропали. Вот я полгода писала Перекоп (поэму гражданской войны) — никто не берет, правым — лева по форме, левым — права по содержанию. Даже Воля России отказалась — (мягко, конечно — не задевая — скорее *отвела*, чем отказалась. Словом полгода работы даром — не только не заплатят, но и не напечатают, т. е. *не прочтут.*)”

И на этот раз друзья помогли. Сережу удалось устроить в замок Arcine, около St. Pierre-de-Rumilly, в Горной Савойе. Там находился русский санаторий — совсем близко к швейцарской границе, около Женевы.

Весна 1930 года стала для Цветаевой трудным испытанием. Она была одна — на все. Так как в этом году Аля училась в художественной школе при Louvre, то Марина вынуждена была решать все задачи сама: и заботы о больном муже, и безденежье. „...Одна со своими руками...”, — как

она писала Вере Буниной. Ей же она описывала свое положение:

„У меня очень болен муж (туберкулез легких — три очага — + болезнь печени, к-рая очень осложняет лечение из-за диеты). Кр. Крест второй месяц дает по 30 фр. в день, а санатория стоит 50 фр., мне нужно 600 фр. в месяц доплачивать, кроме того, стипендия со дня на день может кончиться, гарантии никакой, а болезнь — с гарантией — с нею не кончится”⁹.

Следующее письмо начинается:

„Христос воскрес, дорогая Вера Николаевна! И одновременно Воистину...” ... И слова благодарности. По-видимому, Вера Николаевна ей сразу же помогла.

Несмотря на все невзгоды, Марина продолжала писать. Она перевела на французский язык свою поэму „Молодец” и таким образом надеялась стать известной среди французских читателей. В апреле она занималась подготовкой литературного вечера и возлагала последние надежды на возможный денежный успех. 26 апреля, в зале Географического Общества, состоялся этот вечер. Тема вечера — романтика. Нашлось много знаменитостей, которые своим участием послужили успеху этого вечера: не только С. М. Волконский, но даже Георгий Адамович, Георгий Иванов, Николай Оцуп, Борис Поплавский и Н. А. Тэффи читали свои произведения. Вечер имел большой успех¹⁰. Денежный успех значил для Марины не только облегчение повседневных забот. Он дал ей возможность нанять маленькое старое шале совсем недалеко от замка Arcine — санатория, где лечился ее муж, и остаться там до тех пор, пока в октябре 1930 года Сережа не был выписан из санатория. Дом был маленький и примитивный, но местность — великолепная. Елена Извольская провела часть лета с Мариной; она сама описала это сказочно прекрасное время, бесконечные прогулки и бесконечные разговоры до утра. Хозяйством и скучной домашней работой занимались как можно меньше.

Итог литературного творчества за это время одиночества

и покоя — окончание перевода поэмы „Молодец” („Le Gars”) и цикл стихов на смерть Маяковского¹¹.

В октябре 1930 года семья Эфрон вернулась в Медон. Сергей Яковлевич больше не был способен работать. Любое напряжение было ему не под силу. Он записался на курсы кинематографической техники и надеялся по окончании курсов работать оператором. С большим трудом удалось Марине опять „пустить в ход” свое хозяйство, но она сейчас же принялась за дальнейшую литературную работу. Она писала Тесковой:

„Сейчас продолжаю большую вещь, начатую прошлой зимой. Писать некогда, но все-таки пишу...”¹²

Теперь все надежды Марины сосредоточились на появлении „Le Gars”. С иллюстрациями Гончаровой. Эта поэма должна была быть напечатана во французском литературном журнале. Марина вела об этом переписку (по-французски) с Шарлем Вильдраком. От этой переписки сохранилось только одно письмо в переводе с французского на русский язык — ответ Цветаевой на вопрос: почему она написала это произведение в стихах? Ответ можно сосредоточить в одной фразе:

„...Чтобы вещь *продлилась*, надо чтобы она стала песней...”¹³

Возможно, что именно Вильдрак устроил Марине приглашение прочесть „Le Gars” в известном парижском литературном салоне. Елена Извольская сопровождала ее:

„Марина прочла свой перевод „Молодца”. Он был выслушан в гробовом молчании. Увы! русский парень не подошел к царствующей в этом доме снобистической атмосфере. Думаю, что в других парижских кругах ее бы оценили, но после неудачного выступления — Марина замкнулась в свое одиночество”¹⁴.

„Le Gars” до сих пор не появился в печати и, наверное, пролежит до 2000 года в ЦГАЛИ в Москве.

В продолжение всех этих лет Елена Извольская была вернейшим и любящим другом Цветаевой. Известие, что эта столь любимая ее подруга собирается в начале 1931 года

выйти замуж и переехать в Японию, было для нее тяжелым ударом. Извольская рассказывает:

„Марина превратила мой отъезд в настоящую драму. Это не значит, что она особенно горевала обо мне. Нет, в ее глазах, в моей жизни кончались „будни”, наступило время тревоги, неуверенности, полета в неизвестность. Марина ко мне зачастила, приходила ко мне несколько раз в день, баловала, дарила книги, развлекала стихами и рассказами, помогала мне укладываться, или, скорее, мешала своей хлопотливостью. Мое приближающееся путешествие превратилось в миф. Разлука действительно сделалась трагедией. Помню Марину на вокзале, когда я села в вагон. Она стояла на перроне, бледная, безмолвная, неподвижная, как статуя. Эти проводы напоминали скорее похороны...

Увы, ни она, ни я не думали, что вскоре нам предстоит иная разлука. Или, быть может, тогда, на вокзальном перроне, провожая меня, она уже прощалась со мной навеки, не в земном только плане. Было нечто пророческое в этой неподвижной фигуре. Да, то было предвестием катастрофы, ее катастрофы. Марина ушла в ночь и у меня ничего не осталось, кроме печали о ней навсегда”¹⁵.

С укладывания вещей перед этим переездом и уничтожения ненужных бумаг начинается „История одного посвящения”, посвященная „Дорогому другу Е. А. И. — запоздалый свадебный подарок”. В самом деле, уничтожение бумаг у Извольской оказывается прямой причиной этого прелестного произведения, потому что это наводит Марину на мысль сделать дома то же самое. При этом, как она сама рассказывает, ей попадает в руки газетный лист с фантастическим повествованием Георгия Иванова — его воспоминания об Осипе Мандельштаме. Кроме разных анекдотов и рассказов, Георгий Иванов повествует о том, как в 1916 году Мандельштам в Крыму познакомился и полюбил брюнетку женщину-врача (которая жила с богачом-армянином); ей он будто бы посвятил начальные стихи своей книги „Триптих”. Полная негодования Марина рассказывает о своем знакомстве с Мандельштамом, о том, как возникли стихи „Не веря

в воскресенье чуда”; она говорит и о лете 1916 года, проведенном вместе в Александрове. При этом читатель имеет возможность ближе познакомиться с личной жизнью Марины, с ее воспоминаниями о родительском доме в Москве, а также о жизни в Медоне.

Но и „История одного посвящения” не принесла Марине желанного успеха: как и „Перекоп”, и „Le Gars”, „История” осталась в ящике ее стола. Может быть, даже намеренно. Потому что тот лживый рассказчик, в воспоминаниях которого фантазия преобладает над правдой, слишком хорошо был всем известен.

После отъезда Извольской Марину окружает одиночество и безмолвие. Также сама собой прекращается и дружба со столь почитаемой Гончаровой: биография закончена; Аля берет уроки не у знаменитой художницы, а ходит в школу Живописи в Лувре. Однообразно текущая повседневная жизнь и хозяйство, необходимость дрожать над каждым су мешает ей, как уже часто бывало, подойти ближе к людям. Так ей опять остается только ее тетрадь и — это новое — любимая книга; Зигрид Ундсет „Kristin Lavranstochter”. Марина чувствует, что героиня этого романа — это, как будто, она сама. Она пишет Тесковой:

„...Иногда я думаю, что такая жизнь, при моей непрестанной работе, все-таки — незаслужена. Погубило меня — терпение, моя семижильная гордость, якобы — все могущая: и поднять, и сбросить, и нести и *снести*. Если бы я была как все женщины моего круга (N. B.! а есть ли у меня круг!?) — или как все писатели (моего круга, которого уже заведомо нет!) за меня бы все делали, а я бы глядела. Женщина бы глядела, а писатель бы писал. Если буду жить в другой раз — буду знать...”¹⁶

ГЛАВА 23

С 23 октября 1929 года на Западе вдруг все изменилось. На нью-йоркской Бирже наступила „черная пятница”, большой крах банков и спекулянтов. В течение нескольких часов многие американцы, а впоследствии и европейцы, потеряли имущество, работу, оптимизм и уверенность в жизни. Начали царить безработица, нищета и страх перед будущим. Особенно в недавно побежденных странах росла политическая радикализация: в Германии, при выборах в „Рейхстаг” 14 сентября 1930 года, какая-то туманная партия под названием NSDAP — „Национал-социалистическая немецкая рабочая партия”, возглавлявшаяся неким неудавшимся австрийским художником Адольфом Гитлером и обещавшая всем работу и восстановление германской чести, получила столько голосов, что располагала теперь 107 мандатами вместо прежних 12-ти.

Во Франции не только для семьи Эфрон, но и для других эмигрантов жизнь становилась все труднее и труднее. Миро-

вой экономический кризис захватил всех, не только их, но и местных жителей. Разница заключалась в том, что местное население имело больше возможностей и прав защищаться от нужды. Одно за другим начали закрываться издательства и типографии; бедствовали книжные магазины, а также читатели; бедствовали журналы; лирические произведения почти что больше не печатались. Каждый заботился только о себе: от братской помощи 20-х годов среди писателей ничего не осталось. Судьба бедствовавших русских литераторов перестала интересовать кого-либо; никто больше не хотел покупать билеты на все те же литературные вечера.

Ко всему этому положению прибавилась политическая радикализация и среди русских. Если до 1930 года французская общественность не интересовалась своими незваными гостями, то теперь среди французской интеллигенции стал расти интерес к Советской России, после того как несколько французских писателей поехали туда, чтобы ближе познакомиться с коммунистическим экспериментом создания „нового человека”. Они вернулись в восторге, и когда Бунин и Бальмонт опубликовали несколько документов о притеснении художественного творчества в СССР, на них яростно напал в прессе Ромэн Роллан.

Трудное экономическое положение способствовало резкой политической поляризации среди русских эмигрантов. Многие восхищались итальянским фашизмом или даже с симпатией наблюдали нападки Гитлера на евреев и большевиков. К тридцатым годам возникло несколько революционных движений среди „ненужных” молодых, подражавших фашизму или сочувствовавших ему: „Союз младороссов”, „Национально-трудовой Союз нового поколения” — оба национального, антидемократического характера; „Национал-максималисты”, у которых были антисемитские, национал-большевистские тенденции, просоветское течение, которое проповедовало возвращение в Советскую Россию. На сцене появился активный „Союз возвращения на родину”. Варшавский, который подробно описывает все эти

течения, говорит, что через соблазн этих радикальных идей им всем пришлось пройти¹.

Когда именно С. Я. Эфрон попал всецело в советское русло, точно установить нельзя. Зинаида Шаховская, например, считает, что он уже приложил руку к „советизации” газеты „Евразия”². По рассказам знакомых Сергей Яковлевич всегда нуждался в идее, которой он мог бы служить. Вероятно, и безвыходное положение семьи, и его болезнь, и враждебное отношение эмигрантских кругов сыграли известную роль в его приближении к советской власти. Перед ним была теперь только одна цель: возвращение на родину. Что для достижения этой цели от бывшего офицера Белой армии потребуется высокая цена — этого он, может быть, не совсем понимал.

Под влияние отца попали и его дети: Аля, которая для себя во Франции никакой перспективы не видела, и подросток Мур. То, что Цветаева эти политические стремления мужа не разделяла, видно даже из строго цензурированных писем к Тесковой. Ее отношение к большевистскому строю не изменилось. Она пишет Иваску:

„Вы может быть хотите сказать, что моя ненависть к большевикам для нее (т. е. для эмиграции. — Ю. И.) слаба? На это отвечу: *иная* ненависть, инородная. Эмигранты ненавидят, п. ч. отняли имения, я ненавижу за то, что Бориса Пастернака могут (так и было) не пустить в его любимый Марбург — а меня — в мою рожденную Москву. А казни, голубчик — все палачи — братья: что недавняя казнь русского с *правильным* судом и слезами адвоката — что выстрел в спину чеки — клянусь, что это одно и то же, как бы оно не звалось: мерзость, которой я *нигде* не подчинюсь, как вообще никакому организованному насилию, во имя чего бы оно ни было и с чьим именем оно бы ни оглавлялось...”³

Но несмотря на это, в тридцатые годы, под влиянием семьи и внешних обстоятельств, интерес Цветаевой к родине и тоска по России постепенно нарастают, хотя она это и от-

вергает. Это видно из стихов, написанных в это время, как например, „Лучина”:

До Эйфелевой — рукою
Подать! Подавай и лезь
Но каждый из нас — такое
Зрел, зрит, говорю, и днесь,

Что скушным и некрасивым
Нам кажется ваш Париж.
„Россия моя, Россия,
Зачем так ярко горишь?”

и даже еще больше сказывается в „Стихах к сыну”:

Наша совесть — не ваша совесть!
Полно! — Вольно! — О всем забыв,
Дети, сами пишите повесть
Дней своих и страстей своих.

Соляное семейство Лота —
Вот семейственный ваш альбом!
Дети! Сами сведите счета
С выдаваемым за Содом

Градом. С братом своим не дравшись —
Дело чисто твое, кудряш!
*Ваш край, ваш век, ваш день, ваш час,
Наш грех, наш крест, наш спор, наш*

Гнев. В сиротские пелеринки
Облаченные отродясь —
Перестаньте справлять поминки
По Эдему, в котором вас

Не было! По плодам — и видом
Не видали! Поймите: слеп —
Вас ведущий на панихиду
По народу, который хлеб

Ест, и вам его даст — как скоро
Из Медона — да на Кубань.
Наша ссора — не ваша ссора!
Дети! Сами творите брань
Дней своих”⁴.

Самое странное при этом, что Марина и, очевидно, ее семья тоже, не отдавали себе отчета в том, что народ в эти дни не „ел хлеба”, а занимался раскулачиванием страны.

Стихов Цветаева стала писать все меньше и меньше (журналы больше их не брали), но зато начинается период ее „лирической прозы”. Из прозы также видно, что ее сердцу особенно дороги те писатели, которые остались на родине. По заказу Слонима она пишет в феврале 1931 года статью „О новой русской детской книге”⁵, где объясняет читателю, что детские книжки в Советской России гораздо лучше тех, которые писали раньше, и очень обижается, когда газета, для которой вещь написана, отказалась ее напечатать:

„Написала о новой детской книге там в России, о ее богатстве, сказочном реализме (если хотите — почвенной фантастике), о ее несравненных преимуществах над дошкольной литературой моего детства и — эмиграции. (Все на цитатах.) Но тут и был ”Hund begraben”. Нынче письмо: статьи взять не могут, п. ч. де и в России есть плохие детские книжки. Писала — даром. (N. В. В статье, кстати, ни разу „советская” — все время: русская, ни тени политики, которая в мою тему (дошкольный ребенок) и не входила. Деньги, на к-ые издается газета, явно — эмигрантские. ...Так я высокомерно и безмолвно отстраняюсь. Все меня выталкивают в Россию, в которую я *ехать не могу*. Здесь я *ненужна*. Там я *невозможна*”⁶.

Особенно странное произведение этого лета — стихи „Сибирь”: это описание города Тобольска, в котором смешиваются евразийские темы и гордость за славного завоевателя Сибири Ермака. Стихи кончаются скорее неожиданно:

Тобольск, Тобольск, дощатый скит!
Тобольск, Тобольск, дощатый гроб!⁷

Совершенно ясно, что стихи относятся, — как Марина несколько раз намекает, — к поэме о гибели царской семьи (произведению до сих пор не найденному), и что „Сибирь” — единственный когда-либо опубликованный ее отрывок.

Проза Цветаевой — статья о детской книге в России — была напечатана в „Воле России”, но с редакционными оговорками. Она еще более ухудшила ее политическую репутацию. Никто больше не старался ее понять:

„Мое горе с окружающим в том, что я *не дохожу*. Судьба моих книг: всякий хочет 1. попроще, 2. повеселей, 3. понарядней. Так одинока как это пятилетие я никогда не была. Дома я вроде „стража беспечности” (как мне нравилось это чешское название!) — роль самая невыгодная. Весь день дозировать, направлять и все по мелочам. Иногда с горечью думаю: все у меня в доме и все вокруг более „поэты” чем я. У меня от „поэзии” — только моя несчастная тетрадь”⁸.

Тяжелое впечатление произвела и пришедшая из Москвы новость: Маринин обожаемый Пастернак бросил свою семью, потому что влюбился в другую женщину. Марина пишет Тесковой:

„Годы жила мечтой, что увижусь. Теперь — пусто. Мне не к кому в России. Жена, сын — чту. Но *новая любовь* — отстраняюсь. Поймите меня правильно, дорогая Анна Антоновна: *не ревность*. Но — раз без меня обошлись! У меня к Б. было такое чувство, что: буду умирать — его позову. Потому что чувствовала его, несмотря на семью, совершенно одиноким: моим. Теперь мое место замещено...”⁹

Денежное положение все безнадежнее. Сережа без работы и не способен работать; три произведения Марины, которые должны были улучшить домашний бюджет, лежат в ящике:

„Все это — на потом, когда меня не будет, когда меня откроют” (не откроют!)...”

Все больше и больше друзей исчезало из поля зрения Марины. Извольская была далеко (хотя она позже и вернулась в Париж, бывшая близость уже не восстановилась). Святополк-Мирский, который все эти годы помогал Марине, послал ей последний чек. Этот несчастный, мятежный, обреченный человек делался мягким, ребячески доверчивым, почти счастливым, как замечает Извольская, только тогда, когда он часами сидел на кухне у Эфронов и молот кофе на маленькой турецкой мельнице. В Англии он примкнул к коммунистической партии; в 1932 вернулся в Россию, и в 1937 году исчез в каком-то лагере.

Таким образом, члены „Комитета помощи Цветаевой” или разъехались или сами нуждались в помощи. Оставалась лишь Саломея Андроникова-Гальперн¹⁰. „Воля России”, спасительный якорь многих лет, начинала выходить с опозданием — зловещее предупреждение, что кризис угрожает и редакции пражского журнала. К довершению всех несчастий чешская стипендия приходит с большим опозданием. Чешское правительство сообщает почти всем стипендиатам, что на эту поддержку больше нельзя рассчитывать. Какой-то ангел-хранитель в Праге устраивает так, что Цветаева и Ремизов — самые бедные из русских писателей — этой помощи не лишаются. Когда осенью 1931 года приближается „катастрофа нашего терма (трехмесячной квартирной платы)”, то опять друзья (между ними и Тескова) собирают деньги, чтобы заплатить за квартиру до конца года. Марина пишет Тесковой:

„Живу из последних (душевных) жил, без всяких внешних и внутренних впечатлений, без хотя бы малейшего повода к последним. Короче: живу как плохо действующий автомат, плохо — из-за еще остатков души *мешающей* машине. Как несчастный, неудачный автомат, как насмешка над автоматом... Быт мне мозги отшиб! Живу жизнью любой медонской или вшенорской хозяйки, никакого различия; *должна* все что должна она и ничего не смею чего не смеет она — и многого не имею, что имеет она — и многого не умею. В тех же обстоятельствах (а есть ли вообще те же

обстоятельства??) другая (т. е. не я — и уже все другое) была бы счастлива, т. е. — и обстоятельства были бы другие... Но несделанное свое (брошенные стихи, неотвеченное письмо) меня грызут и отравляют все. Иногда не пишу неделями (N. В. хочется — всегда) просто не сажусь”¹¹.

Как раз в это самое неподходящее время появился гость из Праги: Николай Еленев. Он рассказывает:

„В 1931 году, в конце лета, я навестил семью режиссера Т-го в Медоне около Парижа. Во время ужина послышался звонок в передней. В столовую неожиданно вошел Эфрон... Наши отношения оборвались еще до этого. Мы не переписывались. Расспрашивал о жизни в Чехии, общих знакомых и всячески настаивал, чтобы по окончании трапезы, несмотря на поздний час, я зашел бы к ним. „Марина будет так рада вспомнить старое. Ведь сколько лет мы не виделись!”... Уже до этого мои друзья, обосновавшиеся в Париже, предупредили меня, что с Цветаевой происходит что-то непонятное: политически ей перестали доверять. Но отказаться от приглашения было невозможно. ... Комната, в которой жила Марина: Две кровати у стены, изголовье к изголовью. На бесцветных стенах ни одной картины, ни одной фотографии. Неряшливый деревянный стол, неубранная посуда. Табачный дым. И в нем тусклая электрическая лампочка.

Ожидания Эфрона были ошибочны. Марина не только не обрадовалась моему приходу, но встретила безразлично, пожалуй, даже сухо. Глядела упорно в сторону и беспрестанно курила. Кожа на ее лице (Марина не употребляла румян) стала желтовато-мутной. Осень приближалась не только на дворе. ... Лучистый нимб Марины больше не ощущался, он погас. От него исходило что-то чужое, недружелюбное... Эфрон чувствовал смущение. Пытался вывести Марину из ее мрачного состояния. Ничто не помогало. Оставалось только откланяться. Исповеди от Марины не слышал, вероятно, даже священник. Тем меньше мог ожидать ее я. Ни прошлое Марины, ни Франция с ее умением светского обхождения не научили ее притворству. Уходя, досады я не чувствовал, знал только, что мы никогда боль-

ше не встретимся. Молчание Марины было молчанием человека, у которого не было больше выхода..."¹²

Слоним отчасти подтверждает эти наблюдения Еленева. И ему настроение Марины Цветаевой показалось в 1931 году особенно удрученным и подавленным. Он приписал это, главным образом, политическим разногласиями в семье. Но он вспоминает и одно веселое событие: он и С. С. Прокофьев с женой предприняли поездку к Марине; Прокофьев был отвратительным шофером, но правил сам автомобилем; по дороге домой он был так очарован личностью Цветаевой, что въехал в телеграфный столб и, таким образом, чуть-чуть не отправил своих пассажиров на тот свет.

Несмотря на эти тяжелые условия жизни, у Марины все еще хватало сил и энергии для исполнения своих творческих замыслов. В течение этого лета возник цикл стихов „Стихи к Пушкину“¹³, „Ода пешему ходу“¹⁴, которая появилась в печати после смерти Марины, и начало лирического автопортрета „Дом“.

Может быть, стихи Пушкина и сосредоточение на любимом поэте приводят Марину к ее любимой теме, особенно ей близкой. Несмотря на заботы по дому и хозяйству, с поражающим рвением всю зиму и большую часть 1932 года продолжает она вырабатывать свою теоретическую точку зрения на отношение между искусством и художником-писателем. На примере Пушкина и других великих писателей Марина определяет, в чем заключается для нее сущность искусства: в моральном обязательстве поэта по отношению к своему времени и своей собственной совести. Она пишет свой „magnum opus“, свое художественное Credo: Искусство при свете совести”.

„Быть человеком важнее, потому что нужнее. Врач и священник важнее поэта, потому что они у смертного одра, а не мы. Врач и священник человечески-важнее, все остальные общественно-важнее. Важна ли сама общественность — другой вопрос, на него вправе буду ответить только с острова. За исключением дармоедов, во всех их разновидностях — все важнее нас.

И зная это, в полном разуме и твердой памяти расписавшись в этом, в не менее полном и не менее твердой утверждаю, что ни на какое другое дело своего не променяла бы. Зная большее, творю меньшее, посему мне прощенья нет. Только с таких, как я, на Страшном Суде совести и спросится. Но если есть Страшный Суд слова — на нем я чиста”.

Книга „Искусство при свете совести” никогда не вышла полностью. Может быть, что Марина Цветаева ее так и не закончила. Но и возможно, что это вина газеты „Современные записки”; несмотря на часто повторяемые протесты автора, редактор Руднев наполовину урезал это произведение¹⁵. В печати появились только две главы: одна носит название, данное автором („Искусство при свете совести”), вторая — „Поэт и время”¹⁶. До этого Марина читала эти две главы, 21 января и 25 мая 1932 года, перед собравшейся многочисленной и заинтересованной публикой. В первый вечер, во время последующей после чтения дискуссии, ей бросился в глаза молодой русский поэт из Праги А. Эйсер. Позже он много помогал Марине; он также посоветовал ей пригласить Г. П. Федотова на второй вечер и последующую дискуссию. Первое короткое письмо (от 16 мая) Марины к Федотову касается этой темы.

Георгий Петрович Федотов, которого Г. Струве называет одним из самых блестящих писателей и издателей эмиграции, после „Поэмы Горы” и „Крысолова” был восторженным почитателем Цветаевой. Он был одним из тех довоенных марксистов-интеллигентов, которые впоследствии стали глубоко верующими, и принадлежал в Париже к ведущим лицам в „Русском Студенческом Христианском Движении”. В начале тридцатых годов они искали выход из положения в сочетании христианства с социальным и демократическим мышлением. В 1931 году Федотов, Степун и И. И. Фондаминский-Бунаков основали журнал „Новый Град”, где сотрудничали также Бердяев, Булгаков, Н. О. Лосский и мать Мария (Скобцова) — она в своем „Православном деле” больше занималась активной социальной работой.

Г. П. Федотов пригласил Цветаеву написать что-нибудь

для „Нового Града”, и таким образом она вошла в контакт с этой очень деятельной группой. Ее письма к Федотову относятся, главным образом, к статье, написанной для „Нового Града” — „Эпос и лирика в современной России: Маяковский и Пастернак”¹⁷. Здесь Цветаева возвращается к своей любимой теме: она ставит рядом прирожденного бойца, „статуарного” Маяковского, и прирожденного поэта, „динамичного” Пастернака, которые, как она пишет, связаны „только одной наличностью — силы”, у которой „одно общее отсутствие: объединяющий их пробел песни...”

„21-го был мой доклад „Поэт и время” ”, — сообщает Цветаева Тесковой 27.1.1932. — „В зале ни одного свободного места, слушатели очень расположены, хотя говорила я резкие правды...”

Весной 1932 года семья была вынуждена покинуть Медон. Без помощи богатых друзей они просто не могли больше оплачивать квартиру. Они переехали в предместье Парижа Кламар, где уже жило много русских. Вначале они приютились в маленькой квартире на Rue Condorcet, no. 101. На следующий год они поселились в непосредственной близости от Николая Бердяева на Rue Lazare Carnot, No. 10.

В доме на Rue Condorcet Марина Цветаева закончила „Искусство при свете совести” и целое лето — „спины не разгибая”, писала один из своих самых очаровательных литературных портретов — ее воспоминания о Максимилиане Волошине „Живое о живом”¹⁸. Поводом послужило известие о смерти друга и покровителя из Коктебеля. Эти воспоминания написаны так живо, что перед глазами читателя встает и живой человек, и одновременно мифическое существо богатыря. Ходасевич не смог не напечатать в „Возрождении” короткую сухую заметку:

„Воспоминания Цветаевой о Волошине гораздо значительнее, чем сам Волошин. В этом заключается ее несравненное литературное искусство и очевидная ошибка ее воспоминаний”.

В 1933 году перестала выходить „Воля России”. Тяжелый удар для Марины Цветаевой не только с денежной точки

зрения. Пражская газета предоставляла ей не только полную художественную свободу, но и печатала все написанное ею без малейшей помарки. Теперь ей остались „Современные записки”, но там В. В. Руднев был ответствен за отдел литературы, а стиль Цветаевой был ему непонятен. Теперь письма Марины полны жалоб на Руднева, на его вмешательство, вычеркивания в ее текстах или вообще отказы печатать под предлогом, что читателям не нравятся ее стихи. Марк Вишняк — долголетний издатель этой газеты — опровергает большую часть этих жалоб¹⁹.

Горькая нужда не прекращается и на Rue Condorcet. Марина пишет Федотову:

„Милый Георгий Петрович, умоляю еще раз написать Фондаминскому о гонораре, нас уже приходили описывать — в первый раз в жизни”.

24 мая она извиняется, что не пришла в гости:

„Милый Георгий Петрович и Елена Николаевна, не забыла, но в последнюю минуту, вчера, отказалась служить — приказала долго жить — резиновая подметка, т. е. просто отвалилась, а так как сапоги были единственные...”

В то же самое время Марина работает над новым сочинением, о котором она намекает в письмах Тесковой и Буниной:

„Стихов за зиму писала мало: большая работа о М. Волошине и перевод своей собственной вещи на французский: 9 (своих собственных настоящих) писем и единственное, в ответ, мужское — и послесловие: Postface ou Face posthume des choses — и последняя встреча с моим адресатом, пять лет спустя, в новогоднюю ночь. Получилась *цельная* вещь, написанная жизнью. Но с моим обычным везением — похвалы (французов) со всех сторон, а рукопись лежит. И очевидно будет лежать — как и мой французский Молодец, иллюстрированный Гончаровой...”²⁰

Глеб Струве пишет об этой вещи:

„Судьба упоминаемой здесь „французской прозы” нам неизвестна; в печати эта вещь как будто бы не появилась”²¹.

В семье Марина чувствует себя все более и более одинокой. Она доверяется Тесковой:

„С. Я. совсем ушел в Сов. Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет”²².

Мы знаем благодаря Франтишкеу Кубке, что в 1932 году Сергей Эфрон вступил в „Союз возвращения в СССР” и что Аля, которой тогда исполнилось двадцать лет, разделяла политические взгляды отца и работала во французской коммунистической газете²³.

Марину Цветаеву глубоко удручало отчуждение между ней и ранее так обожаемой дочерью. По словам В. В. Морковина, издателя писем к Анне Тесковой, большая часть купюр в этой переписке относятся к этой теме. Аля, как только могла, поддерживала семью; часто случалось, что те несколько франков, которые она зарабатывала, были единственными деньгами в доме; но все ее существо было другое: она не унаследовала романтических порывов и мятежный характер матери и бабушки.

„Она очень „гармонична”, то есть ничего не предпочитает, все совмещает: и утреннюю газету, и мой отчаянный прыжок в сон, как-то все равнозначаще — не я, не мое”²⁴.

Также и обожаемый Мур, вечно к ней привязанный и страшно избалованный сын, не был ей сроден по духу. Он жил только в надежде на будущее и часто повторял: „Бедная мама, какая Вы странная: Вы как будто *очень* старая!” Но, в сущности, это был именно тот дух, к которому Цветаева сама призывала Мура в „Стихах к сыну”. Но если даже самые близкие постепенно отдаляются — один остается ей верен: письменный стол; к нему устремляется Цветаева, когда нуждается в утешении:

Тридцатая годовщина
Союза — верней любви.
Я знаю твои морщины
Как знаешь и ты — мои,

Которых — не ты ли — автор?
Съедавший за дестью десть,

Учивший, что нету — завтра,
Что только сегодня — есть.

И деньги, и письма с почты —
Стол — сбрасывавший — в поток!
Твердивший, что каждой строчки
Сегодня — последний срок.

Грозивший, что счетом ложек
Создателю не воздашь,
Что завтра меня положат —
Дурищу — да на тебя ж!

1933

ГЛАВА 24

Весной 1933 года, вскоре после того, как в Германии к власти пришел Гитлер, Марина узнала от своей сестры из Москвы, что 8 апреля умер ее сводный брат Андрей от семейной болезни — туберкулеза легких. Эта внезапная встреча с прошлым воскресила в ней забытый мир детства, мир Трехпрудного переуллка. Ей захотелось воздвигнуть памятник этому прошлому и брату. Но очень скоро ей пришлось убедиться, что она мало знала об этом мире, а то, что знала, видела только детскими глазами. Во Франции жил человек, который знал семью Иловайских и ее окружение. Это была Вера Николаевна Бунина. 6 августа Цветаева отправила ей письмо с длинным перечнем вопросов и очень быстро получила подробный ответ. Вера Бунина сделала еще больше: она послала Марине свои собственные заметки о Д. И. Иловайском и его детях¹ и таким образом оказала ей огромную помощь, за которую Марина была ей глубоко благодарна. Обе женщины, которых связывают общие воспоминания детства и схожие литературные стремления,

вступают в интенсивную переписку; на некоторое время Бунина становилась лучшим другом и единомышленницей Марины; даже корреспонденция с Тесковой как бы отходит на второй план. Рассказ Марины „Дом у Старого Пимена” носит посвящение: „Вере Муромцевой, одних со мной корней”².

„Дом у Старого Пимена”, над которым Цветаева работала с августа до октября 1933 года, и „Башня в плюще” — воспоминания о пребывании в пансионе во Фрейбурге — начало нового вида прозы Цветаевой. Быстро, одно за другим, она пишет несколько эссе автобиографической прозы, которые в разной степени относятся к ее детству и молодости. Собранные в одно целое они образуют блестяще написанную книгу воспоминаний, смесь правды и фантазии³. Некоторые события освещены как-то по-иному, чем в воспоминаниях Анастасии Цветаевой — разница между восприятием прошлого гениальным поэтом и кропотливым биографом бросается в глаза.

Эти автобиографические очерки 1933–1937 годов имеют двойное значение: они приносят деньги, потому что „Последние новости” и „Современные записки”, хотя и отказываются печатать стихи, охотно печатают прозу Цветаевой; они дают писательнице возможность бегства в прошлое. Только там она чувствует себя в безопасности:

„Мне в современности и в будущем — места нет. *Всей* мне — ни одной *пяди* земной поверхности, этой малости, — мне — во всем огромном мире — ни пяди. Сейчас стою на своей последней, незахваченной... только потому, что на ней *стою*: как памятник — собственным весом, как столпник на столпу. Есть (мне и всем подобным: они есть) только щель: в глубь, из времен, щель, ведущая в сталактитовые пещеры до-истории: в подземное царство Персефоны и Миноса — туда, где Орфей прощался — в А-и-д. Или в блаженное царство Frau Holle... Ибо в *ваш* воздух, машинный, авиационный, пока что экскурсионный, а завтра — сами знаете, в ваш воздух я *тоже* не хочу. — Но кто Вы, чтобы говорить „меня”, „мне”, „я”? — Никто. Одинокий дух. Которому нечем ды-

шать. (И Пастернаку — нечем. И Белому было нечем. *Мы* есть, но мы — последние.) Эпоха не только против меня... не столько против меня, сколько я против нее, я ее действительно ненавижу, все царство будущего... Эпоха против меня не лично, а пассивно, я — против нее активно. Я ее ненавижу. Она меня — не видит”⁴.

В дружеских отношениях с Верой Буниной — Цветаева была вопрошающей стороной, она просила ответа. Но вдруг раздался, совершенно неожиданно, голос издалека, который обращался к ней с вопросами, кто-то интересовался ею. Молодой русский писатель Юрий Иваск, живший в Ревеле (Таллине) хотел написать статью о Цветаевой. Он послал ей набросок своей статьи и при этом поставил целый ряд вопросов: о ее произведениях, о ее мнениях относительно разных событий. 4 апреля 1933 года Марина ответила длинным подробным письмом. Большая заслуга будущего американского профессора Георгия Иваска (George Ivask) в том, что он и после появления его статьи, напечатанной в ревельской газете „Новь” (1934, № 6), продолжал эту переписку и сумел ставить такие вопросы, что эти 12 писем, которые ему написала Марина Цветаева, являются одним из важнейших источников ее биографии⁵. Она снисходительно дает ему некоторые объяснения ее труднопонимаемых произведений, таких как „Молодец” и „Переулочки”; она отвечает на вопросы личного характера.

Можно догадаться, что Иваск уже в своем первом письме интересовался политическими убеждениями Марины, сочувствует ли она одной из новых русских националистических группировок. Ее ответ не оставляет никакого сомнения:

„Там, где говорят: еврей, а подразумевают: жид — мне, собрату Генриха Гейге — *не место*. Больше скажу: то место меня — я на него и не встану — само не вместит: то место меня чует, как пороховой склад — спички”.

И дальше:

„Что же касается младороссов — вот живая сценка. Доклад бывшего редактора и сотрудника Воли России (еврея)

М. Слонима: Гитлер и Сталин. *После* доклада — явление младороссов в полном составе. Стоят, „скрестивши руки на груди”. К концу прений продвигаюсь к выходу (живу за-городом и связана поездом) — так что стою в самой гуще. Почтительный шопот: „Цветаева”. Предлагают какую-то листовку, к-ой не разворачиваю. С эстрады Слоним: „Что же касается Г. и еврейства...” Один из младороссов: (если не „столп”, так *столб*) — на весь зал: „Понятно! Сам из жидов!” Я, четко и раздельно „Хам-ло!” (Шепот: не понимают). Я: „Хамло!” и разорвав листовку пополам, иду к выходу. Несколько угрожающих жестов. Я: „Не поняли? Те, кто вместо еврей говорят жид и прерывают оратора, те — хамы. Паузу и, созерцательно: „Хам-ло”. Засим удаляюсь. С каждым говорю на его языке!”⁶

Хотя и парижские русские под влиянием мировых событий все больше и больше погружались в политические распри, литературная деятельность в разных кафе продолжалась все с тем же жаром. Несмотря на Сталина, Гитлера и Муссолини, русский Монпарнасс следил с интересом за спорами между Адамовичем и Ходасевичем — должны ли стихи отражать внутренний мир и быть „правдивыми”, как требовал Адамович, или, как хотел Ходасевич, просто быть „хорошими” стихами. Летом 1933 года произошло важное событие в русской эмигрантской литературе — примирение между Цветаевой и Ходасевичем — наверное, оно прошло незамеченным⁷.

Пути двух поэтов скрещивались уже и раньше, когда оба печатались в „Антологии” издательства „Мусагет” в 1911 году. В Берлине и Праге они познакомились ближе, но друг другу не понравились. Искусство Цветаевой продолжало расти и развиваться в эмиграции; Ходасевич же скоро совсем замолк. Вплоть до своей смерти работал он в „Возрождении” как строгий литературный критик, которого все боялись. Он не раз писал отрицательные рецензии о произведениях Цветаевой, особенно о ее драмах. Но при этом он был один из немногих, которые принимали во внимание сборник „После России” и даже хвалили его. В воспоминаниях Цветаевой о Волошине, в одной короткой сцене, по-

является Ходасевич. Когда Марина послала в „Современные записки” свое „Живое о живом”, Руднев был недоволен этой сценой: он боялся опасного критика и хотел вычеркнуть всю сцену. Тогда (11 июля) Марина сама обратилась к Ходасевичу — имеет ли он что-нибудь против того, что она упоминает его имя. По-видимому, Ходасевич сейчас же согласился быть названным, потому что уже 19 июля Марина пишет второе письмо:

„Милый Владислав Фелицианович! Помириться со мной еще легче, чем поссориться. Нашей ссоры совершенно не помню, да по-моему, *нашей* и не было, ссорился кто-то — и даже что-то — возле нас, а оказались поссорившимися — и даже поссоренными — мы. Вообще — вздор. Я за одного настоящего поэта, даже за половинку (или как в Чехии говорили: осьминку) его, если бы это целое делилось! — отдам сотню настоящих не-поэтов. Итак...”⁸

Это было началом сердечной дружбы, основанной на взаимном понимании. Их объединяли не только одинаковые взгляды и вкусы в искусстве, но оба чувствовали себя одинокими в чужом и враждебном окружении. К этому союзу одиноких Цветаева причисляла и недавно эмигрировавшего Замятина. Теперь Ходасевич лучше понимал и ценил произведения Цветаевой, благосклонней откликался на ее новейшие работы. Их дружба не порвалась и в роковом для Марины 1937 году и кончилась только со смертью Ходасевича.

Письма Цветаевой Ходасевичу были опубликованы в „Новом журнале” в Нью-Йорке; еще одно важное письмо появилось в 1969 году в „Новом мире”. В нем говорится следующее:

„Нет, *надо* писать стихи. Нельзя дать ни жизни, ни эмиграции, ни Вишнякам, ни „бриджам”, ни всем и так далее — этого торжества: заставить поэта обойтись без стихов, сделать из поэта — прозаика, а из прозаика — покойника. Вам (нам!) дано в руки что-то, чего мы не вправе ни выронить, ни переложить в другие руки (которых — нет)... Конечно, есть пресыщение. Но есть и истощение — от отвычки. Не от-решайтесь, не отрекайтесь, вспомните Ахматову:

А если я умру, то кто же
Мои стихи напишет Вам?

не *Вам* даже и не всем, а просто *кто* — *мои стихи...* Никто. Никогда. Это невосвратно... И именно потому, что нас мало, мы не вправе..."⁹

Осенью 1933 года Мур наконец поступил в школу. До сих пор мать держала его при себе, боясь, что французские школы „слишком утомительны". „Это значит, что и я поступила в школу", — пишет она 5 октября Буниной. Ко всем трудностям в доме прибавилась обязанность два раза в день отводить Мура в школу, приводить его обратно и ходить с ним гулять, один час до обеда и два после; необходимо было двигаться. „Все находят, что это сумасшествие", — жалуется Марина Тесковой. Наверное, еще больше сердило знакомых, что Мур был записан в дорогую частную школу; объяснения, данные Мариной по этому поводу, конечно, не увеличили к ней симпатии окружающих:

„Почему он не в коммунальной? — П. ч. мой отец за свой счет посылал студентов за-границу, и за стольких гимназистов платил и, умирая, оставил из своих кровных денег 20000 рублей на школу в его родном селе Талицах Шуйского уезда — и я *в праве* учить Мура в *хорошей...* школе. То есть в праве за него платить из своего кармана, а, когда пуст — просить. (Только всего этого, милая Вера, „дамам" не говорите, просто напомните, чтобы меня, при дележе, не забыли, и *внушите*, чтобы дали возможно больше.)"¹⁰

8 января 1934 года Мур принес домой плохое известие: он прочел в газете заметку о смерти Андрея Белого в России. Отец Сергей Булгаков служит панихиду на Сергиевском подворье. Марина присутствует в церкви, а после богослужения знакомится с писателем-публицистом Владимиром Вейдле, который в своих мемуарах не скрывал, что знаменитая поэтесса произвела на него глубокое впечатление. Позже Цветаева неоднократно принимала его у себя в Кламаре.

Вейдле был в хороших отношениях с французскими

интеллектуальными кругами, ему удалось поместить несколько Цветаевских переводов Пушкина в газете монахов-доминиканцев "La vie intellectuelle".

Летом 1934 года Аля и Мур заболели корью. На некоторое время прекратились ежедневные хождения в школу и прогулки, и это дало Марине возможность написать свои воспоминания о Белом ("Ça me hante"). Свою статью „Пленный дух” она посвятила Ходасевичу в благодарность за замечательную лекцию об Андрее Белом. 15 марта 1934 года Цветаева прочла свою работу в парижском "Salle de Géographie". Вскоре эта лекция была напечатана в „Современных записках”, урезанная меньше, чем обыкновенно¹¹.

В. И. Лебедев устроил Марине так, что она смогла напечатать в Белграде, в „Русском Архиве”, несколько своих еще не изданных произведений. Архив, — созданный с целью помощи эмигрантам — хорошо платил. Там вышли "Pesnici sa istorijom i pesnici bez istorije" („Поэты с историей и поэты без истории”) — статья о новом томе стихов Пастернака и о творчестве Ахматовой, Блока и Мандельштама. Потом "Reč o Bal'montu" и "Pesnik Alpinist" — о Гронском. Слони-му удалось, как он говорит, устроить Марине тройной гонорар за эти работы¹².

Несмотря на то, что при каждой возможности Цветаева бранила парижские эмигрантские газеты, в 1933—1937 годах ее проза часто появлялась на страницах этих журналов; она в это время пишет почти только прозу — стихов никто больше не хочет: наряду с блестящими, чисто цветаевскими произведениями можно найти и неинтересные, наспех набросанные случайные статьи. В „Числах” появились „Два лесных царя” — сравнение между "Erlkönig" Гете и Жуковского, в кратковременном журнале „Встречи” — воспоминания детства „Хлыстовки” и „Открытие музея”; в „Современных записках” были напечатаны: рассказ „Черт” и великолепный лирико-психологический этюд „Мать и музыка”; в „Последних новостях” — рассказ „Китаец” и „Сказка матери”¹³.

Но все-таки денег не хватало ни на жизнь, ни на смерть.

Настроение писательницы было глубоко подавленным. Слоним вспоминает, как однажды, в 1934 году, при встрече с ним в каком-то парижском кафе она ему сказала: „Вера моя разрушилась, надежды исчезли, силы иссякли“. В опубликованных письмах, написанных в это время Анне Тесковой, можно заметить особенно много купюр.

В конце июля 1934 года семья Эфрон была вынуждена покинуть квартиру в Кламаре. Марина и Мур поселились на несколько недель в деревне Elancourt (Seine-et-Oise), через две остановки после Версаля. Некоторое время у них гостила Анна Андреевна, которую Марина считала одной из лучших своих подруг. Аля летом была в Нормандии, в семье банкира из Германии. Она должна была давать всей семье уроки французского языка. В своих письмах Цветаева жалуется, что Аля зарабатывает очень мало — она просто не поняла, что этот раньше сказочно богатый немецкий банкир-еврей вдруг превратился в такого же политического беженца, как она сама.

Эфрон тем временем вел свою собственную секретную жизнь.

Начиная с октября, на письмах Марины появляется новый адрес: 33, Rue Jean Baptiste Potin, Vanves.

В конце года Марину постигло новое горе — „...чистое и острое как алмаз...“. 21 ноября 1934 г. ее бывший „ученик“ и спутник по прогулкам и странствиям 1928 года, Николай Гронский, попал под колеса парижского метро и был насмерть раздавлен. Они больше не встречались после весны 1931 года, но эта внезапная смерть глубоко потрясла Марину. Она вдруг опять могла писать стихи. В течение нескольких дней возник цикл „Памяти Н. П. Гронскому“:¹⁴

Есть счастливы и счастливицы,
Петь *не* могущие. Им —
Слезы лить! Как сладко вылиться
Горю — ливнем проливным!

Чтоб под камнем что-то дрогнуло.
Мне ж — призвание плетъ —

Меж стенания надгробного
Долг повелевает — петь.

Пел же над другом своим Давид,
Хоть пополам расколот!
Если б Орфей не сошел в Аид
Сам, а послал бы голос

Свой, только голос послал во тьму,
Сам у порога *лишним*
Встав, — Эвридика бы по нему
Как по канату вышла...

Как по канату и как на свет,
Слепо и без возврата.
Ибо раз *голос* тебе, поэт,
Дан, остальное — взято.

Эти стихи были напечатаны в 28 томе „Современных записок“, где отец Гронского работал в редакции. Но некролог Цветаевой, „Посмертный подарок“, не был принят газетой, они предпочли бесцветный и бессодержательный некролог, написанный Адамовичем. В апреле 1935 года Марина прочла свой „Посмертный подарок“ перед своими обычными слушателями и передала его в белградский „Русский Архив“¹⁵.

Марина работала с огромным рвением и напряжением сил. Она, как страус, старалась спрятать голову в песок, чтобы не видеть и не слышать того, что творилось вокруг, так же как когда-то в детстве, в Трехпрудном переулке, она спасалась в мир своих мечтаний. Она пишет Бунинной:

„События, войны, Гитлеры, Эрио, Бальбо, Росси и как их еще зовут — вот что людей хватает по-настоящему заживо: ГАЗЕТА, которая меня от скуки валит замертво“¹⁶.

Она так глубоко спрятала голову в песок, что даже не заметила, что творилось под ее собственной крышей. Или она все-таки подозревала, что с ее мужем что-то не в порядке? Слоном говорит:

„С 1935 года Сергей Яковлевич стал платным работником Союза возвращения на родину, но М. И., конечно, и не подозревала, что деньги, которые он приносил домой, шли из особых фондов советской секретной службы”.

ГЛАВА 25

Но „события, войны, Гитлеры” продолжали очень активно давать о себе знать. В Германии уже начались аресты противников „Партии”, уже началось преследование еврейского населения и сожжение книг авторов, не подчинившихся официальной идеологии. В народе ходили слухи о каком-то страшном лагере в Дахау недалеко от Мюнхена. Умные и трезвые люди уже могли догадаться, куда идет Германия, и с ней весь мир.

В июне 1953 года французские левые партии — при участии коммунистов — организовали в Париже Международный конгресс писателей, чтобы обратить внимание на опасность фашизма. Из СССР была также послана делегация, и, по приказу самого Сталина, Борис Пастернак был в ее составе. Так произошло то, о чем Марина не могла даже мечтать: в коридорах здания конгресса она встретила своего Бориса. Эта встреча оказалась полнейшим фиаско:

„О встрече с Пастернаком (— *была* — *какая невстреча!*) напишу, когда отзоветесь. Сейчас тяжело (— и неуверенно,

м. б. Вы уже уехали на дачу и письмо не дойдет) ...” (Письмо к Тесковой, 12.7.1935)

А вот рассказ Пастернака:

„Летом 1935 года я, сам не свой и на грани душевного заболевания от почти годовой бессонницы, попал в Париж на антифашистский конгресс. Там я познакомился с сыном, дочерью и мужем Цветаевой и как брата полюбил этого обаятельного, тонкого и стойкого человека. Члены семьи Цветаевой настаивали на ее возвращение в Россию. Частью в них говорила тоска по родине и симпатии к коммунизму и Советскому Союзу, частью же соображения, что Цветаевой не житье в Париже и она там пропадает в пустоте без отклика читателей.

Цветаева спрашивала, что я думаю по этому поводу. У меня на этот счет не было определенного мнения. Я не знал, что ей посоветовать, и слишком боялся, что ей и ее замечательному семейству будет у нас трудно и беспокойно. Общая трагедия семьи неизмеримо превзошла мои опасения”¹.

Слоним же говорит:

„Когда я спросил ее об этом свидании, она сказала с горечью, которой я никогда не забуду: „Это была „невстреча”, и потом вдруг повторила — не закончив — последнюю строфу своих стихов к Блоку:

„Но моя река — да с твоей рекой,
но моя рука — да с твоей рукой
не сойдутся...”²

Только гораздо позже узнала Марина, в письме к своему чешскому другу, чем ее так разочаровал Пастернак:

„Когда я прочла *Furchtlosigkeit* — у меня струя по хребту пробежала: *бесстрашие*: то слово, которое я все последнее время внутри себя, а иногда и вслух — как последний оплот — произношу: первое и последнее слово моей сущности. (Роднящее меня — почти со всеми людьми!) Борис Пастернак, на к-го я *годы подряд* — через сотни верст — оборачи-

валась, как на второго себя, мне на Пис. Съезде шопотом сказал: — Я не посмел не поехать, ко мне приехал секретарь С-на, я — испугался...”

И со злостью, видимо, не представляя себе, в каких условиях Пастернак жил в Советском Союзе, она прибавляет:

„Он страшно не хотел поехать без красавицы-жены, а его посадили в авион и повезли”³.

Теперь, благодаря Ольге Ивинской, мы знаем, что он был „на грани душевного заболевания и почти годовой бессонницы...”. Год тому назад Пастернака заставили принять участие в поездке через „раскулаченные” области, и он сам убедился в ужасных бедствиях оставшихся там людей; эта поездка была организована Союзом Писателей. Потом, по настоянию организаторов: Барбюса, Арагона и Мальро, его прямо из санатория привезли на самолете в Париж.

Спас бы Пастернак Марину Цветаеву от ужасной судьбы, грозившей ей и ее семье, если бы в 1935 году сказал ей правду о том, что происходило на родине? Но — поверила ли бы ему Марина?

Ольга Ивинская пишет:

„Пастернак тяжело переживал гибель Цветаевой и ее семьи, тем более, что и сам он звал М. Ц. вернуться на родину”⁴.

Летом 1935 года Марине представилась возможность поехать с Муром в Прованс. Две русские семьи организовали русскую колонию; у подножья гор Эстерель, недалеко от курорта Le Lavandou, в пустынной бухте La Favière. Одним из этих организаторов была баронесса О. М. Врангель — вдова генерала, Главнокомандующего Белой Армии в Крыму. Она была дочерью писателя Елпатьевского, двоюродного брата Ивана Владимировича Цветаева. В 1905 году Марина жила в Ялте на его даче. Теперь она заняла комнату в мансарде летнего дома баронессы Врангель.

В первый раз в жизни Марина увидела Лазурный берег (Cote d’Azur), но знаменитая красота этой местности совсем не производила на нее впечатления. Она пишет Тесковой:

„Живем вторую неделю. Я — томлюсь. Сейчас объясню,

и надеюсь Вы меня поймете. Мне вовсе не нужно *такой* красоты, *столько* красоты: море, горы, мирт, цветущая мимоза и т. д. С меня достаточно одного дерева в окне... Такая красота на меня накладывает ответственность непрерывного восхищения... Меня эта непрерывность красоты — угнетает. Мне *нечем* отдарить. Я всегда любила скромные вещи: простые и пустые места, которые никому не нравятся, которые *мне* доверяют себя сказать — и меня — я это чувствую — *людям*. А любить Cote d'Azur — то же самое, что двадцатилетнего наследника престола — мне бы в голову не пришло”⁵.

Вначале Марина не чувствует себя хорошо в La Favière. Она и здесь ни на секунду не расстается с Муром, которому недавно сделали операцию аппендицита и поэтому ему нельзя переутомляться. Точно по расписанию ходит она с ним на пляж. Она не умеет плавать и терпеть не может бездельничать на солнце; дома она варит на примусе еду для Мура, а после обеда и вечером, с 9 часов, когда он спит — сидит в душной кухне и не может даже писать: без стола — не может, а стол — в комнате, где спит Мур. К тому же — она одинока: никто из русских не обращает на нее внимания. Она пишет Тесковой:

„Я — aus dem Spiel, совсем, aus jedem. Смотрю на нынешних двадцатилетних: себя (и все же — *не себя!*) 20 лет назад, а они на меня — не смотрят, для них скучная (а м. б., „странная”), еще молодая, но уже седая — значит: немолодая — дама с мальчиком. А м. б. просто не видят — как предмет. Горько — вдруг сразу — выбыть из строя — живых”.

Но Вере Буниной она говорит и о другой заботе:

„За последние годы я очень мало писала стихов. Тем, что у меня их не брали — меня заставили писать прозу. (Пока была жива „Воля России” я спокойно могла писать большую поэму, зная — что возьмут. (Брали — *все*, и за это им по гроб жизни — и если есть — дальше — благодарна.) Но когда В. Р. кончилась — остался только Руднев, а он сразу сказал: — Больших поэм мы не печатаем. Нам нужно на 12-ти страницах — 15 поэтов.

Куда же мне было деваться с моими большими вещами? Так пропал мой Перекоп — месяцев семь работы и 12 лет любви — так никогда не была (и навряд ли будет) кончена поэма о Царской Семье. Так пропал мой французский Молодец — Le Gars — и по той же причине: *поэмы не нужны*. А мне нужно было — зарабатывать: *и внешне* оправдывать мое существование. И началась — проза. *Очень* мной любимая, я не жалею. Но все-таки — несколько насильственная: обреченность на прозаические слова.

Приходили, конечно, стихотворные строки, но — как во сне. Иногда — и чаще — так же и уходили. Ведь стихи сами себя не пишут. А все мое малое свободное время... уходило на прозу, ибо проза *физически* требует больше времени... Отрывки заносились в тетрадь. Когда 8 строк, когда 4, а когда и две. Временами стихи — прорывались, либо я пропадала — в поток. Тогда были — циклы, но опять-таки — ничего не дописывалось: сплошные пробелы: то этой строки нет, то целого четверостишия, то есть в конце концов — черновик.

Наконец — я испугалась. А что если я — умру? Что же от этих лет — останется? (Зачем я — жила??) И — другой испуг: а что если я — разучилась? Т. е. уже не в состоянии написать *цельной* вещи: *дописать*. А что если я до конца своих дней обречена на — отрывки?

И вот этим летом стала — дописывать. Просто: взяла тетрадь и — с первой страницы. Кое-что сделала: кончила. Т. е. ряд стихов, которые — есть. Но за эти годы — заметила — повысилась и моя требовательность: и слуховая и смысловая. Вера! я *день* ищу эпитета, т. е. *одного* слова, и иногда *не* нахожу — и боюсь, ... что я кончу как Шуман, который вдруг стал слышать (день и ночь) *в голове*, под черепом — трубы *en tu bemol...*”⁶

К концу этого лета настроение Марины улучшилось. Она познакомилась с симпатичными людьми, в том числе со славистами Борисом Унбегауном и Елизаветой Малер — русской швейцаркой, преподавательницей русского языка при университете в Базеле. Она даже немного плава-

ла и, в сущности, была очень довольна этим летом на Средиземном море.

„Итог — несколько стихов: немного, и половина поэмы (о *певице*: себе)“... рассказывает Цветаева Тесковой 30 сентября, говоря о лете в La Favière. Эта поэма не только осталась неоконченной, но и стала известна лишь в 1981 году, когда Е. Коркина ее опубликовала в московском альманахе „Поэзия“. Рукопись хранится в ЦГАЛИ. Начало было известно уже раньше — автопортрет под названием „Дом“ („... из которого души во все очи глядят...“) Цветаева описывает свой дом в Ванве, беженскую обстановку и одного юношу („...лицом — как месяц — чист...“), который после того, как услышал голос певицы из верхнего этажа, подымается и следует за ней в темный коридор „...и так далее, далее, далее — шел...“. Поэма оборвалась — „внезапно и навсегда“ — 10 сентября 1935 г.⁷

Зима 1935/36 года прошла для Цветаевой однообразно и одиноко. Она жила одна с Муром в Vanves; Аля и Сергей Яковлевич в доме почти что не показывались. Разногласия в семье все росли. Марина пишет Анне Тесковой:

„Не знаете ли Вы, дорогая Анна Антоновна, хорошей гадалки в Праге? Ибо без гадалки мне, кажется, не обойтись. Все свелось к одному: ехать или не ехать. (Если ехать — так навсегда.) Вкратце: и С. Я. и Аля и Мур — рвутся. Вокруг угроза войны и революции, вообще — катастрофических событий. Жить мне — одной — здесь не за что. Эмиграция меня *не любит*. Посл. Новости ... меня выжили: не печатают больше никогда. Парижские дамы-патронессы меня терпеть не могут — за независимый нрав. Наконец — у Мура здесь никаких перспектив. Я же вижу этих двадцатилетних — они в *тупике*.

В Москве у меня сестра Ася, к-ая меня любит — м. б. больше чем своего единственного сына. В Москве у меня — все-таки — круг настоящих писателей, не обломков. (Меня здешние писатели не любят, не считают своей.) Наконец — природа: простор.

Это — за. Против: Москва превращена в Нью-Йорк: в идеологический Нью-Йорк — ни пустырей, ни бугров (асфальтовые озера с рупорами громкоговорителей и колоссальными рекламами: нет, не с главного начала: *Мур*, к-го у меня эта Москва сразу, всего, с головой отберет. И, второе, главное: я — с моей *Furchtlosigkeit*, я не умеющая не-ответить, я не могущая подписать приветственный адрес великому Сталину, ибо не я его назвала великим и — если даже велик — это не мое величие и — м. б. важней всего — ненавижу каждую торжественную, казенную церковь”.

И 29 марта:

„Дорогая Анна Антоновна, живу под тучей — отъезда. Еще ничего реального, но мне — для чувств — реального не надо. Чувствую, что моя жизнь переламывается пополам и что это ее — последний конец.

Завтра или через год — я все равно уже не здесь („на время не стоит труда”) и все равно уже не живу. Страх за рукописи — что-то с ними будет? *Половину* — нельзя везти! а какая забота (любовь) — безумная жалость к последним друзьям: книгам — тоже половину нельзя везти! — и какие оставить?? — и какие взять?? уж... так, тяжело дыша, живу (не-живу). То встав утром радостная: заспав! — сразу кидаюсь к рукописи, ... то — сразу вспомнив — *à quoi bon?* все равно не допишу, а — допишу — все равно брошу: в лучшем случае похороню заживо в каком-нибудь архиве: никогда не смогу перечесть! (не то, что: *прочесть* или — напечатать)...

С. Я. держать здесь дольше не могу — да и не держу — без меня не едет, чего-то выжидает (моего „прозрения”) не понимая, что я — *такой умру*. Я бы на его месте: либо — либо. Летом еду. Едете? И я бы, конечно, сказала — да, ибо — не расставаться же. Кроме того, одна я здесь с Муром пропаду. Но он этого на себя не берет, ждет, чтобы я *добровольно* — сожгла корабли (по нему: распустила все паруса!)... Больше всего бы мне хотелось — к Вам в Чехию — навсегда”⁸.

Опасения Марины, что она больше не сможет довести до конца начатую работу, оказались необоснованными: когда

она узнала о смерти Кузмина, она в кратчайшее время написала „Нездешний вечер” — воспоминания о Кузмине и вечере под Новый 1916 год в Петербурге. Эссе было напечатано в 61 томе „Современных записок”.

М. Л. Слоним — единственный свидетель, который мог бы поведать о произведении Цветаевой, — сама она говорила о нем только намеками. Это поэма о жизни и гибели Царской Семьи — „большой эпос, с описанием Екатеринбург и Тобольска”. Марина написала ее в то время, когда ее семья уже всецело увлекалась коммунизмом. Эпос был закончен в 1936 году. Конечно, печатать его было невозможно; поэтому было решено прочесть его в кругу семьи Лебедевых, причем Марина желала и настаивала на присутствии Слонима:

„...М. И. объяснила, что мысль о поэме зародилась у нее давно, как ответ на стихотворение Маяковского „Император”... Она настаивала на том, что уже неоднократно высказывала: поэт должен быть на стороне жертв, а не палачей, и если история жестока и несправедлива, он обязан пойти против нее. Поэма была длинная, с описаниями Екатеринбурга и Тобольска, напоминавшими отдельные места из Цветаевской „Сибири”... Почти все они показались мне очень яркими и смелыми. Чтение длилось больше часу, и после него все тотчас же заговорили разом. Лебедев считал, что — вольно или невольно — вышло прославление царя. М. И. упрекала его в смешении разных плоскостей — политики и человечности. Я сказал, что некоторые главы взволновали меня, они прозвучали трагически и удались словесно. М. И. быстро повернулась ко мне и спросила: „а вы бы решились напечатать поэму, если бы у вас был сейчас свой журнал?” Я ответил, что решился бы, но с редакционными оговорками — потому что поэма независимо от замысла и желаний автора была бы воспринята как политическое выступление. М. И. пожала плечами: „но ведь всем отлично известно, что я не монархистка, меня и Сергея Яковлевича теперь обвиняют в большевизме”. Тут все наперебой начали ее убеждать: дело не в том, что вы думаете, а какое впе-

чатление производят ваши слова. Как всегда спокойная Маргарита Николаевна Лебедева умерила наш пыл: спор ведь оставался чисто теоретическим, поэму все равно негде было напечатать. М. И. задумалась, потом с усмешкой заметила, что, пожалуй, когда-нибудь напишут на первой странице: „из посмертного наследия Марины Цветаевой”. Но этому предсказанию не суждено было сбыться. Перед отъездом М. И. в Россию, в 1939 году, поэма об убийстве царской семьи и значительное количество стихов и прозы, которые М. И. справедливо называла „неподходящим для ввоза в СССР”, были — при содействии наших иностранных друзей — отосланы для сохранения в международный социалистический архив в Амстердаме: его разбомбили гитлеровские летчики во время оккупации Голландии, и все материалы погибли в огне”⁹.

В мае 1936 года Марина была приглашена в Бельгию прочесть свои произведения. Жившая в Брюсселе Зинаида Шаховская организовала два выступления в маленькой русской колонии. На первом вечере Цветаева прочла свой французский текст *”Mon père et son musée*, который нам известен только в русском оригинале¹⁰. Программа второго вечера состояла из прозы „Речь о Бальмонте” и „Нездешний вечер”. С точки зрения заработка поездка была удачной — Марина смогла не только одеть Мура заново, но даже отложить немного для себя. Но ее мечта о дружбе со своей хозяйкой — Ольгой Вольтерс, русской, замужем за бельгийцем, — не осуществилась. Цветаева жалуется Тесковой:

*„Я мечтала о дружбе с ней, за этим и с этим ехала — а дружбы не было... для меня в ее душе не оказалось места. Поэтому, несмотря на всю успешность поездки, вернулась с чувством неудачи: с пустыми руками души. Мне все еще нужно, чтобы меня любили: давали мне любить себя: во мне нуждались — как в хлебе. И скромно, — и безумно по требовательности”*¹¹.

Вскоре после этой поездки Зинаида Шаховская навестила Марину в Vanves. Она вспоминает, как Марина говорила

о Рильке и при этом варила яйца в маленькой кастрюльке:

„...зачарованно, слушаю неповторимый ритм и неповторимое содержание ее речи, но вот ничего не помню о Рильке. Помню только лицо Марины Цветаевой и эти самые высоты, на которые она меня влекла с такой неудержимой силой, не зная, что следовать за ней я не могла. И обыденность, конечно, сразу же отомстила за презрение к ней: вода в кастрюльке выкипела до дна, яйца не сварились, а спеклись и лопнули, алюминий же подгорел...”¹²

Между возвращением из Брюсселя и летними каникулами, с конца мая и до 16 июня 1936 года, Марина была занята переработкой небольшой поэмы, начатой в 1934 году, под названием „Автобус”. Это веселое, как бы беззаботное, описание поездки на автобусе, во время которой ее спутнику ничего лучшего не пришло в голову, как сравнить цветущее дерево с „цветной капустой под белым соусом”. Веселый тон этих стихов совсем не подходит к настроению, в котором находилась тогда Марина¹³.

В июле Марина с Муром переселились в городок со средневековым обликом Moret-sur-Loing. По письмам, которые она пишет Тесковой и Шаховской, можно заключить, что она собиралась провести там все лето и прилежно работать: она хотела перевести на французский язык все наиболее любимые ею стихи Пушкина. Она не объясняет своим друзьям, почему она август и середину сентября проводит с Муром в замке Arcine, недалеко от St.-Pierre-de-Rumilly, в Haute Savoie, в русском доме для выздоравливающих.

И вдруг этим летом опять происходит чудо в жизни Марины Цветаевой. В Moret-sur-Loing до нее доходит письмо, которое вновь пробуждает все источники и силы ее души. Пишущий ей — молодой русский поэт швейцарского происхождения из круга Адамовича, писатель среднего калибра — барон Анатолий Штейгер. Из швейцарского санатория он посылает Марине свой только что вышедший томик стихов и сообщает ей, что он тяжело болен туберкулезом и на днях должен подвергнуться операции.

Марина отвечает (письмо осталось неизвестным) и, по-видимому, производит на него такое впечатление, что он в ответ шлет на 16 страницах „исповедь” своей жизни и просит о дружбе и помощи „на всю жизнь”. Больной юноша, в страхе перед приближающейся смертью, ищет помощь и духовную поддержку зрелой женщины-поэта, которую он издавна почитал. Но он совершает ужасную ошибку, как выражается его друг Кирилл Вильчковский, — он прикасается к вулкану¹⁴. Марина по-своему читает это письмо: она только слышит, что есть кто-то, кому она нужна и кто ее ждет. Сознание этого — как мощь землетрясения. Она пишет ему ежедневно, предлагает свою „материнскую любовь” и готова всецело отдаться этой новой задаче, но она также хочет целиком овладеть судьбой Штейгера. Она не думает о том, что тяжелобольному человеку бережное сочувствие нужнее ее тиранической любви. 29 июля она пишет Штейгеру:

„Если я сказала *мать* — то потому, что это слово *самое* вмещающее и обнимающее, самое обширное и подробное, и — *ничего* не изымающее. Слово, перед которым *все, все* другие слова — границы. И хотите ли Вы или нет, я Вас уже взяла туда *внутри*, куда беру все любимое, не успев рассмотреть, *видя* уже *внутри*. Вы — мой захват и улов, как сегодняшний остаток римского виадукта с бьющей сквозь него зарею, который окунулся *внутри* вернее и вечнее, чем река Loing, в которую он вечно глядится...”

В течение этих дней — до и после операции — Марина пишет Штейгеру каждый день для того, чтобы — как она обещала больному — доставить ему удовольствие. Вероятно также еще и потому, что призрак больного покинутого юноши превратился в олицетворение причины и цели ее жизни; она пишет:

„Не удивляйтесь гигантскости моего шага к Вам, у меня *нет* другого...” Или: „Я иногда думаю, что Вы — я...”

Его писем она ждет, как во времена Бахраха. Особенно первую весточку после операции.

Марина бродит по старинным залам замка и по огромным пустым чердакам. Страх и забота о молодом поэте — навсер-

ное, в последний раз делают ее счастливой. Доказательством служат ее „Стихи сироте“, которые, как живой ручей, вдруг потекли, как прежде:

Наконец-то встретила
Надобного — мне:
У кого-то смертная
Надоба — во мне.

Что́ за ока — радуга,
Злаку — чернозем —
Человеку — надоба
Человека — в нем.

Мне дождя и радуги
И руки — нужней
Человека надоба
Рук — в руке моей.

Это — шире Ладоги
И горы верней —
Человека надоба
Ран — в руке моей.

И за то, что с язвою
Мне принес ладонь —
Эту руку — сразу бы
За тебя в огонь!¹⁵

Неудивительно, что Штейгер плохо понял эти письма. Он отстранился. Он испугался еще больше, когда, с его точки зрения, старая писательница пригласила его приехать в Савойю; Штейгер осторожно отказался — но она это не поняла и не заметила, она начала предпринимать шаги для получения швейцарской визы с тем, чтобы навестить Штейгера в Берне. Тогда он, после 11 сентября, решил прекратить эту корреспонденцию.

Письма Цветаевой Штейгеру после 1 сентября и его отве-

ты нам неизвестны, только одно письмо, последнее, помеченное концом сентября, было опубликовано в журнале „Новый мир”. Вильчковский говорит, что будто бы эта корреспонденция кончается любимым Мариной припевом немецкой песни:

„Behüt Dich Gott, es wär so schön gewesen,
Behüt Dich Gott, es hat nicht sollen sein!”

Пробуждение после такого летнего, светлого сна горько и обидно. Вернувшись домой, Цветаева рассказывает Тесковой, что пережила этим летом:

„Доктор хочет, чтобы он жил зиму в Берне, с родителями — и родители тоже конечно — он же сам решил — в Париж — п. ч. в Париже — Адамович — литература и Монпарнас — и сидения до 3 ч. ночи за 10-й чашкой черного кофе, — п. ч. он все равно (после той любви) — мертвый... Вот на что я истратила и даже расстратила *le plus clair de mon été*. На это я ответила — правдой всего существа. Что нам не по *дороге*: что моя дорога — и ко мне дорога — уединенная. И все о Монпарнассе. И все о *душевной* немощи, с которой мне нечего делать. И благодарность за целое лето — заботы и мечты. И благодарность за правду...”¹⁶

„Мне для дружбы, или, что то же — службы — нужен здоровый корень”, — пишет она Штейгеру в своем последнем письме. — „Дружба и снисхождение, *только* жаление — унижение. Я не Бог, чтобы снисходить. Мне самой нужен высший или по крайней мере равный. О каком равенстве говорю? Есть только одно — *равенство усилия*. Мне совершенно все равно, сколько Вы можете поднять, мне важно — сколько Вы можете напрячься. Усилие и есть хотение. И если в Вас этого хотения нет, нам нечего с Вами делать”¹⁷.

Но возможно, что М. Ц. это письмо не отослала, а только занесла в свою черновую тетрадь.

Но все-таки Штейгер счел своим долгом по приезду в Париж навестить Марину Цветаеву. Им не о чем было говорить:

„...Все, что в нем есть человеческое уходит в его короткие стихи, на остальное не хватает, сразу — доньшко блесит”, — пишет Цветаева Иваску¹⁸. Но при этом она оказывает своему „приемному сыну” последнюю услугу: она рекомендует его Иваску с просьбой помогать ему на его литературном поприще. После этого они больше не встречались. Для Марины Анатолий Штейгер больше не существовал. В 1944 году он умер от туберкулеза в Швейцарии.

И еще один, последний, раз ей удастся преобразовать личное горе и обиду в светлое искусство. Эрой встречи с Штейгером мы обязаны возникновению одной из лучшей прозы Цветаевой: ее эссе „Мой Пушкин”, написанное осенью 1936 г. Следы летних переживаний там необозримы:

„Но еще одно, не одно, а многое, предопределил во мне Евгений Онегин. Если я потом всю жизнь по сей последний день всегда первая писала, первая протягивала руку — и руки, не страшась суда — то только потому, что на заре моих дней лежащая Татьяна в книге, при свечке, с расстрепанной и переброшенной через грудь косой, это на моих глазах — сделала. И если я потом, когда уходили (всегда — уходили), не только не протягивала вслед рук, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда в саду, Татьяна застыла статуей”.

Чем занимался тем временем Сергей Яковлевич? Почему его жена и сын должны были срочно покинуть дачное место около Парижа и переселиться в далекий замок Арсин на швейцарской границе, где отдыхать, наверное, было гораздо дороже? Имя Эфрона неожиданно всплывает в маленькой, не обратившей на себя большого внимания книжечке *”L’assassinat politique et l’URSS”*, вышедшей в 1939 году¹⁹. Один из авторов рассказывает там несколько странных вещей.

В 1936 году ГПУ начало интересоваться Львом Седовым, сыном Троцкого. Группа из пяти человек, состоявших на службе ГПУ, сняла квартиру по соседству с ним, и когда Седов с женой в августе поехали в Cap d’Antibes, „тени” последовали за ними. Это были: молодая швейцарка Рената Штейнер, поклонница Советского Союза, которой было ска-

зано, что она при случае может получить визу через „Союз возвращения на родину”; ее „шеф” Marcel Rollin alias Дмитрий Смиренский; ее любовник Pierre Schwarzenberg, который впоследствии исчез на испанской Гражданской войне; француз Pierre-Louis Ducomet и — Сергей Яковлевич Эфрон.

ГЛАВА 26

Ужасный 1937 год — год, над которым висела страшная черная туча кровавых сталинских процессов и систематической подготовки к войне в национал-социалистической Германии — год, окончательно погубивший семью Эфрон — начался для Марины совсем неплохо. Это был год столетнего юбилея со дня смерти Пушкина, и поэтому Цветаева особенно интенсивно занималась своим любимым поэтом. Она написала два эссе: „Пушкин и Пугачев” и „Мой Пушкин”.

„Это мое раннее детство: Пушкин в детской — с поправкой *в моей*”, — объясняет она своему чешскому другу и при этом сердится, потому что ее опять упрекают в мании величия¹. Но по случаю „Пушкинского года” „Современные записки” печатают стихи 1931 года „Стихи к Пушкину”, хотя сама Марина сначала сомневалась в этом, потому что она считала их „слишком революционными”². Она читала эти стихи и „Мой Пушкин” 3 марта 1937 года. Как потом оказалось — это было ее последнее публичное выступление на Западе.

В это время мы сталкиваемся с именем Сергея Яковлевича не как со слушателем на литературном вечере жены, но в сочетании с другими событиями: он — начальник уже известной нам группы Ренаты Штейнер-Смиренского-Дюкомета. В январе 1937 года они поехали за Львом Седовым в Страсбург, чтобы выведать, о чем он говорит со своим швейцарским адвокатом. Но телеграмма, посланная Эфроном, срочно вызвала их обратно в Париж. Здесь им поручено заняться гораздо более интересным вопросом: слежкой за парижским резидентом ГПУ, который под влиянием сталинских „чисток” серьезно усомнился в правящих московских кругах. Он происходил из Подволочиска; в кругах партии его звали „Людвиг”; он же Порецкий, а затем — Игнатий Рейсс³.

Председателю „Союза возвращения в СССР” удалось еще одно дело, на этот раз — официальное: его собственная дочь Ариадна вернулась добровольно 15 марта в Советский Союз. Вернулась с восторгом. Немногие оставшиеся друзья семьи Эфрон засыпали ее подарками, и Аля, трепеща от счастья и надежд на „светлое будущее”, уехала навстречу своей судьбе.

„Отъезд был веселый, — пишет Марина Тесковой, — так только едут в свадебное путешествие, да и то не все. Она была вся в новом, очень элегантная (пр. 1 с.) перебегала от одного к другому, болтала, шутила. (пр. 7 с.) Потом очень долго не писала (пр. 2 с.) Потом начались и продолжаются письма (пр. 5 с.) ... Живет она у сестры С. Я., больной и лежащей, в крохотной, но отдельной комнатке, у моей сестры (лучшего знатока английского на всю Москву) учится по-английски. С кем проводит время, как его проводит — неизвестно. Первый заработок, сразу как приехала — 300 рублей, и всяческие перспективы работы по иллюстрации. Ясно одно: *очень* довольна (пр. 22 с.)”⁴.

Отъезд Али моментально сказывается: русские друзья и корреспонденты Марины не хотят иметь с ней больше ничего общего. Или, может быть, она сама прерывает всякую переписку? Ее последнее письмо Вере Буниной (от

19 или 26 февраля) касается только Пушкинского вечера; в письме Иваску (от 27 февраля) речь идет об отвлеченной теме среднего уровня человека, в последнем письме Ходасевичу она, между прочим, пишет:

„Не дивитесь моему молчанию — Аля уезжает в понедельник, т. е. послезавтра, весь дом и весь день сведен с ума, завалы вещей — последние закупки и поручения — неопишимо. Как только уедет — я ваша... Обнимаю и скоро окликну”⁵.

После 15 марта известны до сих пор только немногие и незначительные записки, короткие письма Цветаевой Владимиру Сосинскому. После этого остаются только письма Тесковой. Ее чешский друг остается ее единственной опорой.

В своем первом письме из Москвы Аля написала матери, что недавно умерла актриса Соня Голлидэй. Это известие глубоко потрясло Марину; перед ней воскресает целая эпоха ее молодости. Марина посвящает памяти Сонечки свое последнее большое произведение в прозе — „Повесть о Сонечке”.

Эта проза — одно из лучших творений Цветаевой. Насколько плоско и бесцветно вышел у нее портрет Гончаровой, настолько ярко, пластично и живо встает перед нашими глазами маленькая эксцентричная актриса, которая ведет себя как „институтка”, вечно плачет, но в решительные и трудные минуты жизни — храбрая и добрая. Марине кажется, что она никогда так сильно не любила женское существо, как Сонечку. Она подводит итог своей безрадостной жизни и пишет:

„А теперь, прощай, Сонечка! Да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастья, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу! Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?”

Марина была так погружена в воспоминания о Сонечке и в жизнь в Москве в 1919 году, что словно не замечала, что творилось вокруг нее теперь. Свою работу она закончи-

ла летом 1937 года. Она проводила тогда каникулы на берегу Атлантического океана, в Lacanau, Département Gironde. Оттуда она послала 16 июля привет Анне Тесковой — написанный в веселом духе летних каникул: она пишет о своей работе и о книгах, которые теперь читает — Сигрид Ундсет и Сельма Лагерлеф, вспоминает о том, как десять лет тому назад жила в такой же местности, при этом, как бы походя, упоминает, что ее муж собирается приехать в августе и провести с ней и Муром несколько дней на берегу моря. Осу­ществился ли этот проект, нам неизвестно; к несчастью, также неизвестно — встрети­лась ли Марина с Сергеем Яков­левым, когда, 20 сентября, она вернулась в Vanves. Из малоинтересного письма, которое она послала 27 сентября Тесковой, можно заключить, что тогда она еще ничего пло­хого не подозревала и в это время окружающий ее мир был еще в порядке.

Но на самом деле все изменилось: 17 июля Людвиг-По­рецкий предпринял решительный шаг, который оказался поворотным моментом и для Марины Цветаевой. В торжест­венном, написанном в стиле манифеста письме он отрекся от Сталина и от своей собственной, верной режиму политики — шаг, который доказывает большую храбрость автора письма⁶. Ему удастся с женой и маленьким сыном незаме­тно исчезнуть из Парижа, несмотря на то, что письмо, адре­сованное Сталину, уже оказалось в „надлежащих руках”, в советском посольстве в Париже — то есть в руках одного из членов группы, следившей за ним — Лидии Гросовской и комиссара по особым делам Шпигельгласса. „Случайно” одно из посланных писем, полученных Людвигом через посольство — письмо его прежней знакомой из Германии Гертруды Шильдбах; она пишет, что и она собирается по­рвать с Москвой и просит Людвига назначить ей место свидания. Таким образом, к группе следивших, тотчас же посланной на поиски Людвига, прибавляется еще одно лицо; Порецкий совершает ужасную ошибку: перед тем, как скрыться в горах Верхней Савойи, недалеко от швейцарской

границы, он отвечает своей прежней приятельнице и назначает ей свидание в Лозанне.

Встреча Шильдбах с Порецким состоялась 4 сентября; жена и ребенок напрасно ждали его возвращения. На следующий день в предместье Лозанны, на дороге, нашли застреленного человека.

В свободной стране со свободной прессой каждый читатель имеет право на свободную информацию. Таким образом, и "Neue Zürcher Zeitung" не утаила то, что узнала об этом убитом. 6 сентября 1937 года (утренний выпуск):

„*Политическое убийство? Pully.* В субботу ночью полиция нашла ... на дороге вблизи Chamblandes простреленный труп мужчины. По-видимому, стреляли из легкого пулемета. Так как никто в окрестности не слышал выстрелов, можно заключить, что преступление было совершено в другом месте. Бумажник убитого был нетронут, и в нем находились банкноты. Дело касается чешского подданного по имени Эберхардт”.

В вечернем выпуске того же дня полиция Pully знает уже больше об убийстве:

„Справки показали, что в субботу вечером Эберхардт, один, поселился в гостинице. С тех пор его больше не видели. В эту ночь его тело было привезено на автомобиле из Лозанны к месту, где его нашли; автомобиль остановился на короткое время и быстро, той же дорогой, вернулся обратно. В воскресенье вечером женевская полиция нашла около вокзала Cornavin серый автомобиль с бернским номером. В автомобиле были найдены следы крови, а на полу его — десять пустых гильз того же калибра, что и револьвер, обнаруженный недалеко от тела. Таким образом, нет сомнения, что это автомобиль того или тех убийц, которые, по-видимому, на поезде скрылись во Францию”.

На следующий день "Neue Zürcher Zeitung" пишет:

„Так как условия, при которых был найден недалеко от Лозанны труп чехословацкого коммерсанта Эберхардта, совершенно исключают возможность самоубийства, все

больше и больше есть оснований думать, что это политическое преступление”.

8 сентября 1937 года, полуденное издание:

„Полиция кантона Ваад соединилась с полицией безопасности, после того как было установлено, что подозрительный советский подданный поехал в субботу из Лозанны в Матиньи. Там кто-то вызвал его по телефону, и он опять уехал, в направлении Шамони. Справка из Праги показала, что найденный при убитом паспорт — подделка”.

9 сентября полиция уже установила, что какая-то подозрительная пара была привезена шофером из Женевы в Аннемас. 13 сентября „Neue Zürcher Zeitung” опубликовала сообщение из Будапешта, в котором несколько членов тамошнего социалистического рабочего движения узнали Эберхардта: он был заместителем командира Красной армии во время коммунистической диктатуры.

Но уже через десять дней узнали новую сенсационную новость:

„Neue Zürcher Zeitung”, 23 сентября 1937 года (вечерний выпуск):

„Новое дело Кутепова? Париж, 23.9. Парижская полиция сообщает, что генерал Миллер, председатель „Русского Общевоинского Союза”, вчера после полудня *бесследно исчез*. Опасаются, что генерала Миллера постигла та же судьба, что и генерала Кутепова, похищенного в 1930 году и которого с тех пор никто больше не видел. Генерал Кутепов был предшественником генерала Миллера на посту председателя Русского Общевоинского Союза...”

„Neue Zürcher Zeitung”, 24.9., с. 3:

„Похищение генерала Миллера... В четверг ночью полиция нашла новый след, который вел в Гавр. Комиссар полиции в Гавре сообщил, что в среду вечером, около 16 часов — значит, через несколько часов после исчезновения генерала Миллера, приехал автомобиль с тремя иностранцами, и через три с половиной часа они уехали обратно, но уже только с двумя людьми. Было замечено, что автомобиль остановился совсем рядом с советским пароходом „Мария Ульянова”.

Как ни странно, но этот пароход полтора часа спустя, внезапно и без извещения комендатуры порта, покинул Гавр. Как стало известно, пароход идет прямо в Ленинград. В полицейских кругах ставят вопрос: может быть, генерал Миллер был привезен на этот пароход? В настоящее время полиция старается узнать, откуда приехал этот подозрительный автомобиль и кто находился в нем...”

”Neue Zürcher Zeitung”, 25 сентября, с. 1:

„Париж, 25.9. Советское посольство в Париже сообщило, что обнаруженный недалеко от Гавра подозрительный автомобиль принадлежит посольству. Этот автомобиль с дипломатическим номером привез в Гавр не трех, а четырех человек, именно: вице-консула СССР, чиновника по торговле с СССР, служащего посольства и шофера. Два первых названных лица перешли на торговый пароход „Мария Ульянова”...”

30 сентября полиция кантона Ваад значительно продвинулась в расследовании дела об убийстве в Chamblandes: президент Революционной социалистической партии Голландии Н. Sheevliet опознал убитого — своего друга Игнатия Рейсса. Полиции также удалось узнать, что Гертруда Шильдбах, которая под предлогом, что и она возмущена сталинскими казнями и не хочет больше возвращаться в Москву, навестила бежавшего Людвигу, находившегося с женой и сыном в Montreux, и договорилась с ним о новой встрече. При этом Рейсс был убит незнакомыми людьми. 8 октября газета публикует официальное заявление из Берна:

„Берн, 7 октября. *Убийство, совершенное ЧК в Pully*: После убийства в Pully прошло немного больше месяца. За это время следствию удалось раскрыть это преступление. Главные виновники еще на свободе, и неизвестно, где они, — вероятно, им удалось скрыться в СССР, где они теперь, наверное, и находятся.

... Слежка за Рейсом была поручена (наряду с другими) швейцарской подданной Ренате Штейнер из St. Gallen. Ее „начальником” был некий Росси (вероятно, это его фальшивое имя) — француз с юга Франции. 1 сентября она приехала

с ним в Берн. Там она наняла автомобиль. Вскоре и Рейсс приехал в Швейцарию. С ним встретились здесь Росси, некая Гертруда Шильдбах (рожденная в 1894 году в Страсбурге) и еще один, неизвестный. Эти четверо поехали вместе в Берн. Автомобилем правил Росси, и в Chamblandes Рейсс был застрелен из легкого пулемета. В гостинице в Лозанне полиция нашла следы убийства: среди прочего — бутылку с раствором стрихнина и отравленные шоколадные конфеты. Следы ведут к некоему Кудратьеву — бывшему офицеру русской Белой армии, который служит теперь в ГПУ, живет в Париже, где ему поручено следить за офицерами бывшей русской армии... Некоторое время тому назад Кудратьев покинул Париж и поехал в Савойю, недалеко от швейцарской границы...”

В декабре французская полиция обнаружила, что служащая в советском посольстве, в отделе ГПУ Лидия Гросовская была одним из важнейших лиц в деле убийства Рейсса: именно в ее руки попало письмо Порецкого-Рейсса. Швейцарское правительство потребовало, чтобы ее выдали Швейцарии, и 17 декабря ее арестовали; но тут вступилось советское правительство, и через три дня ее освободили на поруки. С этого дня Лидия Гросовская исчезла.

22 февраля 1938 года “Neue Zürcher Zeitung” в своей передовой статье еще раз напечатала все, что было известно о „деле Рейсса” — до того, как вступление немецких войск в Австрию вытеснило из сознания швейцарского народа это убийство.

„ЧЕКА в Европе...

...То, что рука Москвы была замешана в бегстве Гросовской, было так очевидно, что советское правительство и его представители в Париже предпочли вообще об этом молчать. Лидия Гросовская, ее муж и „доктор” Белецкий, которые все трое служили в торговом представительстве в Париже, вместе с главой так называемого „Общества возвращения в СССР” — Эфроном — были опознаны как лица, ответственные за убийство агента Рейсса. Гросовский, Бе-

лецкий и Эфрон вовремя бежали, а Л. Гросовская была арестована, но оказалась на свободе после того, как советское правительство заплатило залог в 50 000 французских франков. Хотя полиция строго за ней наблюдала, ей удалось скрыться на Rue de Grenelle (в советском посольстве в Париже). Туда ее привез в автомобиле начальник прессы СССР. С тех пор она исчезла без следа...”

Убийство в Chamblandes было задумано в совершенстве, но плохо исполнено. Хотя старая коммунистка Шильдбах и подвела под удар своего прежнего верного друга и борца за идею Людвига, она все-таки не дала, как ей было поручено, отравленные конфеты его жене и ребенку. По-видимому, нервы ее не выдержали. Таким образом Елизавета Порецкая осталась в живых и смогла сразу же дать полиции все нужные сведения. 30 лет спустя она написала книгу о „деле Рейсса” — „Our own people”. Но первым, кто попытался выяснить это дело, был Виктор Серж. Через несколько дней после убийства он встретил в Париже совершенно потерявшую от отчаяния голову вдову Рейсса. Его книга „L’assassinat politique et l’URSS” вышла в 1939 году, но из-за начала войны осталась незамеченной.

В конце концов все действующие лица „дела Рейсса” исчезли без следа и в ноябре 1938 года уголовное дело об убийстве „Чекиста Игнаца Рейсса” было прекращено „виду недостатка улик”, как сообщила 17 ноября 1938 г. Basler National-Zeitung.

Елизавета Порецкая рассказала, что Рената Штейнер наняла в Берне автомобиль, в котором 4 сентября был убит Порецкий, и поехала сначала в Martigny, чтобы разыскать скрывавшуюся семью Порецких. С ней были: Гертруда Шильдбах, бывший белый русский офицер Кондратьев* и двое русских, с которыми Штейнер была знакома в Париже: Эфрон и Смиренский. Кондратьев вернулся из Martigny в Париж и три недели спустя был одним из главных похитителей генерала Миллера. Теперь, 40 лет спустя после так

* — а не Кудратьев, как пишет швейцарская газета.

называемого „убийства Чека в Pully”, выяснилось также, кто скрывался под именем „Росси” который правил автомобилем: это он был агент под псевдонимом Roland Abbiate, который, как говорит Brook-Shepherd, был русский и во время второй мировой войны, под именем Правдин, работал в Нью-Йорке корреспондентом агентства ТАСС⁷.

В 1937 году во Франции правительство „Народного фронта” относилось с симпатией к Советскому Союзу. Французская полиция сначала не хотела заниматься убийством агента ГПУ, совершенным на чужой территории. Когда швейцарское правительство подало жалобу против Эфрона и Смиренского, во Франции их вызвали на допрос, но тотчас же отпустили на свободу; Елизавета Порецкая думает, что они бежали в Испанию.

Но после исчезновения генерала Миллера настроение во Франции изменилось: полиция отправилась в Vanves, чтобы арестовать Сергея Эфрона, а когда оказалось, что он исчез, — взяли его жену.

Как отнеслась ничего не подозревавшая Марина Цветаева к обвинениям, предъявленным следственными органами французской полиции ее мужу, мы знаем не от нее самой. Ее письма Анне Тесковой, написанного 17 ноября (64 строки), нет среди ее писем пражского издания. Но рассказы ее друзей об этой ужасной ночи подтверждают друг друга. Елена Извольская рассказывает:

„...Ничего не зная о деятельности Сережи, которую он тщательно скрывал, Марина не могла ответить на вопросы французских полицейских. Можно себе представить ее ужас и страх. В то же время, лояльность, абсолютное доверие к Сереже, не были поколеблены. Она вдруг стала говорить очень тихо по-французски. Полицейские в недоумении ее слушали. Из уст ее лились — стихи, стихи и еще стихи. Странное дело, но это чтение произвело огромное впечатление. Ее слушали с уважением и наконец отпустили. С тех пор ее никто не тревожил”⁸.

Кроме Корнея и Расина, Марина декламировала и свою поэму „Молодец”, который таким образом спас свою созда-

тельницу. З. Шаховская говорит, что когда во время допроса Марине представили доказательства вины ее мужа, она ответила: "Sa bonne foi a pu être surprise, la mienne en lui reste intacte". (Его искренняя вера могла быть обманута, но моя вера в него остается непоколебленной)⁹.

В октябре Слоним встретил Марину у Лебедевых. У него было впечатление что она постарела и как-то иссохла:

„Когда я встретил ее в октябре у Лебедевых, на ней лица не было, я был поражен, как она сразу постарела и как-то ссохлась. Я обнял ее, и она вдруг заплакала, тихо и молча, я в первый раз видел ее плачущей. Потом, овладев собой, начала рассказывать почти в юмористических тонах, о том, что называла „несчастьем“. Мура при этой беседе не было. Меня потрясли и ее слезы, и отсутствие жалоб на судьбу, и какая-то безнадежная уверенность, что бороться не к чему и надо принять неизбежное. Я помню, как просто и обыденно прозвучали ее слова: „Я хотела бы умереть, но приходится жить ради Мура, Але и Сергею Яковлевичу я больше не нужна“¹⁰.

Ему показалось, что за эти дни что-то окончательно сломилось в Марине Цветаевой.

Нужно подчеркнуть, что и в это ужасное для Марины время у нее осталось несколько верных друзей, которые не бросили ее и всячески старались помочь. Кроме Слонима и семьи Лебедевых, таким другом был и Бердяев, который заботился о Марине, как о больной, и И. И. Фондаминский, „неустанный защитник всех труждающихся и обремененных“, как называют его Е. Федотова, Извольская, Сосинский, Ходасевич, который был тогда уже очень болен.

Но, в общем, начался поголовный бойкот Цветаевой: можно легко себе представить, какое волнение вызвало „дело Эфрона“ среди парижских русских. Нина Берберова описывает последнее появление Марины в русских кругах:

„М. И. Цветаеву я видела в последний раз на похоронах (или это была панихида?) кн. С. М. Волконского 31 октября 1937 года. После службы в церкви на улице Франсуа Жерар (Волконский был католиком восточного обряда) я

вышла на улицу. Цветаева стояла на тротуаре одна, и смотрела на нас полными слез глазами, постаревшая, почти седая, простоволосая, сложив руки у груди. Это было вскоре после убийства Игнатия Рейсса, в котором был замешан ее муж, С. Я. Эфрон. Она стояла, как зачумленная, никто к ней не подошел. И я, как все, прошла мимо нее”¹¹.

Эту последнюю зиму в квартире в Vanves Марина провела одна с Муром. Одинокая, без денег и без заработка, занималась стиркой белья и топкой печки. Рождество они праздновали одни, но маленькая елочка была украшена позолоченными еловыми шишками из Вшенор. Краткий привет на Новый год Тесковой, открытка от 7 февраля:

„(пр. 15 с.) За всю эту зиму не написала — ничего. Конечно — трудная жизнь, но когда она была легкая? Но просто нет душевного (главного и единственного) покоя, есть — обратное. (Простите за скучные открытки: такие торжественные здания — *всегда* скучные, но сейчас ничего другого нет под рукой, а на письмо я не способна.)”¹²

Главное, чем занималась этой зимой Марина Цветаева — разборка, переписка и просмотр своих рукописей. И еще одним, что она ненавидела: хождением по учреждениям. Она старалась получить для себя и для сына советское гражданство, чтобы последовать за Сережей и Алей в Россию.

ГЛАВА 27

В начале марта 1938 года европейский кризис достиг опаснейших размеров. 11 марта немецкие войска вошли в Австрию. Весь мир смотрел, как загипнотизированный, на Вену и почти не обратил внимания на начавшийся в то же самое время в России процесс Бухарина, Рыкова и Крестинского. Через день после того, как Гитлер произнес на Heldenplatz в Вене свой „рапорт истории об исполнении своей задачи”, Бухарин и другие обвиняемые были приговорены к смертной казни. Марина Цветаева не отозвалась на эти события; ее ничто не связывало с Австрией — кроме герцога Рейхштадтского; о том, что происходило в Москве, она, наверное, почти ничего не знала. Но можно полагать, что все это не могло послужить ее спокойствию.

Удовлетворение Гитлера добычей, так легко доставшейся ему, продолжалось недолго. Не прошло и двух месяцев после занятия Австрии, как 1 мая 1938 года начались первые „кровавые стычки” и разные „эксцессы” в Чехословакии, что привело к тому, что 21 марта чешское правительство

объявило мобилизацию и временно закрыло границы. Теперь Марина увидела опасность.

„Дорогая Анна Антоновна, — пишет она Тесковой, — думаю о Вас непрерывно — и тоскую, и болею, и негодную — и надеюсь с Вами. Я Чехию чувствую свободным духом, над которым не властны — тела. А в личном порядке я чувствую ее своей страной, родной страной, за все поступки — отвечаю и под которыми — заранее подписываюсь. Ужасное время!”¹

Весной в русских эмигрантских газетах появилось несколько статей против исчезнувшего Сергея Эфрона. Хотя имя Цветаевой нигде не упоминалось, ее пребывание в Vanves стало невозможным. К тому же больше не было доходов: хотя „Русские записки” напечатали в 3-м номере первую часть „Повести о Сонечке”, от второй части — отказались (она лежала, ненапечатанная, до 1975 года в университетской библиотеке в Базеле). Марина покинула Vanves и поселилась с Муром в маленькой гостинице Иннова, 13 Boulevard Pasteur, в 15-ом аррондисмане Парижа. Здесь она скрывалась и ждала, голодная и несчастная, ответа на поданное ею прошение о возвращении в СССР. С отчаянием наблюдала она за сгущающимися тучами все ближе приближавшейся войны. Она продолжала разбирать и переписывать свои произведения: далеко не все можно было забрать с собой в СССР!

Казалось, Марина дошла до крайней точки своей жизни в эмиграции — худшего не могло случиться. Но в конце августа наступают события, которые наносят ей такой удар, что она забывает на время собственные беды: Гитлер принимается за Чехословакию.

В своей бедной, неудобной комнатухе в гостинице Иннова Марина переживает дни и недели национал-социалистического шантажа против маленькой страны: угроза войны, капитуляция в Мюнхене, выдача западными державами любимой ею страны. Чехословакия — волшебная страна ее мечтаний, ее стремлений и снов — олицетворенная для нее в „Пражском рыцаре!”

24 сентября она пишет Тесковой:

„Нет слов, но они должны быть. День и ночь, день и ночь думаю о Чехии, живу в ней, с ней и ею, чувствую изнутри нее: ее лесов и сердец. Вся Чехия сейчас одно огромное человеческое сердце, бьющееся только одним: тем же, чем и мое... До последней минуты и в самую последнюю верю — и буду верить — в Россию: в верность *ее* руки. Россия Чехию сожрать *не даст*: попомните мое слово...”

Марина просит своего друга послать ей на память о Чехии ожерелье из чешских стеклянных бус, книгу чешских сказок и фотографию „Пражского рыцаря”. 3 октября она пишет:

„Бесконечно люблю Чехию и бесконечно ей благодарна, но не хочу *плакать* над ней (над здоровым не плачут, а она, среди стран — единственная здоровая, больны — те!), итак, не хочу плакать над ней, а хочу ее петь...”

И Марина Цветаева начинает „петь” Чехословакию. Вдруг прерывается ее молчание, она опять может писать стихи, она может словами выразить свою боль, свою любовь к этой несчастной стране.

Так рождается первая часть „Стихов к Чехии”, которую она называет „Сентябрь”.

Горы — турам поприще!
Черные леса,
Долы в воды смотрятся,
Горы — в небеса.

Край всего свободнее
И щедрей всего.
Эти горы — родина
Сына моего.

.

Богова! Богемия!
Не лежи, как пласт!
Бог давал обеими —
И опять подаст!

В клятве — руку подняли
Все твои сыны —
Умереть за родину
Всех — кто без страны!²

Какой долгий путь и сколько разочарований от „влюбленности до гроба” до этого горького приступа отчаяния! Пожалуй, можно радоваться, что до последнего, самого большого разочарования, она не дожила: когда „родина всех, кто без страны” круто обошлась со своими собственными и чужими гражданами не чешской или словацкой национальности в 1945 году!

В течение всей зимы 1938—39 года, до окончательной ликвидации Чехословакии, Марина Цветаева и Анна Тескова поддерживают интенсивную переписку. На некоторых письмах — штамп чешской цензуры. Марина хочет утешить подругу, но ясно, что она сама ищет утешения; ясно чувствует-ся, что Анна Тескова — ее последняя опора:

„Я — страшно одинока. Из всего Парижа — только два дома, где я бываю. Остальное все — отпало. Если бы эти мои друзья — случайно — уехали, у нас бы не осталось — никого. На весь трехмиллионный город... Если бы я сейчас была в Праге — и Вам было бы лучше — и мне. Здесь мое существование — совершенно бессмысленно. А там бы я с новым жаром все любила. И может быть — опять стала бы писать. А здесь у меня чувство: к чему? Весь прошлый год я дописывала, разбирала и отбирала (потом — поймете), сейчас — все кончено, а нового начинать — нет куражу. Раз — все равно не уцелеет. Я как кукушка, рассовала свои детища по чужим гнездам. А растить — на убой...”³

Редко, но все-таки случаются иногда и приятные события. Ирина Одоевцева рассказывает, что летом (1938 года?) произошло примирение между Цветаевой и Георгием Ивановым. Одоевцева и Георгий Иванов пришли в гости к знакомым, там сидела Марина. После нескольких секунд колебания и молчания — Иванов и Одоевцева подошли к оклеветанной писательнице и с большим жаром начали уверять ее,

как они рады, что с ней встретились. Потом они вместе написали письмо, прося о помощи неизвестной молодой писательнице. По словам Одоевцевой, Цветаева, шагая с ними по улицам ночного Парижа, обращается к ней, которая смотрит — глотая слезы — на ее бледное, усталое, безнадежное лицо, и говорит:

„ — А вы совсем другая, чем мне казались. Очень жаль! Значит, еще одной несостоявшейся встречей больше. Сколько их было в моей жизни, этих несостоявшихся встреч! И вот еще одна. — Она протягивает мне руку. — Прощайте. Прощайте навсегда. Будьте счастливы. А мне ни счастья, ни счастливого пути не желайте. Ни к чему это мне...”⁴

Несмотря на то, что Марина прячется в своей берлоге, некоторым друзьям все-таки удается ее разыскать:

„А вчера — после очень долгого промежутка — виделась с М. Л. ... и мы во всем с ним спелись. Но такие беседы — раз в год...”⁵

Совсем случайно ее находит в гостинице Е. Н. Федотова, жена Г. П. Федотова. Она ищет знакомую, ей говорят, что тут живет и Цветаева и что она — очень несчастна. Федотова вспоминает:

„Я решила постучать в дверь. Марина Ивановна как будто обрадовалась посетительнице и стала объяснять мне, что она должна уехать в Россию, что из Кламара ей пришлось бежать от соседей, мальчика нельзя было держать в школе (французской??) из-за товарищей, что, наконец, ввиду надвигающейся войны она просто умрет с голоду, что и печатать ее никто не станет. Тут же она, к моей большой радости, прочла свою погребальную песнь Чехословакии: „Двести лет неволи, двадцать лет свободы”. Впоследствии Ил. Ис. (Фондаминский) говорил мне, что он очень просил ее дать эту поэму для „Совр. Зап.”, но что она уже, приняв роковое решение, вероятно, боялась печататься в эмигрантской печати.

В комнате был ее сын, который, не стесняясь посетительницы, не только не закрыл, но даже не приглушил радио... На этом мы расстались... Мне невольно вспоминаются сейчас

слова Пастернака, им сказанные Цветаевой шепотом во время чествования советских писателей в Париже: „Марина, не езжай в Россию, там холодно, сплошной сквозняк”. Это был последний раз, что я ее видела”⁶.

Перед самым Рождеством 1938 года Юрий Иваск приехал в Париж из Эстонии. Ему захотелось навестить всеми преследуемую поэтессу, с которой он столько лет переписывался. 19 декабря он, в первый раз, идет в гостиницу Иннова и на пятом этаже стучит в первую попавшуюся дверь:

„Темная передняя, много дверей. Крики, вонь. Стучу наугад: — Эфрон — напротив, чтобы вас черт побрал, Monsieur! С трудом пробираюсь к Марине Ивановне: весь пол уставлен утварью, и я опрокидываю кофейную мельницу. Ее бледное лицо. Седоватые волосы. Удлиненный горбик носа. Станные птичьи движения: все под правым углом. Мур — румяный, толстый, рыхлый...”⁷

Они говорят о Гронском, о стихах Марины, о школе музыки Зограф-Плаксиной в Москве, которую посещал и Иваск. Марина готовит ему обед, потом они идут в кафе и разговаривают там 5—6 часов, как будто они знали друг друга целые годы. На следующем свидании, 21 декабря, Марина рассказывает Иваску о своем плане вернуться в Советский Союз и говорит о своем страхе: что делать с рукописями? Иваск привез Марине подарок от Елизаветы Малер из Базеля — банку варенья. („Знаете, Мур все съел, мне ничего не оставил и хорошо сделал!” — говорит ему Марина в последний вечер.) Иваск предлагает передать на хранение Елизавете Малер в Базеле те рукописи, которые нельзя взять с собой в Советский Союз. К счастью для потомства Марина Цветаева согласилась последовать этим советам и переправила хотя бы часть своих ненапечатанных рукописей в Базель: таким образом войну пережили „Лебединый стан”, „Перекоп” и „Повесть о Сонечке”. Другие же — поэма о гибели Царской семьи и, наверное, многое другое, посланное в Амстердам в „Архив Социалистического Интернационала”, погибли в пламени немецких налетов на Амстердам, по крайней мере, так говорит Марк Слоним. Но кто

мог предсказать в начале 1939 года, в каком уголке Европы можно надеяться спасти рукописи?

В последний раз Юрий Иваск видел Цветаеву 22 декабря 1938 года.

14 марта 1939 года на Оберзальцберг у Гитлера появились „вожди” Словакии — Тисо и Дурчанский, и попросили „помощи” „Рейха” против „нестерпимого чешского террора”. Ночью 15 марта немецкие войска, не встретив ни малейшего сопротивления, вступили в Богемию и Моравию без единого выстрела. „Родина всех, кто без страны” перестала существовать.

С этой минуты время, казалось, обрело крылья! Дни перед надвигающейся катастрофой: для Марины — отъезд в СССР, и для всего мира — начало мировой войны — пролетели мгновенно.

После занятия Праги в переписке Цветаевой и Тесковой наступает перерыв, только 22 мая появляется первая весточка:

„Дорогая Анна Антоновна! Надеюсь, что Вы сейчас настолько поправились, что без труда сможете прочесть мое письмо. Стараюсь писать ясно. Все последнее время я очень много пишу — уже целая маленькая книжка, и все никак не могу кончить — да и жалко расставаться, столько еще осталось хорошего — и верного. Стихи идут настоящим потоком — сопровождают меня на всех моих путях, как когда-то ручьи... Зная, как Вы любите стихи, все время, пока пишу, пока они пишутся, о Вас думаю...”

Тескова посылает в ответ открытку, и тогда Марина ей сообщает:

„Дорогая Анна Антоновна! Мы наверное скоро тоже уедем в деревню, далеко, и на очень долго. Пока сообщаю только Вам. Но где бы я ни была — я всю (оставшуюся) жизнь буду скучать по Вас, без Вас, которые для меня неразрывны с моим стихотворным потоком... Получилась (бы) целая книжка, но сейчас мне невозможно этим заниматься. Отложу до деревни. Там — сосны, это единственное, что я о ней знаю... У меня сейчас много работы и заботы:

не хватает ни рук, ни ног, хочется моим деревенским друзьям привезти побольше, а денег в обрез, надо бегать... и одновременно разбирать тетрадки — и книги — и письма... Отдых будет долгий: друзья мои живут в полном одиночестве, как на островке, безвыездно и зиму и лето. Барышня на работу ездит в город, а мне вовсе будет незначительно...”⁸

Марина всецело занята приготовлениями к отъезду: последние покупки, отсылка рукописей, раздача книг. 7 июня она пишет Анне Тесковой прощальное письмо:

„Спасибо за одобрение, Вы меня сразу поняли (пр. 2 с.), но выбора не было: нельзя бросать человека в беде, я с этим родилась, да и Муру в таком городе как Париж — не жизнь, не рост... — Ну — вот.

... Тропинки, превратившиеся в поток — когда-нибудь сами — докатятся и до Вас: поток — всегда сам! и его никто не посылает — кроме ледника — или земли — или Бога... Но Вы мой голос — всегда узнаете. Боже, до чего — тоска! Сейчас, сгоряча, в сплошной горячке рук — и головы — и погоды — еще не дочувствываю, но знаю, что меня ждет: себя — знаю! Шею себе сверну — глядя назад: на Вас, на Ваш мир, на наш мир. Но одно знайте: когда бы Вы обо мне ни подумали — знайте, на то думаете — *в ответ*. ... Вы человек, который исполнил *все* мои просьбы и превзошли все мои (молчаливые) требования преданности и памяти. Так, как Вы, меня — никто не любил. Помню все и за все бесконечно и навечно благодарна”.

Друзья Марины были глубоко поражены, узнав о ее решении вернуться в СССР. Но другого выхода и они не видели. В начале июня Слоним пригласил в последний раз Марину и Мура к себе. После ужина они стали вспоминать время в Праге, проведенное вместе; Марина прочла „Автобус”; они говорили о рукописях, которые должны были остаться на Западе, и о том, будет ли возможно что-нибудь печатать в СССР. В эту минуту мирно зевавший Мур вдруг встрепенулся: „Что Вы, мама, Вы всегда не верите, все будет отлично!” Тогда Марина повторила то, что уже было сказано не

раз: „...писателю там лучше, где ему меньше всего мешают писать, т. е. дышать”.

„Мы засиделись допоздна. Услыхав двенадцать ударов на ближней колокольне, М. И. поднялась и сказала с грустной улыбкой: „Вот и полночь, но автомобиля не надо, тут не Вшеноры, до Пастера дойдем пешком”. Мур торопил ее, она медлила. На площадке перед моей квартирой мы обнялись. Я от волнения не мог говорить ни слова и безмолвно смотрел, как М. И. с сыном вошли в кабину лифта, как он двинулся, и лица их уплыли вниз — навсегда”⁹.

Последняя весточка Цветаевой с Запада — открытка, написанная в день отъезда Тесковой:

„12 июня 1939 г. в еще стоящем поезде.

Дорогая Анна Антоновна! (Пишу на ладони, потому такой детский почерк.) Громадный вокзал с зелеными стеклами: страшный зеленый сад — и чего в нем не растет! — На прощание посидели с Муром, по старому обычаю, перекрестились на пустое место от иконы (сдана в хорошие руки, жила и ездила со мной с 1918 г. — ну, когда-нибудь со всем расстанешься: *совсем*. А это урок, чтобы потом — не страшно — и даже не странно — было... Кончается жизнь 17 лет. Какая тогда была счастливая! А самый счастливый период моей жизни — это — запомните! — Мокропсы и Вшеноры, и еще — та моя родная гора. Странно — вчера на улице встретила ее героя, к-го не видала — годы, он налетел сзади и без объяснений продел руки под руку Муру и мне — пошел в середине — как ни в чем не бывало. И еще встретила — таким же чудом — старого безумного поэта с женою — в гостях, где он *год не был*. Точно все — почували. Постоянно встречала — всех. (Сейчас слышу, гулко и грозно: *Express de Vienne* и вспоминала башни и мосты, к-ых никогда не увижу.) Кричат: *En voiture, Madame!* — точно мне, снимая меня со всех прежних мест моей жизни. Мур запасся (на этом слове поезд тронулся) газетами. — Подъезжаем к Руану, где когда-то людская благодарность сожгла Иоанну д'Арк... Миновали Руан — *gâcte dâle!* Буду ждать вестей от всех вас, передайте мой горячий привет всей семье, желаю

вам всем здоровья, мужества и долгой жизни. Мечтаю о встрече на Муриной родине, к-ая мне роднее своей. Обращаюсь на звук ее — как на свое имя. Помните, у меня была подруга Сонечка, так мне все говорили „Ваша Сонечка”. — Уезжаю в *Вашем* ожерельи и в пальто с *Вашими* пуговицами, а на поясе — *Ваша* пряжка. Все — скромное и безумно-любимое, возьму в могилу или сожгусь совместно. До свидания! Сейчас уже не тяжело, сейчас уже — судьба. Обнимаю Вас и всех ваших, каждого в отдельности и всех вместе. Люблю и люблюсь. Верю как в себя. М.

(Отправляю из Le Havre-Gare, 16. 30 h, 12.6.1939)¹⁰.

Она едет навстречу судьбе, но она не чувствует себя больше среди живых: первый смертельный удар был нанесен ей ночью в парижской Sûreté; второй — оккупацией немецкими войсками Праги; все остальное — это только подтверждение того, что Марина уже знает. Один из ее последних „Стихов к Чехии” — предсказание своей собственной смерти, которое сбудется два года спустя:

О слезы на глазах!
Плач гнева и любви!
О Чехия в слезах!
Испания в крови!

О черная гора,
Затмившая — весь свет!
Пора — пора — пора
Творцу вернуть билет.

Отказываюсь — быть.
В Бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей

Отказываюсь — выть.
С акулами равнин
Отказываюсь плыть —
Вниз — по течению спин.

Не надо мне ни дыр,
Ушных, ни вещей глаз.
На твой безумный мир
Ответ один — отказ.¹¹

После отъезда Цветаевой с сыном из Франции, в Париже распространился слух, что Сергей Эфрон, вернувшийся в СССР, был арестован и расстрелян. Зинаида Шаховская рассказывает о своей попытке дать Марине знать об этом, предупредить ее. Но телеграмма, которую, как ей кажется, она послала в Варшаву, до Цветаевой не дошла. Шаховская также рассказывает, что при их последнем свидании Марина сказала: „Некуда податься — выпихивает меня эмиграция”.

Известная в эмиграции поэтесса Ирина Одоевцева подтверждает эти слова:

„Марина Цветаева — наш общий грех, наша общая вина. Мы все перед ней в неоплатном долгу... Эмиграция действительно „выжила” ее, нуждавшуюся в любви, как в воздухе, своим полнейшим равнодушием и холодом — к ней. Мы не сумели ее оценить, не полюбили, не удержали ее от ее губельного возвращения в Москву. Не только не удержали, но даже скорее толкнули ее на этот пагубный шаг”¹².

Но что случилось бы, если бы Марина тогда действительно осталась на Западе? Гитлеровская Германия заключила пакт со сталинской Россией, и ровно через сорок дней после отъезда Цветаевой разразилась Вторая мировая война. Наступил роковой час также и для монпарнасских „эмигрантских сыновей”: Франция призвала их в армию, большинство из них шли защищать ту страну, которая их приютила, следуя примеру главы „парижской школы”, Г. Адамовича, который в первые дни войны, в 45-летнем возрасте, записался добровольцем. Многие из них погибли. Один завсегда-тай „русского Монпарнасса”, Борис Вильде, со своим другом, Анатолием Левицким положил начало французскому сопротивлению и даже придумал название, которое перешло на все движение — „Резистанс”. Оба были казнены немцами. Но среди русских были и коллаборанты и те, кто верил в

борьбу против большевизма. Оккупация Парижа означала конец русского Монпарнасса.

Старшие русские писатели пережили катастрофу по-разному — и не все: некоторые погибли, потому что сотрудничали с немцами, другие, потому что участвовали в Сопротивлении. Некоторые, как Бальмонт, умерли в нищете в оккупированном Париже, другие, как Шаховская или Сосинские, были участниками Сопротивления и выжили, третьи, как Бунины и Бахрах, попали в „свободную зону” Франции и там спаслись. Слоним, Струве, Иваск и Набоков смогли добраться до Америки. Фондаминский погиб в газовой камере Третьего рейха так же, как вторая жена Ходасевича; мать Мария была казнена в Бухенвальде в 1945 году, когда уже были слышны советские орудия. К Ходасевичу судьба была милостивей: 14 июня 1939 года, через два дня после отъезда Марины Цветаевой, он скончался в своей собственной постели от рака.

ЧАСТЬ IV

Советский Союз

*„С акулами равнин
Отказываюсь плыть –
Вниз – по теченью спин...”*

„Стихи к Чехословакии”

ГЛАВА 28

Когда, в начале 70-х годов, я начала писать эту книгу, о возвращении Марины Цветаевой в Россию и о ее смерти в Елабуге у нас на Западе точных сведений было еще очень мало. Потом картина стала постепенно проясняться. Мне тогда казалось, что полный и правдивый отчет о событиях, которые привели Цветаеву к такому трагическому итогу в Елабуге в 1941 году, может прийти только с родины великого поэта. Так это и произошло. Теперь в нашем распоряжении доклад о событиях в жизни Цветаевой в Советском Союзе, прочитанный Викторией Швейцер на Цветаевском Симпозиуме в Лозанне¹, кроме того, дневниковые записи самой Марины Ивановны² и важнейшие свидетельства Лидии Чуковской о том, что на самом деле произошло в Чистополе в конце 1941 года, прочитанное также в Лозанне³. И этого вполне достаточно. События говорят сами за себя. Вникать дальше, гадать: кто — что — почему: что-то сделал — сказал — не сказал — уже не дело хроникера.

18 июня 1939 года Марина и Мур прибыли в Москву.

Можно предполагать, что на вокзале их встретили Аля и Елизавета Яковлевна Эфрон. Только в эту минуту Цветаева узнала то, что до сих пор от нее скрывали: 2 сентября 1937 года, вскоре после смерти Горького, ее сестра Ася была арестована и находилась в ссылке.

Сергей Яковлевич и Аля жили на даче в дачном поселке Большево, недалеко от Москвы; больной Сергей Яковлевич был близок к отчаянию. В выдержках из дневника Цветаевой, опубликованных в Париже, мы читаем:

„18-го июня приезд в Москву. На дачу, свидание с больным С. Неуют. За керосином. С. покупает яблоки. Постепенное щемление сердца. Мытарства по телефону. Энигматическая Аля, ее накладное веселье. Живу, никому не показываясь. Кошки. Мой любимый неласковый подросток — кот. (Все это — для моей памяти, и больше ничьей: Мур, если и прочтет, не узнает. Да и не прочтет, ибо бежит такого. Торты ананасы — от этого — не легче. Прогулки с Лилей. Мое одиночество. Посуда, вода и слезы. Обертон, утертон всего — ужас. Обещают перегородку — дни идут. Мурику школу — дни идут. И обычный деревянный пейзаж, отсутствие камня: устоя. Болезнь С. Страх его сердечного страха. Обрывки его жизни без меня — не успеваю слушать: полны руки дела, слушаю на пружине. Погреб: 100 раз в день. Когда писать?

Девочка Шура. Впервые чувство чужой кухни. Безумная жара, которой не замечаю: ручьи пота и слез в посудный таз. Не за кого держаться. Начинаю понимать, что С. бессилен, совсем, во всем...”⁴

На даче в Большево жила еще одна семья: муж, жена и их 17-летний сын, Д. Сеземан. 40 лет спустя Д. Сеземан отчетливо вспоминает знаменитую писательницу, приехавшую из-за границы. Около большой печки она читала свои стихи и при этом держалась так прямо, что сразу было заметно прежнее, другое воспитание:

„От нее исходила такая сила, такая могучая воля духовная, что даже неразумный и самоуверенный юноша не мог оставаться вполне равнодушным. Особенно запомнились

мне те вечера в Болшево, у огня, ... когда М. И. читала стихи"⁵.

Сеземан жалеет, что тогда так мало обращал внимания на советы матери, которая ему говорила: „Смотри на нее, запоминай ее, она ведь великий человек, великий поэт. Не поэтесса, а поэт”.

Но Сеземан намекает, что жить с ней под одной крышей было нелегко:

„Не знаю, нужно ли рассказывать, каким невозможно трудным человеком была М. И. „в общежитии”, как принято говорить. Как человек с содранной кожей, она чрезмерно — чрезмерность вообще отличала ее поведение и, шире, ее личность — реагировала на все то, что, по ее мнению, сколько-нибудь задевало цельность ее духовного существования, единственного для нее важного”.

Вдруг над жителями дачи разразилась гроза: 27 августа была арестована Аля.

„Разворачиваю рану, живое мясо. Короче, 27 августа в ночь отъезда Али. Аля веселая, держится браво. Отшучивается. Забыла: последнее счастливое виденье ее дня за 4 на С. Х. выставке „колхозницей” в красном платочке, моем подарке, сияла. Уходит, не прощаясь! Я — что же ты, Аля, так ни с кем не простившись? она, в слезах, через плечо — отмахивается! Старик, добро. Так лучше. Долгие проводы — лишние слезы”⁶.

Ариадне Сергеевне Эфрон было 27 лет, когда ее арестовали. Когда она, через много лет, вернулась в так называемую „нормальную” жизнь, ей было более сорока лет.

Несколько недель спустя, „под самый, под светлый Октябрьский праздник” арестовали в Болшево Сергея и родителей Сеземана.

„В дальнейшем, мои встречи с М. И. происходили в приемной Бутырской тюрьмы, куда она приносила передачи своему мужу... а я своим родителям”.

Марина и Мур остались на свободе, но и на улице. Прописку в Москве они не получили. Зимой 1939—40 года они, по инициативе Литфонда, провели в Голицыно, недалеко

от Москвы; они снимали комнату в частном доме и питались в столовой Дома Союза Писателей. Мур ходил в школу и часто болел; Марина переводила на русский язык грузинского поэта Пшавела и уже осенью начала готовить для печати сборник своих стихов. Она систематически перерабатывала свои произведения и переделывала то, что ей не нравилось. По ее плану первым стихотворением должно было быть „Писала я на аспидной доске“, написанное в 1920 году и посвященное ее мужу:

...И на стволах, которым сотни зим,
и, наконец, — чтоб было всем известно —
что ты любим! любим! любим! любим!..

Цветаева сама не верила, что ее сборник увидит свет:

„Почти уверена, что не возьмут, диву далась бы, если бы взяли. Ну, я свое сделала, проявила полную добрую волю (послушалась). Я знаю, что стихи хорошие и кому-то нужны (может быть даже — как хлеб)...”⁷

Через несколько десятилетий эта работа все-таки принесла свои плоды: изданные ее дочерью в 1961 и 1965 годах тома избранных стихов отчасти базируются на рукописи этого сборника.

По-видимому, к тому же времени относится и автобиография Цветаевой, датированная: „Зима 1939–40 г.". Ею воспользовалась Е. Штроблова в своей чешской антологии „Hodina duše“. Этот документ, до сих пор, очевидно, не опубликованный на русском языке, был передан чешской переводчице Ариадной Эфрон.

„В Крыму встречаю моего будущего мужа, Сергея Эфрона. Принимаю решение, что *никогда, что бы ни случилось*, с ним не расстанусь, и в 1912 году выхожу за него замуж. В 1914 году мой муж — тогда студент филологического факультета Московского Университета — идет на фронт как санитар. В 1917 году он сражается в рядах Белой Армии. Каким образом попал он в Белую Армию? Ведь предки его были революционерами, и родители его — народовольцами? Он считал это величайшей ошибкой своей жизни... В этом он

видел спасение России и правду. Когда же он потерял эту веру, он отвернулся — совершенно, без сомнений, и никогда больше не оборачивался назад. Как свидетель, я подтверждаю: этот человек любил Советский Союз и идею коммунизма больше своей жизни... В 1937 году я возобновила мое советское гражданство и в 1939 году вернулась с моим 14-летним сыном, чтобы последовать за мужем и дочерью. Причиной моего возвращения на родину было желание дать моему сыну родину и будущее. И желание: работать дома. И полное одиночество в эмиграции, с которой, в последние годы, меня больше ничего не связывало”⁸.

В Доме Литфонда жили или отдыхали писатели, среди которых Цветаева начала заводить знакомства. Об этом рассказывают и Маризтта Шагинян, и Наталья Ильина. Из писем того времени, которые появились в печати, видно, что она нашла общий язык с писателем Николаем Яковлевичем Москвиным и особенно полюбила его молодую жену, Татьяну Николаевну Кванину⁹. Из одного письма Москвину можно также заключить, что Марина должна была бороться с администрацией дома: за питание для себя самой и Мура она должна была платить вдвое больше, чем все другие гости. Она попросила, чтобы одного из них двоих — то есть ее — вычеркнули из списка пайков. Но Кванина добавляет, что ее мужу удалось помочь Марине Ивановне в этом деле¹⁰.

В это время в Доме Литфонда в Голицыно отдыхал также писатель В. Е. Ардов. На него личность Цветаевой сильно подействовала:

„...И нищета, и заброшенность, и ностальгия пожирали ее. Все это оставило свои следы на прекрасном лице поэтессы. Она не склонила головы. Ее энергия и поразительный темперамент удивляли нас... Но печать пережитых страданий, так же, как страданий нынешних явственно выражались в голосе и взглядах, в движениях и в тех паузах раздумья, которые овладевали поэтессой даже в веселой застольной беседе. А Марина Ивановна часто была веселой в нашей — случайной для нее среде. Она легко завладевала вниманием неболь-

шого общества за ужином или после ужина в маленькой гостиной голицынского дома. Ее речи всегда были интересны и содержательны. Надо ли пояснять, что ее эрудиция, вкус, редкая одаренность заставляли всех нас с почтительным вниманием прислушиваться к ее словам?"¹¹

Ардов прибавляет, что Марина Цветаева, как „возвращенка” должна была быть особенно осторожна, так как находились „добровольцы, желавшие по собственной инициативе, без указаний свыше, попрекать вернувшихся на Родину людей”.

Жена Ардова, Нина Антоновна Ольшевская, была давно дружна с Анной Ахматовой, и на их квартире на Ордынке состоялись знакомство и первая встреча двух великих поэтесс.

Об этой встрече уже много было написано¹². Ардов рассказывает, что после первого свидания обе были очень взволнованы. На следующий день они еще раз увиделись у Н. И. Харджиева, потом долго вместе „бродили по Москве”; Цветаева подарила Ахматовой брошку и переписала ей на память несколько своих стихов. Но Ахматова по-настоящему так и не полюбила поэзию Цветаевой, а та, прочтя книгу Ахматовой, записала в свой дневник: „Старо, слабо... Эта книга и есть непоправимо-белая страница — жаль!” Новых произведений Ахматовой она, конечно, не знала, тем более не ведала, с какими трудностями книга вышла на самом деле. Чуковская, прочитав эти последние строки в 1979 году, написала в своих „Записках”:

„Ахматова из года в год со все более глубокой горечью сетовала, что сборники ее стихов дают читателю ложное представление о ее поэзии, о ее пути. ... Как была бы она опечалена, если бы убедилась, что не только рядовые советские граждане, от которых власти десятилетиями умышленно скрывали ее стихи, не только русские эмигранты, ведавшие не ведавшие о подвигах ее неукротимой музыки — но даже Марина Цветаева, вернувшись на родину и взяв в руки „Из шести книг”, не догадалась о вынужденных пропусках, о цензурных изъятиях! ... Как же, спрашивая, что делала

Ахматова „внутри себя” с 1917 по 1940 год, не спросила себя: да многое ли из сделанного Ахматовой ... опубликовано? „Жаль”!”¹³

Встреча между Ахматовой и Цветаевой состоялась, как теперь точно установлено, не в год возвращения Цветаевой в Союз, а за несколько дней до начала войны, в июне 1941 года. Ахматова об этом рассказала Л. Чуковской 6 декабря 1960 года. Встречу устроил Пастернак, который „навестил Марину после ее беды и спросил у нее, чего бы ей хотелось. Она ответила: увидеть Ахматову”¹⁴. Самый подробный отчет об этом свидании находится у А. С. Эфрон.

Из Голицыно Цветаева писала также письма Вере Меркурьевой и Ольге Мочаловой, двум писательницам, которых она знала раньше, во время революции¹⁵. Не входя в большие подробности о своей жизни, Марина спрашивает, как найти в Москве комнату. В этих письмах ясно сказывается радость и благодарность за то, что обе женщины ее узнали — большая смелость во времена сталинских преследований. Слоним говорит, что и Евгений Лозман — красивый „Ланн”, герой короткого романа в 1920 году — был одним из тех друзей, которые заботились о Марине, что и Алексей Крученых не боялся опасной бывшей эмигрантки. Антокольский замечает, что и он встречался с Цветаевой:

„Несколько раз я встретился с нею — седою, немногословной, а может быть, отчасти и настороженной. Разговор наш был деловой, профессиональный, скучный, скудный. Я слышал чтение ее „Поэмы лестницы” у одного из друзей”¹⁶.

Это звучит не очень сердечно. То же самое можно предположить и о реакции Пастернака на возвращение старой подруги, хотя, по словам Ольги Ивинской, он деятельно старался помочь ей. Он привел ее в Государственное Издательство, познакомил ее там с редакторами и, как говорит Ивинская, добился, чтобы она сразу же получила заказы на переводы. Но отношения их были не те, о которых когда-то мечтала Марина. У Пастернака была вторая семья (он лишь позже встретил свою „Лару”). Ивинская пишет:

„Не странно ли, что никогда за четырнадцать лет я не слышала от Б. Л. внятного рассказа о самой первой его встрече с Мариной после того, как она 18-го июня 39 года вернулась из эмиграции в Москву. Он явно избегал воспоминаний об этом. А когда я не без ехидства в шутку как-то сказала: „Тебе бы жениться тогда на Марине” — яростно запротестовал:

— Лялюша, мы никогда не ужились бы рядом, в Марине был концентрат женских истерик! Мне это было противопоказано”¹⁷.

Последующие месяцы 1940 года Марина с Муром провели в Москве, кочуя, переезжая с одной квартиры на другую, нигде не находя постоянного места. На несколько недель они получили комнату в Доме Литераторов, на улице Герцена. Потом поселились у Лили Эфрон. Мысль о надежной крыше над головой превратилась в манию.

„Я, кажется, больше всего в жизни любила уют. Он безвозвратно ушел из моей жизни”, — пишет Марина в свою тетрадь 26 октября 1940 года.

И в том же письме она пишет еще несколько строк и прибавляет:

„Это старые стихи. Впрочем, все старые. Новых — нет”¹⁸.

Действительно ли это так? В „Литературной газете” от 13 октября 1982 года, в статье о Цветаевой, написанной Анной Саакянц, мы находим под заглавием „Моя песня и я. Из тетради переводов 1940/41” стих, который начинается так:

Еще и молод! Молод! Но меня
Моей щеки румяной, крови алой —
Моложе — песня красная моя!
И эта песня от меня сбежала

На жизни зов, на времени призыв.
Но как я мог — от мысли холодею! —
Без песни — мог? Ведь только ею жив!
И как я мог не побежать за нею!..¹⁹



Приблизительно 1940 год

С осени 1940 года подавленность Цветаевой растет. 5 сентября в дневнике написано:

„Меня все считают мужественной. Я не знаю человека робче, чем я. Боюсь всего. Глаз, черноты, шага, а больше всего — себя, своей головы, если эта голова — так преданно мне служащая в тетради и так убивающая меня в жизни. Никто не видит, не знает, что я год уже (приблизительно) ищу глазами — крюк, но их нет, потому что везде электричество. Никаких „люстр”. Н. П. принес переводные народные песенки. Самое любимое, что есть. О как все это я любила! Я год примеряю смерть. Все уродливо и страшно. Проглотить — мерзость, прыгнуть — враждебность, исконная отвратительность воды. Я не хочу пугать (посмертно), мне кажется, что я себя уже — посмертно — боюсь. Я не хочу умереть. Я хочу не быть. Вздор. Пока я нужна — ... но, Господи, как я мала, как я ничего не могу! Доживать — дожевывать. Горькую полынь. ...”²⁰

17 ноября Марина пишет письмо Кваниной:

„Дорогая Таня, нынче, проснувшись, я мысленно сказала Вам: Если бы Вы были рядом — если мы бы жили рядом — я была бы наполовину счастливее. Правда. ... Моя надоба от человека, Таня — любовь. Моя любовь и, если уж будет такое чудо, его любовь. ... Моя надоба от другого, Таня — это надоба во мне, моя нужность (и, если можно, необходимость) — ему, поймите меня, т. е. без меры... Радость от присутствия, Таня, страшная редкость. Мне почти со всеми — сосуще-скучно, и, если „весело” — то рагсе que j’у mets des frais, чтобы самой не сдохнуть. Но какое одиночество, когда после такой совместности, вдруг оказываешься на улице, с звуком собственного голоса (и смеха) в ушах, не унося ни одного слова... Ведь что со мной делают? Зовут читать стихи. Не понимая, что каждая моя строка — любовь, что если бы я всю жизнь вот так стояла и читала стихи — никаких стихов бы не было...”²¹

Кванина ее не понимает. С удивлением она рассказывает мужу об одной открытке Цветаевой и добавляет: „И не

понимаю я до конца, зачем я ей нужна!" Понимает она это только потом:

„Для меня теперь (к величайшему сожалению только теперь) ясно, что у Марины Ивановны была страстная потребность чувствовать около себя людей, относящихся к ней добро, ценящих ее, а может быть, просто проявляющих к ней человеческое участие... А вот одиночество для нее было непереносимо тягостным..."²²

И еще одно письмо Марины, зимой 1940—41 года, Евгению Сомову:

„Женя родной, спасибо. Ваше письмо — первое, которое я получила за 4 месяца, и это письмо — первое, которое я пишу за 4 месяца, и может быть это Вас все-таки — немножко — порадует, *доказывая* Вам — сторонне, помимо Вас — исключительность Вашей привязанности, просто ставя Вас (в несуществующем ряду!) на первое место — одинокое место — единственное.

Я сейчас *убита*, меня сейчас *нет*, не знаю, буду ли я когда-нибудь — но, помимо чувства, всей справедливостью моей, не терпящей, чтобы такое осталось без ответа, всем взглядом из будущего, взглядом всего будущего, устами *будущих* отвечаю

Спасибо Вам!

М."²³

11 апреля 1941 года приходит письмо от Али — знак того, что она жива. На следующий день мать отвечает:

„Дорогая Аля! Наконец твое первое письмо — от 4-го в голубом конверте. Глядела на него с 9 ч. утра до 3 ч. дня — Муриноного прихода из школы. Оно лежало на его обеденной тарелке, и он уже в дверях его увидел, и с удовлетворенным и даже самодовольным: — А-а! — на него кинулся. Читать мне не дал, прочел вслух и свое и мое. Но я еще до прочтения — от нетерпения — послала тебе открыточку. Это было вчера, 11-го. А 10-го носила папе, приняли. Аля, я действительно занялась твоим продовольствием, сахар и какао уже есть, теперь ударю по бэкону и сыру..."²⁴

Значит, 10 апреля 1941 года передачи для Сергея Эфрона

еще „принимали”. Может быть, это была одна из последних, косвенный вестей, что он еще жив? Следы его теряются, как и многих бесчисленных страдальцев, находившихся в 1941 году в тюрьмах Москвы. Известно, что все эти заключенные были расстреляны, когда немецкие войска начали приближаться к Москве. В советских изданиях дата смерти С. Я. Эфрона — 1941 год.

В 1969 году в журнале „Новый мир” было напечатано „Письмо дочери”, в котором Марина говорит о своей переводческой деятельности:

„... Никакие тетради, никакие гонорары, никакая *нужда* не заставит меня сдать рукопись до последней точки, а срок этой точки — известен только Богу. Богу поэтов. „С Богом” или „Господи, дай!” — так начиналась каждая моя вещь, так начинается каждый мой даже самый жалкий перевод. Это не молитва, хотя бы потому, что — *требование*. Я никогда не просила „свыше” рифмы (*это — мое дело!*) — я просила (*требовала!*) — силы найти ее, силы на это мучение. И это мне давалось; подавалось”²⁵.

Один только Мур остается у Марины, хотя и он внутренне уже давно идет собственным путем. Так же, как когда-то ее собственная мать, Марина не понимает, что ее сын почти взрослый, что у этого избалованного, дерзкого мальчика есть свои собственные проблемы, что для него найти себе место в реальной жизни, которая так резко расходится с его мечтаниями о родине, нелегкое дело. В 1975 году в журнале „Родина” появилась статья под заголовком „Строки о сыне”, посвященная Г. С. Эфрону. В этой статье приводятся карикатуры Мура, нарисованные в 1939 году и показывающие его большой талант, и выдержки из его писем к сестре. Из этих писем видно, что для него было главным событием в России открытие Чайковского и Достоевского. В будущем он собирается совсем отдаться музыке и написать новую книгу о Достоевском:

„Необыкновенный писатель! О нем надо будет сказать когда-нибудь совсем иное, чем говорилось и говорится!”²⁶

В начале лета 1941 года Цветаева получила комнату на

пятом этаже нового дома, который, по-видимому, не был даже достроен. Короткая записка от 10 июня А. Кочеткову написана из этого дома:

„Очень нужно повидаться. Очень растерянная и несчастная”.

В среду, 18 июня, они с Алексеем Крученых и молодой писательницей Лидией Либединской (урожденной Толстой) поехали в Кусково. Либединская рассказывает об этом долгом дне, „наполненном прогулками, спорами, разговорами и стихами” в саду и залах шереметьевского дворца. Нам известна сделанная в этот день и напечатанная в „Неизданных письмах” фотография, на которой сняты Цветаева, Мур, Крученых и Либединская. На фотографии — посвящение:

„Дорогому Алексею Елисеевичу Крученых с благодарностью за первую красоту здесь. Кусково, озеро и остров, фарфор. В день двухлетия моего въезда”.

На обратном пути в Москву разговор зашел о языках. Марина узнала, что Лидия Либединская не говорит по-французски и предложила давать ей уроки. При прощании она еще сказала:

„Так в понедельник позвоните, и мы сговоримся, когда начнем наши уроки...”

Но до этого понедельника было еще воскресенье: 22 июня 1941 года, „роковой день, когда началась война...”²⁷

ГЛАВА 29

О нападении немецких войск на Советский Союз в июне 1941 года и о первых боях на территории России было очень много написано. Известно, что немцы шли вперед, не встречая почти никакого сопротивления.

Все очевидцы подтверждают, что Марина Цветаева очень боялась немцев, больше из-за Мура, чем из-за себя. Ольга Ивинская рассказывает:

„Мур был рослым мальчишкой, и его включили в команду, сбрасывающую во время воздушных налетов с крыши зажигательные бомбы. Марина снимала в это время крошечную комнатку на верхнем этаже высокого дома на Покровском бульваре № 14. В это же время тушил „зажигалки” на крыше писательского дома в Лаврушинском переулке и Борис Леонидович. Марина поехала к нему советоваться — что делать, чтобы уберечь Мура. У нее был готовый проект: уехать в эвакуацию, в Татарию, куда отправлялся Союз Писателей. Б. Л., будто предчувствуя беду, настойчиво отговаривал, но другого решения не предложил. А она, очевидно,

именно этого ожидала. В Гослитиздате она рассказывала З. П. Кульмановой о своей поездке к Пастернаку и с горечью добавила: „Борис мог бы пригласить меня хоть на время пожить на его Переделкинской даче”. Годы спустя Б. Л. говорил мне, что его инертность и семейная обстановка большой дачи не позволили ему то единственное, чего он хотел: пригласить Марину...”¹

В этом безвыходном положении Марина поборолa свою гордость и обратилась к одному влиятельному человеку, который до сих пор не замечал ее возвращения домой. Илья Эренбург описывает это свидание после долголетней разлуки:

„Она пришла ко мне в августе 1941 года; мы встретились после многих лет, и встреча не вышла — по моей вине. Это было утром, „тарелка” уже успела рассказать: „Наши части оставили...” Мои мысли были далеко. Марина сразу это почувствовала и придала разговору деловую видимость: пришла советоваться о работе — о переводах. Когда она уходила, я сказал: „Марина, нам нужно повидаться, поговорить...” Нет, больше мы не встретились: Цветаева покончила с собой в Елабуге, куда ее занесла эвакуация”².

О последних днях Цветаевой в Москве циркулируют разные слухи. Например, Слоним услышал от Паустовского осенью 1965 года в Риме:

„Пастернак пришел к ней помочь укладываться. Он принес веревку, чтобы перевязать ... чемодан, выхваливал ее крепость и пошутил, что она все выдержит, хоть вешайся на ней. Ему впоследствии передавали, что Цветаева повесилась на этой веревке, и он долго не мог простить себе того, что он назвал 'роковой шуткой' ”³.

Лидия Либединская видела в последний раз Марину и Мура при отъезде из Москвы. Это было месяц спустя после их поездки в Кусково. Цветаева очень изменилась за это время; в глазах ее отражался страх, она все время хваталась за руку сына, хотя он не отходил от нее ни на шаг. Раньше предполагалось, что и Либединская уедет с этим транспортом, но по какой-то причине из этого ничего не вышло.

При прощании Марина обняла, поцеловала ее и пожалела, что она остается в городе.

Либединская пишет:

„Теперь бессмысленно и поздно искать виноватых. Виноваты все. И я тоже виновата. Пусть не сочтут это за самонадеянность, но иногда мне кажется, что если бы я поехала в Елабугу, может быть, Марина Ивановна осталась жить. Конечно, я не могла что-либо изменить в ее трагической судьбе. Но я верю в добрую силу любви. А я очень любила Марину Ивановну”⁴.

О путешествии на пароходе письменных свидетельств пока нет. Мы только знаем, что в том же транспорте находилась детская писательница Н. Саксонская с 13-летним сыном.

Существовала категория людей, которые могли рассчитывать при эвакуации из Москвы поселиться в лучшей обстановке и в более легких условиях жизни и питания. К этой категории принадлежали члены Союза Писателей. Для них и их семей был отведен город Чистополь на Каме, в Татарской автономной советской республике. Среди них были писатели Асеев, Тренев и Лидия Чуковская; жена Пастернака с детьми тоже получила разрешение поселиться в Чистополе. Марина Цветаева не была членом Союза писателей; она должна была поехать дальше в город Елабугу на противоположном берегу Камы. Город был безнадежно переполнен беженцами из России, и условия жизни там были ужасные. Пароход причалил к Елабуге 21 августа 1941 года.

В течение последних десятилетий в России и на Западе старались узнать, что произошло в Елабуге во время этих последних десяти дней жизни Марины Цветаевой. И сегодня не все еще ясно. До самого последнего времени никакие очевидцы не дали о себе знать; Асеев и Тренев предпочли молчать. В конце шестидесятых годов в России образовалась неофициальная „Комиссия увековечения памяти М. Цветаевой”. Доклад „комиссии” напечатан в парижском издании неизданных писем Цветаевой⁵. В нем сказано следующее.

Когда Цветаева с сыном высадились в Елабуге, город был переполнен. Они нашли убежище в одной пятистенной избе на улице Ворошилова № 10 (сегодня улица Жданова № 20). Дом принадлежал М. И. и А. И. Бредельщиковым — простым, симпатичным людям; с ними жил их шестилетний внук. Комната, которую заняла Марина и Мур, не отгораживалась до потолка; все было слышно. А. И. Бредельщикова рассказывала, что из комнаты раздавались иногда бурные разговоры не на русском языке, но она поняла, что сын упрекал мать за то, что она его туда привезла; мать же молчала и много курила. Георгий был красивый и рослый мальчик.

У них были вещи и продукты: столовое серебро, немного крупы, 400 грамм сахара. Приехав в Елабугу, Цветаева стала искать работу, но ничего не нашла. Она старалась продать привезенное серебро, но никто не хотел покупать ложки. Через несколько дней после ее приезда она уехала в Чистополь к Асееву, „оттуда она вернулась подавленная, с очень тяжелым настроением”.

31 августа, в воскресенье, был „воскресник”: жители города должны были подготовить площадку для нового аэродрома. Вместо хозяина дома, который предпочел пойти с внуком ловить рыбу, на работу пошла А. И. Бредельщикова и с ней Мур, заменяя свою мать. Марина сказала, что хотела бы остаться дома и чтобы о ней не беспокоились. Первой вернулась домой Бредельщикова. В передней она наткнулась на стул и, подняв глаза, увидела свою квартирантку, висевшую в петле. Она стала звать врача и милицию. Они пришли через два часа. В присутствии Мура милиция сделала подробный обыск оставшихся вещей, чтобы установить, не было ли что-нибудь украдено. При этом нашли два письма, одно — на имя Асеева. Тело умершей было перевезено в больницу и оттуда похоронено. В тот же вечер Мур покинул дом и ночевал у Саксонской.

Милица Николич, издательница избранных произведений Цветаевой на сербском языке (1972), цитирует в своем предисловии короткое заявление четы Бредельщиковых,

которое было прочитано на Ленинградском вечере поэзии Цветаевой:

„В августе 1941 года приехала к нам эвакуированная М. Цветаева. Она жила у меня. Она привезла два кило муки, крупы, одно кило сахару и несколько серебряных ложек. Она спросила меня, не знаю ли я кого-нибудь, который хотел бы купить серебро. Я никого не знала. Мы часто слышали, как мать и сын разговаривали на иностранном языке. Между прочим, сын часто упрекал ее, что она привезла его сюда, что он голодный и что ему нечего надеть. Мы не знали, что у нее есть еще дочь. Она никогда о ней не говорила. И никогда не говорила о муже. Однажды она сказала, что хочет навестить писателя Асеева, который был также эвакуирован недалеко от Елабуги. Она вернулась в очень подавленном настроении. На следующий день она сказала, что никак не может идти с нами на работу (мы должны были помогать на строительстве нового аэродрома); тогда я пошла одна с ее сыном. Вечером я первая вернулась домой. Я нашла ее висящей у стены. Я сейчас же уведомила милицию. Они приехали и увезли тело.

Мы не знали, что она писательница. Она этого нам не сказала. Если бы мы это знали, мы пошли бы на ее похороны. Ее сын также не присутствовал на похоронах матери. Так никто и не знает, где ее могила. После войны приезжали люди и искали могилу, но не нашли ее.

После себя она оставила только одно письмо, Асееву. Она просила его заботиться о ее сыне. Но он сейчас же вызвался на фронт. Ему еще не было шестнадцати лет. Позже я узнала, что он убит”⁶.

В 1966 году некая В. В. (мы теперь знаем, что это была Виктория Швейцер) поехала в Елабугу и разыскала Цветаевские места. Ее рассказ об этой поездке помещен в цитируемом парижском издании⁷. Могилу она не нашла, но Бредельщиковых она застала еще в живых. Старая женщина ей несколько раз повторила: „Вещей у них было много... могла бы она еще продержаться... Успела бы, когда бы все съели...”

Это все, что было известно о жизни и смерти Марины Цветаевой в Елабуге. Казалось, что больше мы не узнаем, так как живых свидетелей уже нет. Но вдруг, ровно через 40 лет после всех событий, заговорила одна свидетельница, которой можно верить: это Лидия Чуковская. Оказывается, что она, находясь в эвакуации в Чистополе с двумя детьми, встретила Цветаеву, когда та приехала к Асееву, и много времени провела с ней. После того, как в Чистополе стало известно о смерти Цветаевой, Лидия Корнеевна записала (4 сентября 1941 года) все, что они вместе пережили, и эту тетрадь она не открывала в течение 40 лет. В октябре-декабре 1981 года она изложила свои воспоминания в большом письме и послала его участникам Симпозиума, посвященного творчеству Марины Цветаевой и организованного в Лозанне в 1982 году. Вот суть ее письма:

В среде эвакуированных писателей было известно, что Асеев и Тренев, представители Литфонда, отказали Цветаевой в прописке. По требованию Чуковской, за Цветаеву перед Асеевым ходатайствовал писатель Лев Моисеевич Квитко (впоследствии репрессирован и расстрелян в 1952 г.), 26 августа Лидия Корнеевна встретила в Чистополе на улице Цветаеву, с которой она не была знакома. Марина Ивановна сказала:

— Как я рада, что вы здесь, ... вот перееду в Чистополь и будем дружить”.

На следующее утро к Чуковской прибежала девушка, спросившая, не является ли она членом Совета литфонда?

— В помещении парткабинета заседает Совет литфонда. Туда вызвали Цветаеву и там решают, пропишут ли ее в Чистополе. Она в отчаянии. Бегите скорей!

Чуковская нашла Цветаеву в коридоре перед парткабинетом, та ей сказала: „Не уходите, побудьте со мной!”, и они вместе ждали рокового решения. Лидия Корнеевна присутствовала, когда вышла одна писательница и сказала Цветаевой:

— Ваше дело решено благоприятно. Это было не совсем легко, потому что Тренев категорически против; Асеев не

пришел, но прислал письмо *за*. В конце концов совет постановил вынести решение простым большинством голосов, а большинство — *за*”.

После этого они вместе вышли искать комнату. На улице Цветаева спросила:

— Скажите, пожалуйста, почему вы думаете, что жить еще стоит? Разве вы не понимаете, что все кончено?

И на вопрос, что кончено:

— Ну, например, Россия!

Лидия Корнеевна ей что-то рассказала, говорили о Чистополе, и она неосторожно заметила:

— Одному я рада, Ахматова не в Чистополе. Здесь она непременно погибла бы... Она ведь ничего не умеет, ровно ничего не умеет...

На то Марина Ивановна вскрикнула бешеным голосом:

— А вы думаете, я — могу? Ахматова не может, а я, по-вашему, могу?

Они зашли к друзьям Лидии Корнеевны, Шнейдерам, которые были очень рады Цветаевой, они ее накормили, пригласили отдохнуть, предложили ей во всем помочь. Марина Ивановна начала им читать „Тоску по родине...”, но остановилась в середине стихотворения, извинилась и обещала вечером вернуться, прочесть „Поэму воздуха” и другие стихотворения. В условленный час Лидия Корнеевна пришла к Шнейдерам, но Цветаевой там не оказалось. Она так и не пришла.

На следующий день, 28 августа, Чуковская услышала, что Цветаева вернулась в Елабугу за сыном, чтобы, как она сказала, вместе искать комнату. А через несколько дней на почте ей сказали, что „приехал сын М. И., явился к Асееву и сказал: „Мама повесилась”.

В конце своего волнующего рассказа Лидия Корнеевна говорит, что в ее руках находится письмо Цветаевой к Асееву: „Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда”.

Георгий Эфрон 4 сентября выписался в милиции Елабуги и уехал на пароходе. Он пробыл два года в Ташкенте, где

очень бедствовал, но все-таки закончил десятилетку. Он часто бывал у друзей своей матери в семье Алексея Толстого. В Ташкенте Муру удалось не только войти в контакт с сестрой, но и найти свою тетю, Анастасию Ивановну Цветаеву, которая находилась в ссылке где-то в необъятных даях огромного государства. Он переписывался с ней, послал ей свою фотографию и рассказал о смерти матери. У Анастасии Ивановны, узнавшей о смерти Марины только в 1943 году, так и не увидевшей в живых ни свою сестру, ни своего племянника, есть своя версия о смерти великого поэта, которая в большой степени кажется правдоподобной. Анастасия Ивановна после своего возвращения встретилась с А. А. Соколовским, сыном Н. Саксонской, у которых Мур провел первую ночь после самоубийства матери, и от него узнала, что тот ему рассказал:

„Мур передал ему свои слова к Марине, сказанные в пылу раздражения в Елабуге: „Ну уж, *кого-нибудь* из нас *вынесут* отсюда вперед ногами!”... Я — с 1943 г., когда узнала о ее смерти, в первый раз увидела ее в те дни, в час его неосторожной, недоброй мальчишеской фразы, восставшую к единственному теперь нужному делу — спасти *его* от „вперед ногами”, в последний раз собою заслонить сына, которого обожала, существо, которому дала жизнь. Раз уже до этого дошло, как не ей — уйти? ... Повторяю: беспощадно-грубые слова шестнадцатилетнего Мура прозвучали в материнстве Марины — приказом смерти — себе... Уходила, чтоб не ушел — *он*”⁹.

После окончания школы Мур вернулся в Москву и в день своего девятнадцатилетия, 1 февраля 1944 года, был призван в Красную Армию¹⁰. Его полк сражался в это время на левом берегу Западной Двины, и Мур участвовал в наступлении. Его письмо Ариадне Эфрон помечено 17 июня 1944 года.

„Завтра пойду в бой... Абсолютно уверен в том, что моя звезда меня вынесет невредимым из этой войны, и успех придет обязательно...”

7 июля его полк — стрелковый полк № 437 — был втянут

в бой недалеко от деревушки Друйка в Латвии, они отвоевывали занятую высоту; раненых доставили в медсанбат № 183 в 4–5 километрах от Друйки. В протоколе медсанбата того же дня появилась следующая запись:

„Красноармеец Георгий Эфрон убит в медсанбат по ранению 7.7.44”. Дальнейших сведений не поступило.

Позже в окрестностях деревни Друйки нашли могилу неизвестного солдата, убитого летом 1944 года. Можно предположить, что это могила Георгия Сергеевича Эфрона — того „сына”, который с такой радостью вернулся на родину своей матери и в 19 лет пожертвовал ради нее своей жизнью.

Единственным членом семьи, пережившим тогда катастрофу, была Ариадна Сергеевна, но означает ли это, что ее судьба была легче? Многие годы она провела в лагерях и в ссылке, потом скиталась по глухим углам в провинции. Вначале ее поддерживал Пастернак, посылал ей посылки. В 1955 году она впервые приехала в Москву и приютилась у своих теток Лили и Зины Эфрон. Она нашла у них сундук с рукописями и бумагами матери, которые Мур привез из Елабуги и оставил у них. Одна из теток спала на этом сундуке; чтобы засунуть туда хотя бы руку, нужно было каждый раз „разорять многослойное Зинино гнездо, перекладывать ее постель на постель больной Лили, ставить дыбом доски, на которых лежал матрац...”¹¹ Таким образом архив Цветаевой был спасен, и Ариадна Сергеевна с тех пор видела цель своей жизни в том, чтобы добиться официального признания Цветаевой. Ее мемуары вышли в журнале „Звезда”. О своих разговорах с Ариадной Сергеевной интересно рассказывает Вероника Лосская в *Wiener slavistischer Almanach*¹².

Конец своей жизни Ариадна Эфрон провела в Тарусе. Там она внезапно скончалась прямо на улице, от инфаркта, 25 июля 1975 г. Она похоронена на Тарусском кладбище, на высоком берегу реки Оки, недалеко от того места, где когда-то хотела быть похороненной ее мать¹³. Архив Цветаевой попал в ЦГАЛИ, и по распоряжению Ариадны Сер-

геевны на нем лежит запрет до 2000 года. Несмотря на это, сведения из этого архива появляются в печати уже теперь.

Вторая свидетельница юных лет Марины Цветаевой, ее сестра Анастасия, пережила ее более чем на 40 лет. После ареста в 1937 году она провела 5 месяцев в тюрьме и долгие годы в ссылке. Только в 1959 году она была реабилитирована. Летом 1960 года она поехала в Елабугу, чтобы разыскать могилу сестры, и когда она не смогла ее найти — слишком много жертв войны были похоронены на Елабужском кладбище в 1941 году — она поставила крест, на котором было написано: „В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева, 26 сентября (ст. ст.) 1892 — 31 августа 1941 г.” Позже там был поставлен надгробный камень.

Анастасия Ивановна живет и по сей день (1983 г.) в Москве, она член Союза писателей и активна, как в молодости. Ее мемуары, опубликованные в 1971 году и переведенные на другие языки, ставшие в России бестселлером, подробно описывают Цветаевский дом и быт ее молодости, ее детство и юность, отношения между сестрами, между дочерьми и матерью. Если сравнить воспоминания Марины и Анастасии, то можно иногда заметить разницу в оценках некоторых событий: разница между поэтом и хроникером бросается в глаза. Но заслугу Анастасии Ивановны в возрождении облика ее сестры нельзя переоценить.

*

Когда восемнадцатилетняя Марина Цветаева впервые встретила на берегу моря в Коктебеле своего будущего мужа, она поклялась никогда с ним не расставаться — куда бы их ни завела жизнь. Она тогда не могла знать, сколько отваги понадобится для исполнения этого обещания. Она последовала за ним в огонь и в воду, она осталась ему верна до такой степени, что, казалось, даже судьба над ней сжалась: супругов, которых жизнь под конец разделила, соединила почти одновременная смерть.

ГЛАВА 30

Известие о смерти Марины Цветаевой молниеносно достигло колонии писателей в соседнем Чистополе. Лидия Чуковская рассказывает, что Анна Ахматова, которую удалось вывезти на самолете из окруженного немецкими войсками Ленинграда, прибыла в Чистополь во второй половине октября 1941 года, но она хотела как можно скорее опять уехать, потому что „над городом еще витала тень Марины Цветаевой, покончившей с собою полтора месяца назад, в соседнем городишке, в Елабуге...”¹

В холодной, голодной и запуганной близостью фронта Москве была осень, когда и туда дошла весть о смерти Цветаевой. Антокольский пишет:

„Шла война. Многие известия о гибели друзей и близких скрещивались друг с другом, как прожектора в ночном небе. Они сиротливо вытягивали длинные беспомощные ручищи — эти горестные вести об утратах, личных и общих, об утратах знаменитых и безымянных, оплаканных горько и совсем не оплаканных. А небо оставалось черным, беззвезд-

дным — полное новых угроз, которые большей частью сбывались. И гибель Марины затерялась в этом грозовом зимнем мраке...”².

Сохранилось и письмо Пастернака „10 сентября утром”, которое он написал жене в Чистополь:

„Вчера ночью Федин сказал мне, будто с собой покончила Марина. Я не хочу верить этому. Она где-то поблизости от вас, в Чистополе или Елабуге. Узнай пожалуйста и напиши мне (телеграммы идут дольше писем). Если это правда, то какой это ужас! Позаботься тогда о ее мальчике, узнай, где он и что с ним. Какая вина на мне, если это так! Вот и говори после этого о „посторонних заботах”! Это никогда не простится мне. Последний год я перестал интересоваться ею. Она была на очень высоком счету в инт. обществе и среди понимающих, входила в моду, в ней принимали участие мои лучшие друзья Гаррик, Асмусы, Коля Вильям, наконец Асеев. Так как стало очень лестно числиться ее лучшим другом, и по многим другим причинам, я отошел от нее и не навязывался ей, а в последний год как бы и совсем забыл. И вот тебе! Как это страшно. Я всегда в глубине души знал, что живу тобой и детьми, а заботу обо всех людях на свете, долг каждого, кто не животное, должен символизировать в лице Жени, Нины и Марины. Ах зачем я от этого отступил!”³

Удивительно, что и на Западе, несмотря на то, что он находился по другую сторону фронта, где у каждого были свои заботы, скоро узнали о смерти Марины. Нина Берберова пережила немецкую оккупацию Франции в деревне, недалеко от Парижа. В феврале 1942 года она записала в дневник:

„Слух прошел, что Цветаева повесилась в Москве 11-го августа. „Наше слово” (или „Новое слово”) дало об этом пошлую безграмотную заметку. Перечитывая недавно ее прозу, я прочла, как она пишет, что однажды ее кто-то со спины принял за Есенина. И вот вижу их перед собой: висят и качаются, оба светлоголовые, в петлях. Слева он, справа она, на одинаковых крюках и веревках, и оба с льняными

волосами, остриженными в скобку. Говорят, что Эфрон расстрелян. Сын — партийный и, вероятно, на войне. Как тут не повеситься, если любимая Германия бьет бомбами по любимой Москве, старые друзья боятся встречаться, в журналах травят и жрать нечего?”⁴

После войны появился в Париже один единственный номер „Русского сборника”, который теперь нельзя нигде найти. В нем был напечатан единственный некролог Марине Цветаевой, написанный Александром Бахрахом:

„... Преждевременно пресеклась ее жизнь и ушел от нас замечательный человек и большой русский поэт, навеки оставляя в памяти людей, его знавших, облик, нестираемый смертью. Перед глазами все продолжает мерещиться горбоносый профиль, высокий лоб, овеванный клубами папиросного дыма, и рука, опутанная серебряными браслетами, близоруко копающаяся в „хаосе” мелко исписанной характерным бисерным почерком бумаги...”⁵

После этого над Цветаевой пал занавес молчания — и на Востоке, и на Западе. На русском Западе тон задавали поэты и писатели другого направления; к тому же центр их литературной деятельности был уничтожен; кто выжил, бежал в Америку и должен был начинать сначала.

В Советском Союзе 14 августа 1946 года Андрей Жданов держал речь, в которой он нападал на Анну Ахматову и Зощенко. С этого дня началась темная эпоха „ждановщины”, охоты на „безродных космополитов”⁶. Совершенно ясно, что в этих условиях в России нельзя было даже упоминать имя Марины Цветаевой, хотя его и можно было с успехом использовать в изданиях, предназначенных для заграницы, особенно некоторые отрывки из „Стихов к Чехии”, как антифашистскую пропаганду.

Первый сборник произведений Цветаевой появился на Западе в 1953 году — в год смерти Сталина. Это был сборник „Проза”, изданный многолетним другом Марины из Праги, Екатериной Еленевой, с предисловием Ф. А. Степуна. Несмотря на несовершенство и даже ошибки этого издания, этот сборник положил начало воскрешению Цветаевой на

Западе. В своем предисловии Степун рисует первый значительный литературный портрет писательницы, старается объективно оценить ее творчество и его значение:

„Отличительной чертой ее поэзии является сочетание вихревой вдохновенности и сознательной, почти расчетливой ремесленности... В ее стихах одинаково сильно чувствуется и вера в изначальное Слово, что сотворила мир, и бесконечная любовь к поэтическому словарю, к древним и новым словам, к ритмам и метрам, к перекличке гласных и согласных”⁶.

Для подробного рассказа о тех потрясающих изменениях в русской культурной жизни, которые произошли в связи со Второй мировой войной, тут, к сожалению, нет места. Центры русской духовной культуры на Балканах, в Прибалтике, в Праге и на Дальнем Востоке полностью исчезли; в Праге русские библиотеки и архивы были захвачены специальными органами Красной армии и вывезены в СССР. Со многими людьми случилось то же самое. Но другим русским беженцам 20-х годов из этой части Европы удалось бежать дальше; многие из них попали в лагеря для перемещенных лиц в Австрии и Германии. Уже в 1946 году в одном из таких лагерей в Германии Е. Романовым и В. Завалишиным был основан журнал „Грани”, существующий до сегодняшнего дня. Редакция журнала находится сегодня во Франкфурте.

После всех военных и послевоенных потрясений, роль Германии для русской эмиграции очень изменилась. Из старых культурных деятелей остался Ф. А. Степун; он был профессором в Гейдельбергском университете и потом жил в Мюнхене. Мюнхен — главный русский центр в Западной Германии, хотя его нельзя сравнить с Берлином 20-х годов. Там в 1950—60 годах был издан альманах „Мосты”.

Тяжелым ударом для русской колонии в Париже, от которого она не оправилась, была немецкая оккупация во время войны. После войны почти все активные деятели или уехали, или умерли. Но продолжали выходить регулярно или с перерывами, журналы „Вестник РСХД”, „Возрождение” и единственная русская газета в западной части Евро-

пы, „Русская Мысль” (долгие годы под редакцией Зинаиды Шаховской). Но „русский Монпарнас” уже не существовал. Если сегодня Париж снова занимает важное место в русской культурной жизни за рубежом, то это в большой части заслуга „третьей волны” русской эмиграции.

Кто мог, спасся в Соединенные Штаты. Это было, как говорит Николай Андреев, „открытие Америки”, точнее — Нью-Йорк, как нового литературного центра”⁷. Впоследствии возникли и другие центры русской культуры, особенно в Калифорнии. В отличие от 30-х годов во Франции, русским литераторам и литературоведам была доступна не только черная работа, но и влиятельные места при разных университетах: Ю. П. Иваск преподавал в Массачусетском университете, М. Л. Слоним в Нью-Йорке, Г. П. Струве в Калифорнийском университете в Баркли, В. В. Набоков в Корнеллском университете. Центром русской печати стал Нью-Йорк. Здесь уже в 1942 г. М. О. Цетлин и М. А. Алданов основали „Новый журнал”, продолжающий традиции „Современных записок”. С 1959 года, то есть уже почти 25 лет, его главный редактор — Р. Б. Гуль⁸. В Нью-Йорке выходит русская ежедневная газета „Новое русское слово”, здесь издавался в 50-х годах альманах „Опыты” под редакцией Р. Н. Гринберга и Ю. П. Иваска, здесь плодотворно действовало „Издательство им. Чехова”. Во всех этих органах печати знакомые и друзья Марины Цветаевой начали публиковать воспоминания и письма, полученные от нее, причем часто с сокращениями: письма Цветаевой к Иваску в „Русском литературном архиве” (1956), к Гулю в „Новом журнале” (1959), к Штейгеру в „Опытах”, к Бахраху в „Мостах” (1960), к Федотову в „Новом журнале” (1981). Первые воспоминания о Цветаевой появились в „Опытах” в 1964 году, это был очерк „Тень на стенах” Е. А. Извольской, затем другие, как, например, „Кем была М. Ц.?” Николая Еленева в „Гранях” (1958). Самые значительные — воспоминания М. Л. Слонима в „Новом журнале” („О М. Ц.”, 1970—1971).

Мало-помалу стали выходить те сочинения, которые

Цветаева сама не могла поместить в журналах и оставила на Западе, когда уезжала. В 1957 году Глеб Струве издал в Мюнхене „Лебединый стан“, за которым в 1971 году последовало второе, исправленное издание, дополненное поэмой „Перекоп“. Введение написал Юрий Иваск. Он говорит там с некоторой сдержанностью:

„Поэзия Цветаевой — поэзия хвалы и хулы. Хвалила она многое, многих, и открыто, не таясь, громко. Громкая хвала и хула — риторика, а риторика будто бы „не женское дело“, но Цветаева себя этому делу посвятила и с этим делом справилась... Риторика бывает холодной, бывает и пламенной. Цветаевская риторика пламенная...”⁹

В 1964 г. Марк Слоним опубликовал в „Oxford Slavonic Papers” „Историю одного посвящения”. В 1971 г. профессор Венского университета Г. Витрженс издал в Мюнхене толстый том цветаевских „Несобранных произведений”; в 1972 г. появился в Пражской ИМКА-Пресс ценнейший том „Неизданных писем” под редакцией Г. П. Струве и Н. А. Струве, в 1976 г. в том же издательстве, но без указания издателя, том „Неизданное”, в котором в первый раз напечатаны полный сборник „Юношеские стихи” (1913—16 гг.), пьеса „Каменный ангел” (1919 г.) и полный текст „Повести о Сонечке” (1917 г.). Только одна вещь до сего дня еще не появилась: поэма о гибели Царской семьи.

Но нужно отметить еще одну важную сторону активности русских профессоров в Америке: их плодотворную преподавательскую деятельность. Вот уже два поколения американских, французских, швейцарских славистов воспитаны ими в духе русской культуры. Один из студентов Г. П. Струве, С. А. Карлинский, родившийся после Первой мировой войны в Харбине, — ныне профессор Калифорнийского университета, написал большую диссертацию о жизни и творчестве Цветаевой. Она вышла в 1966 году на английском языке и в течение 15 лет так и осталась единственной биографией Цветаевой как на Западе, так и на Востоке. Этот ценнейший труд не только облегчил, но прямо способствовал появлению всех дальнейших работ о Цветаевой (по

крайней мере, на Западе), в том числе и данной книги. Подчеркнуть этот факт — является милым долгом благодарности¹⁰.

Нельзя сказать, что все воспоминания о Цветаевой, появившиеся в течение всех этих лет в печати, позитивны или доброжелательны. По-видимому, у некоторых современников слишком ярко остались в памяти резкие, неприятные черты характера великой поэтессы, или они уже не хотели отходить от старого предубеждения. Так, например, Бунин писал в своих мемуарах:

„... Сколько было еще ненормальных! Цветаева с ее непрекращавшимся всю жизнь ливнем диких слов и звуков в стихах, кончившая свою жизнь петлей после возвращения в Советскую Россию...”¹¹

Или мнение Ю. Терапиано:

„Со всеми несогласными, а таких, естественно, было много среди литераторов и поэтов, она немедленно вступала в спор и вела спор резко, надменно, на каждом шагу задевая и обижая противников... Несмотря на такой расцвет творчества, в течение всего заграничного периода жизни, М. Ц. была одним из самых неслышанных поэтов. Ее ценили — и даже превозносили — редкие знатоки поэзии и самые „квалифицированные читатели”, тогда как остальная аудитория и, к сожалению меценаты, от нее отворачивались!”¹²

Дольше всех придерживался своих враждебных взглядов Георгий Адамович. Он не упускал ни одной возможности полемизировать с нею:

„О том, что в ее ритмической судороге нет творческой новизны — то есть данных для развития — по-моему и спорить нельзя. Цветаева принадлежит к тем, с кем кончается эпоха, и только дух противоречия, которым она была одержима, дух всяческого „наперекор”, помешал ей в этом сознаться. Даже самой себе”¹³.

Но мало-помалу эти голоса замолкли. Все больше начало появляться работ, выражающих восхищение и понимание. В 1972 году, за несколько недель до смерти Адамовича, появились и его стихи, звучащие по-иному:

Поговорить бы хоть теперь, Марина!
При жизни не пришлось, теперь Вас нет.
Но слышится мне голос лебединый
Как вестник торжества и вестник бед.
При жизни не пришлось. Не я виною.
Литература — приглашение в ад,
Куда я радостно входил, не скрою,
Откуда никому — путей назад.¹⁴

В СССР началась осторожная реабилитация ненавистой „белогвардейки“, когда в 1956 году Илья Эренбург издал свой роман „Оттепель“. Этим началась новая эпоха в советской литературе. В том же году в альманахе „Литературная Москва — 2“ было напечатано семь стихотворений Цветаевой. Среди них: „Моим стихам, написанным так рано...“, „Попытка ревности“, „Что же мне делать слепцу и пасынку...“. Эренбург писал в предисловии:

„Сейчас еще не время рассказать об ее трудной жизни: она слишком близка к нам. Но мне хочется сказать, что Цветаева была человеком большой совести, жила чисто и благородно, почти всегда в нужде, пренебрегая внешними благами существования, вдохновенная и в буднях, страстная в привязанности и в нелюбви, необычайно чувствительная...“¹⁵

Успех периода „Оттепели“ (особенно в отношении Цветаевой) был настолько велик, что официальные учреждения вынуждены были быстро затрубить отбой и отступить. 16 мая 1957 года, на 3-ем пленуме Правления Союза Писателей СССР, Александр Дымшиц счел нужным заявить:

„... Но неправильно причислять некоторые произведения, принадлежащие прошлому, к каким-то значительным явлениям нашей жизни. Имена Хлебникова, Цветаевой, Мандельштама становятся известными, но иногда они популяризуются неверно, и молодежь под влиянием этого начинает увлекаться ими. Что же тогда делать с Ахматовой? Ведь по сравнению с Цветаевой, она неизмеримо выше. Цветаева — явление крошечное. Такая, с моей точки зрения, безот-

ветственная попытка пересмотра поэтических репутаций приносит вред некоторой части нашей молодежи...”

Еще яснее выражается на этом же пленуме Алексей Сурков:

„... И не отзвуками ли этого шума у соседей являются участвовавшие у нас в последнее время призывы отправлять молодых поэтов на выучку к Марине Цветаевой или Борису Пастернаку... подчеркнувшим своей биографией и своими стихами постороннее отношение к тому, что делает и делал за последние 40 лет наш народ. Мы издали собрание сочинений Бунина... Будет напечатана книга стихов М. Цветаевой... но вряд ли следует отождествлять нашу издательскую политику с ориентацией молодежи на учебу тех или иных из этих мастеров...”¹⁶

На этот раз Сурков сдержал данное слово — хотя и с большим опозданием. В 1961 году вышел „маленький” цветаевский сборник избранных произведений. В 1965 году — „большой”, в серии „Библиотека поэта”, с длинным введением Владимира Орлова и подробными примечаниями Ариадны Эфрон. В нем опубликованы стихи, длинные поэмы, драматические произведения 1913—1939 гг. Многие напечатаны впервые.

В начале шестидесятых годов, когда давление на русскую духовную жизнь несколько ослабло, в Советском Союзе начали появляться и мемуары; урезанные, процеженные цензурой, но все-таки мемуары. Как и раньше, первым был Илья Эренбург со своими воспоминаниями „Люди, годы, жизнь”. Он пишет:

„Я встречал в жизни поэтов, знаю, как тяжело расплачивается художник за свою страсть к искусству; но, кажется, нет в моих воспоминаниях более трагического образа, чем Марина. Все в ее биографии зыбко, иллюзорно: и политические идеи, и критические суждения, и личные драмы — все, кроме поэзии”¹⁷.

Теперь и Пастернак открыто высказался о Марине Цветаевой:

„Цветаева была женщиной с деятельной мужской душой,

решительной, воинствующей, неукротимой. В жизни и творчестве она стремительно, жадно и почти хищно рвалась к окончательности и определенности, в преследовании которых ушла далеко и опередила всех. Кроме небольшого известного, она написала большое количество неизвестных у нас вещей, огромные, бурные произведения, одни в стиле русских народных сказок, другие на мотивы общеизвестных исторических преданий и мифов. Их опубликование будет большим торжеством и открытием для родной поэзии и сразу в один прием обогатит ее этим запоздалым и единовременным даром: Я думаю, самый большой пересмотр и самое большое признание ожидают Цветаеву”¹⁸.

Павел Антокольский воспользовался тем, что ему было поручено прорецензировать в „Новом мире” книгу Цветаевой, для того, чтобы отдать должное подруге давних лет и ее творчеству:

„Судьба с высокой степени необычна. Характер поразителен. За тем и за другим стоят еще более широкие категории: в судьбе Марины Цветаевой отразилась наша история, первая половина века, а характер сам сказался в биографии, трагически оборвавшейся. В этой взаимосвязи естественно и неизбежно определяется значение ее творчества, его живая сущность”¹⁹.

Но произошло еще более важное событие: люди, которые десятилетиями оставались вне общества — были как будто уже погребены — начали возвращаться к обыденной, повседневной жизни. И эти люди — заговорили. В числе тех тысяч заключенных, которые во время эры Хрущева были освобождены, были и Анастасия Цветаева, и Ариадна Эфрон. Возрождение творчества Цветаевой состоялось главным образом благодаря им. Ариадна Сергеевна всю жизнь боролась за признание матери; с большими трудностями она опубликовала и прокомментировала ее сочинения — поэзию и письма. В 1961 году вышел первый маленький том стихов Цветаевой, в 1965 г. ее Избранные произведения в „Библиотеке поэта” с комментариями А. С. Эфрон. Ариадна Сергеевна опубликовала затем в „Новом мире” важную под-

борку писем, в 1971 г., там же, до тех пор неизвестную поэму Цветаевой „Егорушка“, которая так и осталась фрагментом. А. И. Цветаева в первый раз смогла рассказать о своем детстве с Мариной в 1966 году („Новый мир” 1966, № 1–2); ее воспоминания затем вышли отдельной книгой (1971, 1974 г.) и были переведены даже два раза на немецкий язык как в Западной, так и в Восточной Германии. С тех пор она продолжает писать и публиковать статьи об их общем детстве и юности, о матери, о довоенной России.

25 октября 1962 г. состоялся первый официальный вечер поэзии Марины Цветаевой в Московском Доме Искусств. Карлинский в своей книге пишет о том, что были приглашены 140 человек, но перед дверьми толпилась масса восторженных людей, которые надеялись, что, может быть, все-таки кто-нибудь вернет билет, с которым можно будет попасть в зал. Об этом вечере много говорили Анна Ахматова и Лидия Чуковская²⁰. Обе они там не были; Лидия Корнеевна в своем рассказе ссылается на стенограмму Р. Д. Орловой — эта стенограмма ходила в самиздате: сначала И. Г. Эренбург сообщил о своем первом знакомстве со стихами Цветаевой, потом говорили Б. А. Слуцкий и Е. Б. Тагер. Вечер закончился чтением стихов, читали участники „Студии Молодых при Лит. Музее”.

Анна Андреевна, по сообщению Л. Чуковской, не была довольна проведением этого вечера:

„... Маринин вечер устроили бездарно. Приехал Эренбург, привез Слуцкого и Тагера — Слуцкого еще слушали кое-как, а Тагер тянул, тянул, тянул, тянул, и зал постепенно начал жить собственной жизнью. Знаете, как это бывает? Каждый занимается собственным делом. Одни кашляют, другие играют в пинг-понг... И это — возвращение Марины в Москву, в *ее* Москву!..”²¹

Что официальная реабилитация Цветаевой в России не прошла гладко, что она окончательно еще не проведена до сегодняшнего дня — известный факт. Так, например, в одном издании Пушкинского Дома о поэтическом строе

русской лирики, вышедшем в 1973 году, речь идет о 24 поэтах от Ломоносова до Пастернака, Ахматовой и Твардовского, но имя Цветаевой даже не упоминается²². Первая публикация прозы в России вообще — приблизительно половина всего, что она написала — состоялась в 1980 году, почти через 40 лет после смерти писательницы²³. На Западе первое почти полное собрание прозы Цветаевой вышло в 1979 году, из 5-ти-томного издания стихотворений и поэм пока появились два тома²⁴ — это было сделано новыми эмигрантами-специалистами, приехавшими в Соединенные Штаты в 70-ые годы. В Москве до сегодняшнего дня нет ни мемориальной доски, ни какого-либо памятного места в честь великого русского поэта.

Но зато неофициально Марина Цветаева и ее творчество любимы русскими читателями. Для западного наблюдателя волнующе видеть, что молодые люди знают все ее сочинения, даже те, которые там никогда не выходили, как они часами могут читать наизусть ее стихи, как ее ценят молодые поэты. Вечера поэзии Цветаевой всегда переполнены в районных библиотеках, где декламируются стихи Цветаевой, и ее старые друзья — В. Б. Сосинский, Э. Л. Миндлин, А. В. Эйсер — делятся своими воспоминаниями. Энтузиазм и энергия организаторов этих вечеров заслуживают глубокого восхищения. Можно надеяться, что в скором будущем последует, наконец, полное официальное признание. Многочисленные статьи и исследования, которые появляются в последнее время в разных журналах страны, дают на это надежду.

„Хорошо, что я здесь”, — сказала Марина Цветаева Татьяна Кваниной однажды в 1940 году в Болшеве. Когда та переспросила: „Где?” — Цветаева ответила:

„В России!”²⁵

Сегодня, через сорок лет, размышляя о жизни и судьбе Марины Цветаевой, трудно сказать, была ли она права. Одно очевидно: сегодня любят, читают и изучают ее творчество не только ее соотечественники на ее родине, но, как показал первый симпозиум, посвященный творчеству Цветаевой и организованный в 1982 году в Лозанне, и плеяда молодых

литературоведов на Западе. Благодаря всяким сам- и там-издатам, на наших глазах происходит слияние двух русских литератур — „русский Монпарнас” об этом даже мечтать не мог — и соединяет их Цветаева, которую обе считают за свою. Плоды ее неустанного смиренного служения русскому слову, ее верность своему поэтическому призванию, понятому как приказ свыше, становятся все яснее. Воистину необычное, удивительное воскресение из мертвых!

ПРИМЕЧАНИЯ

Глава 1

1. А. Цветаева. Воспоминания. 1-е изд. Москва, 1971, с. 23.
2. „История одного посвящения”.
3. „Бабушке”. 1914. Избр. произв. № 9.
4. Письмо к Розанову, 8.4.1914.
5. Письмо к Иваску, 12.5.1935.
6. А. Ц. *op. cit.* сс. 25–26.
7. Письмо к Розанову, 8.4.1914.
8. „Мать и музыка”.
9. А. Ц. *op. cit.* с. 7.
10. А. Ц. Корни и плоды. *Звезда* 1979, № 4, с. 186.
11. М. Слоним. О Марине Цветаевой. *Новый журнал* № 100, с. 160.
12. А. Ц. Воспоминания, с. 64.
13. „История одного посвящения”.
14. Мать и музыка”.
15. Там же.
16. „Мой Пушкин”.
17. А. Ц. *op. cit.* сс. 65, 93, 76.
18. „Световой ливень”.
19. „Дом у Старого Пимена”.
20. См. „Můj životopis”. М. Světařevová: *Hodina duše*. Praha, 1971. Русский оригинал до сих пор неизвестен.
21. „Мой Пушкин”.
22. „Хлыстовки”.
23. „Осень в Тарусе”. 1909. Волшебный фонарь.

Глава 2

1. „Мой Пушкин”.
2. „История одного посвящения”.
3. А. Ц. Воспоминания. *Новый мир* 1966, № 1, с. 107. Этого места в книжном издании нет.
4. „Мой Пушкин”.
5. Там же.
6. „На скалах”. Вечерний альбом. — „Он был синеглазый и рыжий”, „Байард”. Волшебный фонарь.
7. „О Германии”.

8. Письмо к Буниной, 23.5.1928.
9. А. Ц. Воспоминания, сс. 125–126.
10. Там же сс. 131–132.
11. „Наши царства”. Вечерний альбом.
12. А. Ц. *op. cit.* с. 197.
13. Письмо к Буниной, 23.5.1928.
14. „Башня в плюще”.
15. См. E. Poretsky. *Our own people*. London, 1969.

Глава 3

1. А. Ц. Воспоминания, сс. 217, 227.
2. "... first-rate poetry and first-rate Cvetaeva..." (S. Karlinsky: *Marina Cvetaeva*. Berkeley, 1966).
3. А. Ц. *op. cit.* сс. 226–227.
4. Там же с. 225.
5. „Мать и музыка”.
6. А. Ц. *op. cit.* сс. 238–239.
7. Там же с. 243.
8. „Маме”. 1909 или 1910. Вечерний альбом.
9. А. Ц. *op. cit.* с. 253.

Глава 4

1. „Столовая”. Вечерний альбом.
2. А. Ц. Воспоминания, сс. 264–265.
3. Там же.
4. 20.9.1921. Избр. произв. № 200.
5. „В пятнадцать лет”. Волшебный фонарь.
6. А. Ц. сс. 300–301. Цветаева сама пишет Розанову: „С 14–16 лет я бредила революцией, шестнадцати лет безумно полюбила Наполеона I и Наполеона II, целый год жила без людей, одна в своей маленькой комнатке, в своем огромном мире” (8.4.1914).
7. А. Ц. *op. cit.* с. 344.
8. Там же.

Глава 5

1. См. *Отчет Московского Публичного и Румянцевского Музеев за 1909 год*. Москва 1910.
2. „Чародей”. Юношеские стихи.
3. А. Ц. с. 317.
4. Письмо к Бахраху, 27.9.1923.

5. „В Париже”. Вечерний альбом.
6. „Молитва”. 26.9.1909. Вечерний альбом.
7. Письмо к Эллису, без даты и места.
8. „Новолунье”. Таруса, октябрь 1909 г. Вечерний альбом.
9. *Отчет Московского Публичного и Румянцевского Музеев* за 1909 год. Андрей Белый в своей книге „Между двух революций” подробно описывает „Инцидент с Эллисом”. Вот его версия:
 „Теперь о Цветаеве: этот последний питал к Эллису ненависть; Эллис являлся почти каждый день на квартиру его — проповедывать Марине и Асе, его дочерям, символизм; и папаша был в ужасе от влияния этого „декадента” на них — тем более, что они развивали левейшие устремления для этого косного октябриста: они называли себя тогда анархистками; в представлении профессора Эллис питал их тенденции; ни в грош не ставил папашу. С другой стороны: дама, в которую папаша влюбился, по уши была влюблена в Эллиса; и здесь, и там — торчал на дороге профессора „декадент”; оскорбление свое он и выместил как директор Румянцевского музея. И кроме всего: он желал выкрутиться перед его нелюбившим министром; он потребовал строжайшего расследования с тенденцией обвинить Эллиса...” (с. 369–70).
10. „Бывшему чародею”. Вечерний альбом.
11. А. Ц. с. 352.
12. „Ошибка”. Вечерний альбом.
13. „Путь креста”. Волшебный фонарь.
14. А. Цветаева *op. cit.* с. 365.
15. Письмо к Брюсову, 15.3.1910.
16. „Герой труда”.
17. И. В. Цветаев. Московский Публичный и Румянцевский Музеи. Спорные вопросы. Опыт самозащиты И. Цветаева, быв. директора сих Музеев. Москва—Дрезден, 1910. — И. В. Цветаев. Дело бывш. министра Народного Просвещения А. Н. Шварца и директора Румянцевского Музея И. В. Цветаева. Leipzig, 1911.
18. „Герой труда”.

Глава 6

1. См. Johannes von Guenther: *Ein Leben im Ostwind*. München, 1969.
2. В. Я. Брюсов. Новые сборники стихов. *Русская мысль* 1911, № 2, с. 233.
3. См. А. Ц. Воспоминания, сс. 314–315.
4. *Аполлон*. Май 1911. См. также Н. С. Гумилев. Собрание сочинений т. 4, с. 262.
5. См. И. Кудрова. Письма М. Ц. Максимилиану Волошину. *Новый мир* 1977, № 2, с. 231.

6. Письмо Волошину. 23.12.1910.
7. Ф. А. Степун. Бывшее и несбывшееся. Т. 1, с. 273.
8. „Пленный дух”.
9. Письмо Эллису, 12.12.1910.
10. „Пленный дух”.
11. А. Ц. с. 388.

Глава 7

1. „Живое о живом”.
2. Письма Волошину, Гурзуф 6.4.1911 и 18.4.1911.
3. См. Ю. Терапиано. Встречи. Нью-Йорк, 1953, с. 8.
4. „История одного посвящения”.
5. М. С. Muj životopis. М. Cvetajeva: Hodina duse.
6. А. Ц. Воспоминания, с. 433.
7. Там же с. 455.
8. „Неразлучной в дорогу”. Волшебный фонарь.
9. Письма Волошину 26.7.1911 и 28.11.1911.
10. Анастасия Цветаева. Воспоминания Ч. 2. Москва 1981, №№ 3—5.
11. Подробно о квартирах М. Ц. см. А. Цветаева. Маринин дом. Звезда 1981, № 12, сс. 142—157.
12. Воспоминания Евгении Герцык вышли в издательстве УМСА—Press в 1973 году. О продолжении, посвященном сестрам Цветаевым и упомянутом в книге, пока ничего не известно.
13. А. Ц. Воспоминания (ч. 1), сс. 391—392.
14. Б. Зайцев. Далекое. Вашингтон, 1965, сс. 130—134.
15. Письмо Волошину, 19.11.1911.
16. „На радость”. Волшебный фонарь.
17. См. А. Цветаева. Воспоминания ч. 2, Москва 1981, № 3.

Глава 8

1. А. С. Эфрон. Страницы воспоминаний. Звезда 1973, № 3, сс. 154—179.
2. А. Цветаева. Маринин дом. Звезда 1981, № 12, сс. 142—157.
3. Veronique Lossky: Marina Cvetaeva. Souvenirs de contemporains. Wiener slawistischer Almanach, Sonderband III, S. 213.
4. „С. Э.” Коктебель 3.6.1914. Юношеские стихи.
5. Письмо Розанову, 7.3.1914.
6. Николай Гумилев. Письма о русской поэзии. Аполлон 1912, № 5. Перепечатано: Н. Гумилев. Сочинения, т. 4, с. 293.
7. В. Я. Брюсов. Сегодняшний день русской поэзии. 50 сборников стихов. Русская мысль 1912, № 7.

8. Цитировано по: Русская литература конца XIX нач. XX века. 1908–1917. Москва, 1972.

9. „Герой труда”.

10. Письмо Розанову, 8.4.1914.

11. „Юношеские стихи”, см. М. Ц. Неизданное. Париж, ИМКА-Пресс 1976, сс. 3–92. Некоторые стихи были напечатаны в 1915–17 гг. в журнале *Северные записки* (Петроград); большой выбор, с комментариями А. С. Эфрон, появились в „Избранных произведениях” в „Библиотеке поэта” (Москва, 1965), другие в „Тарусских страницах” и еще другой выбор, с предисловием В. Швейцер, в „День поэзии” 1968 г.

12. См. В. П. Купченко в комментариях к письмам Цветаевой к Волошину. *Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома*, 1975, сс. 151–184.

13. „Моим стихам, написанным так рано”. Коктебель, 13 мая 1913. Избр. произв. № 1.

14. „Чародей”, Феодосия 15.2.–4.5.1914. Юношеские стихи.

15. См. А. Цветаева. Главы из книги. *Даугава* (Рига) 1980, № 7, сс. 58–72.

16. Письмо Розанову, 7.3.1914.

17. Цитируется по: Купченко, *op. cit.*

Глава 9

1. „Война, война”. Москва 16.7.1914. Цикл. „П. Э.” состоит из 7 стихотворений (17.6.1914–5.6.1915). П. Я. Эфрон скончался в сентябре или в начале октября 1914 г.

2. См. А. И. Цветаева. Маринин дом. *Звезда* 1981, № 12, сс. 142–157.

3. Для следующего см. Н. Еленев. Кем была М. Ц.? Грани № 39, 1958, сс. 141–147.

4. „Заповедей не блюла, не ходила к причастью”, 30.9.1915. *Северные записки*, Юношеские стихи.

5. Grand-Duc Nicolas Mikhaïlovitch: La fin du tsarisme. Lettres inédites à Frédéric Masson 1914–1918, publ. par la Bibliothèque Slave à Paris. Paris: Payot, 1968.

Великий князь Николай Михайлович, дядя императора Николая II, был один из самых блестящих умов своего времени, историк, искусствовед и опытный агроном. Нецензурированные письма, которые он в течение всей войны и в начале революции переправил, через французское посольство в Петрограде, своему французскому другу, важный источник к истории тех лет.

6. „Подруга”, 16.10.1914–6.5.1915. Юношеские стихи. О дружбе между Цветаевой и С. Парнок см. С. Полякова в книге:

С. Парнок. Собрание сочинений. Анн Арбор, 1979, и та же: Поэзия и правда в цикле стихотворений Цветаевой „Подруга”. *Wiener slawist. Almanach*, Sonderbd. 3, S. 113–121.

7. „Германия”. Москва, 1 декабря 1914. Юношеские стихи. Опубликовано впервые: М. Ц. Нездешний вечер, *Современные записки* 1936, № 61.

8. 3.10.1915. Избр. произв. № 19.

Глава 10

1. О „Северных записках” см. Ф. А. Степун. Бывшее и несбывшееся. Нью-Йорк, 1953, т. 1.

2. Там же.

3. См. письмо Георгия Иванова Глебу Струве в Альманахе *Мосты* 13/14, с. 394. Возможно, что М. Ц. путает его с Г. Адамовичем, потому что она пишет О. Колбасиной-Черновой 17.10.1924: „Писавшего — некоего Адамовича — знаю. Он был учеником Гумилева, писал стихотворные натюрморты — петербуржанин — презирал Москву...” (Неизд. письма, с. 73).

4. „М. А. Кузмину”. Ремесло. Несобр. произв. с. 149.

5. „Нездешний вечер”.

6. „Стихи к Москве”, Избр. произв. № 30.

7. Осип Мандельштам. *Tristia*.

8. Надежда Мандельштам. Вторая книга, с. 520.

9. „История одного посвящения”.

10. „История одного посвящения” была напечатана впервые 30 лет после смерти Цветаевой, в II томе (1964) *“Oxford Slavonic Papers”*. Издателем был М. Л. Слоним.

11. См. О. Мандельштам. Собрание сочинений т. 1, с. 433, примечание.

12. Надежда Мандельштам, *op. cit.* cc. 522–523.

13. См. S. Karlinsky. Marina Cvetaeva, p. 181.

14. Избр. произв. № 71.

15. Chambrun, Charles de: *Lettres a Marie*. Paris, 1941, p. 29.

Глава 11

1. Что мы знаем из этого сборника было напечатано в томе: М. Ц. Незданное (Париж, 1976). Первый выбор вышел в 1921 г. в Москве (Изд. Костры) под названием „Версты. Стихи 1917–1921 гг.” в 1000 экземплярах и в следующем году было переиздано дважды в Берлине.

2. „Лебединый стан” как целое при жизни Цветаевой не мог выйти. П. Б. Струве опубликовал в 1922 г. несколько стихотво-

рений в *Русской мысли*. Первое полное издание по рукописи, находящейся в Университетской библиотеке в Базеле, вышло благодаря Г. П. Струве в 1957 г.; второе, вместе с поэмой „Перекоп” – тоже благодаря Г. П. Струве – в 1971 году в Парижском издательстве YMCA-Press.

3. Письмо Иваску, 25.1.1937.
4. Москва, 2.3.1917. Лебединый стан.
5. См. Степун. Бывшее и несбывшееся.
6. „Надобно смело признаться, Лира...” 1.8.1918. Лебединый стан.
7. 4.4.1917. „Первый день Пасхи”. Там же.
8. „Так и буду лежать...” Неизданное с. 98, *Вестник РСХД* № 100.
9. Избр. произв., прим. с. 737.
10. 21.5.1917, Троица. Лебединый стан.
11. Письма к Волошину, *Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома* 1975, сс. 178–179.
12. См. А. Цветаева. Воспоминания, ч. 2, Москва 1981, № 4.
13. „Октябрь в вагоне”.
14. „Живое о живом”.

Глава 12

1. Ф. А. Степун. Бывшее и несбывшееся, т. 2, с. 202.
2. Grand Duc Nicolas Mikhailovitch. La fin du tsarisme, p. 282.
3. „Москве”, 9.12.1917. Лебединый стан.
4. И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Москва, 1961.
5. А. Эфрон. Страницы былого. *Звезда* 1975, № 6, с. 152.
6. А. Эфрон. Страницы воспоминаний. *Звезда* 1973, № 3, с. 166.
7. Письма к Гулю 21.12.1922 и 17.2.1923.
8. В хронологическом порядке: „Октябрь в вагоне” (Октябрь–ноябрь 1917), „О любви” 1917 (написано 1918–19), „Вольный проезд” (сентябрь 1918), „Мои службы” (11.11.1918–7.7.1919), „Из дневника” (Смерть Стаховича), февраль–март 1919, „О Германии” (1919), „Отрывки из книги 'Земные приметы' ” (1919), „О благодарности” (июль 1919), „Чердачное” (1919–20), все в издании „Проза т. 1”. Из воспоминаний, написанных позже об этом времени: „Повесть о Сонечке” и „Герой труда”.
9. „Повесть о Сонечке”.
10. П. Антокольский. Книга Марины Цветаевой. *Новый мир* 1966, № 4, сс. 212–224.
11. „Метель” (1918), „Червонный валет” (1918), „Фортуна”, „Каменный ангел”, „Приключение” и „Конец Казановы” (позже в расширенной версии под названием „Феникс”) – все 1919. В 1965 г. А. С. Эфрон писала, что рукописи пьес „Червонный валет” и „Ка-

менный ангел” не сохранились; фактически они были опубликованы впервые в 1974 г. („Червонный ангел” — *Новый журнал* № 115) и 1976 („Каменный ангел” — М. Ц. Неизданное).

12. См. „Смерть Стаховича”.

13. „Повесть о Сонечке” ч. 1. *Русские записки* 3. 1938, сс. 36–103; ч. 1+2 М. Ц. Неизданное, сс. 205–362. — „Стихи к Сонечке”, частично в Избр. произв. № 140–147.

14. „Дон I”, 11.3.1918, „В день разгрома Дона”. Лебединый стан.

15. „Чердачное”.

16. „Мои службы”.

Глава 13

1. *Wiener slavistisches Jahrbuch* Bd. 20 1974, S. 180.

2. К. Бальмонт. Где мой дом? Прага, 1924.

3. Тот же. *Современные записки* 1921, № 7, с. 92.

4. Э. Миндлин. Необыкновенные собеседники. Москва, 1968.

5. В. В. Маяковский. Собрание сочинений, т. 18.

6. „Мои службы”.

7. „Герой труда”.

8. И. Эренбург. Портреты русских писателей, с. 150.

9. Тот же. Люди, годы, жизнь. Москва, 1961. Кн. 2. сс. 371–72.

10. Письмо Звягинцевой 7(20).2.1920. *Russian Literature* IX–IV. 1981. с. 335. Подробно см. В. Швейцер там же.

11. Письмо А. И. Цветаевой, 17.12.1920.

12. Письмо Звягинцевой, 9.2.1920.

13. См. А. С. Эфрон. Страницы воспоминаний.

14. 18.5.1920. Избр. произв. № 166. А. С. Эфрон пишет в примечании, что, когда Цветаева вернулась в Москву и в 1940 году со-поставила сборник своих стихов, она имела в виду начать книгу этим стихотворением.

15. D. S. Mirsky. *Geschichte der russischen Literatur*. S. 446.

16. Письма Евгению Ланну 6.12.1920–10.9.1921, *Wiener Slavistische Almanach*, Sonderband III, S. 161–194.

17. Письмо Волошину 21.11.1920, *Ежегодник Пушкинского Музея* 1975, с. 179.

18. Письмо А. И. Цветаевой, 17.12.1920.

19. „Плач Ярославны”, 23.–31.12.1920. Лебединый стан.

20. Юрий Иваск. Поэзия старой эмиграции. Русская литература в эмиграции. Питтсбург, 1972.

Глава 14

1. Louise Weiss: *Memoires d'une europeenne*. Paris. T. 2, P. 105 – 107.

2. И. Эренбург. Люди, годы, жизнь, кн. 2, с. 552.

3. См. Анастасия Цветаева. Воспоминания. *Москва* 1981, № 3–5.
4. Ю. Иваск. Благородная Цветаева. М. Ц. Лебединый стан, Предисловие.
5. См. Э. Миндлин. Необыкновенные собеседники.
6. Письмо Бахраху, 10.1.1924.
7. Письмо Иваску, 4.6.1934.
8. Кн. С. Волконский. Быт и бытие. Берлин, 1924.
9. М. Ц. Ремесло. Берлин, Москва: Геликон, 1923. Репринт: М. Ц. Несобранные произведения, Мюнхен, 1971, сс. 115–278.
10. Избр. произв. № 383.
11. Письмо Пастернаку, 29.6.1922.
12. „Благая весть”. Ремесло.
13. Письмо Ахматовой, 31.8.1921.
14. См. письмо к Волошину, 7.11.1921.
15. См. письмо к Гулю, 9.2.1923.
16. „Сугробы”, 10.2.–5.3.1922; „Переулочки”. Москва, апрель 1922. Несобр. произв. сс. 237–278.
17. См. письма Иваску, 11.11.1935 и 25.1.1937.
18. Н. Я. Мандельштам. Вторая книга, сс. 515. 518.

Глава 15

1. R. Williams. Culture in exile. Russian emigrés in Germany 1881–1941. Ithaca, London 1972. См. тоже: И. Эренбург. Люди, годы, жизнь, кн. 2, гл. 3; А. Бахрах. Письма Марины Цветаевой, *Мосты* 5, 1960, сс. 299–303; Тот же: По памяти, по запискам: Андрей Белый, *Континет* № 3, 1975, сс. 288–321.
2. Отметим самые важные: *Эпопея*, почти полностью написано и издано Андреем Белым; *Беседа*, издатель Максим Горький; *Новая русская книга*, где участвовали Роман Гуль и Илья Эренбург. Последний, вместе с Э. Лисицким, издал художественный журнал *Вещь*.
3. А. Бахрах. Письма М. Ц. *Мосты* № 5, 1960, с. 300.
4. Следующие книги М. Ц. вышли в Берлине: Разлука, Геликон 1922; Стихи к Блоку, Огоньки 1922; Царь-Девница, Эпоха 1922; Ремесло, Геликон 1922; Психея, Гржебин 1923.
5. См. Е. Каннак. Воспоминания о Геликоне. *Русская мысль* 17.1.1974.
6. В своем выступлении на Цветаевском симпозиуме в Лозанне (1982 г.) С. Витале сообщила, что в Москве существуют до сих пор не опубликованные письма Цветаевой к Вишняку. Это та корреспонденция, которую она сама называет „ein ganzes Brief-Buch”.
7. И. Эренбург. *op. cit.* с. 373.
8. Там же с. 372.

9. Письмо Бахраху, 20.7.1923.
10. Письмо Иваску, 4.4.1933.
11. Письмо Бахраху, там же.
12. „Пленный дух”.
13. И дальше: М. Слоним. О Марине Цветаевой. *Новый журнал* № 100, с. 156.
14. Письма Л. О. Пастернаку и Б. Л. Пастернаку, оба 29.6.1922.
15. А. С. Эфрон. Страницы былого. *Звезда* 1975, № 6, с. 162.
16. „Берлину”, 10.7.1922. „После России”.

Глава 16

1. Когда Н. П. Кондаков скончался в 1925 году, его ученики основали Институт им. Кондакова, который существовал до конца войны и имел высокую научную репутацию.

2. См. Nicolas Zernov: *The Russian Religious Renaissance of the 20th Century*. London, 1963.

3. Н. Еленев. Кем была Марина Цветаева? *Грани* № 39, 1958, с. 147.

4. Письмо Бахраху, 20.7.1923.

5. Письмо Пастернаку, 19.11.1922.

6. А. С. Эфрон. Страницы воспоминаний. *Звезда* 1973, № 3, с. 162.

7. „Рассвет на рельсах” 20.10.1922, Избр. произв. № 243.

8. А. С. Эфрон. Страницы былого. *Звезда* 1975, № 6, с. 174.

9. См. Письма к Л. Чириковой. *Новый журнал* № 124, 1976, сс. 140–51.

10. Письмо Гулю, 28.3.1923.

11. Еленев, *op. cit.*

12. См. М. Л. Слоним. О Марине Цветаевой. Первый визит Ц. в редакцию „Воли России” он датирует немного позже, но стихи „Хвала богатым”, написанные после этого визита, помечены: „30 сентября 1922”.

13. М. Ц. Письма к Анне Тесковой. Praha: Academia 1969. Nr. 1 Цикл „Деревья” (Избр. произв. № 228–236) написан 5.9.1922–9.5.1923.

14. F. Kubka: *Hlasy od vychodu. Smutna romance o Marině Cvetajevové*. Praha, 1960, S. 17–20.

15. Избр. произв. № 240.

16. Письмо Гулю, 1.12.1922.

17. О. Е. Колбасина Чернова. О Марине Цветаевой. *Мосты* № 15, 1970, с. 317.

18. Ю. Айхенвальд в каталоге издательства „Эпоха”. *Беседа* 1922.

19. Письмо Гулю, 21.12.1922.

20. Письмо Пастернаку, 19.11.1922.
21. Письмо Пастернаку, 9.3.1923.
22. „Проводá”, 17.3.–11.4.1923. („Сейчас погибаю от стихов: рук не хватает” – письмо Гулю, 28.3.1923. „После России”. В Избр. произв. (№ 254–260) – опубликована только часть. – „Поэты”, 8.–23.4.1923, Избр. произв. № 262–264.
23. 22.4.1923, Прага. „После России”. Избр. произв. № 264.
24. Письмо Гулю, 5.3.1923.
25. Книга „Земные приметы” до сих пор (1983) полностью еще не вышла. Некоторые части были напечатаны в 1924 и 1925 гг. в разных эмигрантских газетах, они собраны в нью-йоркском издании „Избранная проза, т. 1”. Фрагменты из дневников А. С. Эфрон – в ее „Страницы воспоминаний”.
26. *Новая русская книга* 1923, № 3/4, с. 14.
27. „Письмо критику” (черновик): *Новый мир* 1969, № 4, сс. 191–192. Последняя фраза и следующие письма: *Мосты* № 5. 1960, сс. 299–318; 6.1961, сс. 319–346.
28. „Письмо”, 30.8.1923. Избр. произв. № 291.
29. Письмо Бахраху, 28.8.1923.

Глава 17

1. Письмо Бахраху, 10.9.1923.
2. См. А. Эфрон. Страницы былого.
3. „Пражский рыцарь”, 27.9.1923. Избр. произв. № 296. В тот самый день Ц. пишет Бахраху: „У меня есть друг в Париже (!), каменный рыцарь, очень похожий на меня лицом. Он стоит на мосту и стережет реку: клятвы, кольца, волны, тела. Ему около пятисот лет и он очень молод: каменный мальчик. Когда Вы будете думать обо мне, видите меня с ним”. (Еленев сообщает, что маленькая скульптура легендарного рыцаря Брунцвика – произведение Людвига Шимека из г. 1884.).
4. Избр. произв. № 298.
5. Slonim. "Both lyrical and intensely emotional pieces of love and separation, with tragic overtones..." (Notes on Tsvetaeva. *The Russian review* 31.1971, p. 119) – Karlinsky: 'Poema konca' is one of Cvetaeva's finest accomplishments. This poem and 'Poema gory'... shows us the poet at the peak of her originality and poetic stature" (Marina Cvetaeva, p. 214).
6. Письмо Пастернаку, 26.5.1926.
7. Н. Берберова. Курсив мой, сс. 241–242: „Ранний ноябрьский вечер за окном. Мы сидим с трех часов при лампе в номере пражского отеля Беранек: Цветаева, Эфрон, Ходасевич и я. ... Мы сидим долгие часы, пьем чай, который я кипячу на маленькой спиртовке,

едим ветчину, сыр и булки, разложенные на бумажках. Все, что говорит Цветаева, мне интересно, в ней для меня сквозит смесь мудрости и каприза, я пью ее речь, но в ней, в этой речи, почти всегда есть чужой мне, режущий меня большой надлом, восхитительный, любопытный, умный, но какой-то нервный, неуравновешенный, чем-то опасный для наших дальнейших отношений, будто сейчас нам еще весело летать по волнам и порогам, но в следующую минуту мы обе можем столкнуться и ушибиться, и я это чувствую, а она, видимо, нет, она вероятно думает, что со мной можно в будущем либо дружить, либо поссориться. Внезапно в комнате гаснет свет – это она выдернула вилку из штепселя, в темноте на диване она нападает на меня, щекочет, обнимает. Я вскакиваю, не сдержав крика. Свет зажигается. Эти игры мне совсем, совсем не по душе...”

8. В. Набоков. Другие берега, с. 243.

9. См. О. Chernov Andreyev. Cold spring in Russia. Ann Arbor, 1978.

10. О. Е. Колбасина-Чернова. О М. Ц. *Мосты* № 15, 1970, сс. 311–317.

11. Письмо Черновой, 11.11.1924.

12. „Тезей”. Первая публикация: *Версты* № 2, Париж, 1927, потом под титулом „Ариадна”, Избр. произв. № 391. См. примечания там же сс. 784–788. О. Е. Черновой Цветаева пишет 2.11.1924: „Большую вещь свою я окончила: Тезей (Ариадна) – 1 часть. Драматическая вещь, может быть и трагедия. (Никогда не решусь на такой подзаголовок, ибо я женщина, а женщина не может написать трагедии)”.

13. Письмо Черновой, 27.12. и 11.12.1924.

14. М. Ц. Письма к Анне Тесковой. Praha: Academia, 1969. Публикация В. В. Морковина и Зд. Матхаузера.

15. М. Л. Слоним. О Марине Цветаевой. Т. 1: *Новый журнал* № 100, 1970, сс. 155–179; Т. II: *Новый журнал* № 103, 1971, сс. 143–176.

16. „Попытка ревности”, 19.11.1924. Избр. произв. № 305.

17. Слоним, op. cit. I, с. 176.

Глава 18

1. Письмо Тесковой, 10.2.1925.

2. Письмо Черновой, 20.2.1925.

3. Полный текст „Крысолова” был напечатан в „Воле России” в 1925–26 гг. В Московских „Избранных произведениях” (№ 386) – только сокращенный вариант, где выпущены антибольшевистские места. См. там же примечания сс. 769–773 и Karlinsky: Marina Cvetaeva, сс. 230–231. Самое полное издание в двуязычном, параллель-

ном издании с немецким переводом и обширным комментарием М. Л. Ботт: "М. С. Krysolov. Der Rattenfänger. Hrsg., übers. u. kommentiert von Marie-Luise Bott. Mit einem Glossar von Günther Wytzens. Wien 1982 (*Wiener slawistischer Almanach*, Sonderbd. 7).

4. 19.2.1925 Цветаева пишет Черновой: „17-го ночью, от разрыва сердца, умер Кондаков. А сегодня, 19-го, С. должен был держать у него экзамен. Ближайшие ученики в *страшном* горе. Вчера С. с еще одним через весь город тащили огромный венок. Недавно был его юбилей — *настоящее* торжество. При жизни его ценили, как — обыкновенно — только после смерти. Черствый, в тысячелетиях живущий старик был растроган. Умер 80-ти лет... Умер почти мгновенно: „Задыхаюсь!“ и — прислушавшись: „Нет — умираю“. Последняя точность ученого, не терпевшего лирики в деле. Узнав — слезы хлынули градом: не о его душе (была ли?), о его черепной коробке с драгоценным, невозвратимым мозгом. Ибо этого ни в какой религии нет: бессмертия мозга. С. уже видел его: прекрасен. Строгий, чистый лик. Такие мертвые не страшны, страшна только мертвая *плоть*, а здесь ее совсем не было...”

5. „Герой труда“, Прага, август 1925. *Воля России* 1925, № 9–11. Избр. проза 1, сс. 176–220.

6. Письмо Тесковой, 9.9.1925.

7. См. Летопись жизни и творчества М. Горького, т. 3, с. 436.

8. Так, напр., пишет Маяковский в 1928 году: „Вошла комсомолка с почти твердыми намерениями взять, например, Цветаеву. Ей, — комсомолке, сказать, сдувая пыль с серой обложки: „— Товарищ, если вы интересуетесь цыганским лиризмом, осмелюсь предложить Сельвинского. Та же тема, но как обработана?! Мужчина!“ (В. М. Полное собр. соч. Т. 12, с. 79).

9. „Возрожденщина“. Дни 10.10.1925. Избр. проза II, сс. 307–309.

10. Проза II, сс. 305–306.

11. Письмо Гулю, 9.2.1923.

12. Письмо Рильке, 6.7.1926.

13. Письмо Черновой, 14.8.1925.

14. Письма Тесковой, 1. и 6.10.1925.

15. Слоним, *op. cit.*, I, с. 179.

16. Письмо Тесковой, 1.10.1925.

17. Письмо Тесковой, 20.10.1927.

Глава 19

1. Глеб Струве. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк: Изд. им. Чехова 1956. — См. также: Николай Андреев. Об особенностях и основных этапах развития русской литературы за рубежом.

Русская литература в эмиграции, сс. 15–38. – Ю. Терапиано. Встречи. – Н. Берберова. Курсив мой. – З. Шаховская. Отражения.

2. *Современные записки* 1921, № 9.

3. З. Шаховская, *op. cit.*, с. 43.

4. См. Ю. Терапиано, *op. cit.*

5. Письмо Тесковой, 7.12.1925.

6. „Тише, хвала”, 26.1.1926. Избр. произв. № 319.

7. Вышло только два номера „*Благонамеренного*”: 1926, 1/2, 3/4. В этих двух номерах были напечатаны следующие вещи Цветаевой; „О благодарности, из дневника 1919 г.”, стихотворение „Старинное благоговение”, посвященное Д. А. Шаховскому, и „Поэт о критике”.

8. К. Куприна. Куприн, мой отец. Москва 1971, с. 161.

9. А. Бахрах. М. Цветаева в Париже. *Русская мысль* № 3287, 20.12.1979.

10. Письмо Д. А. Шаховскому, 15.11.1925.

11. Г. Адамович. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955, сс. 154–157.

12. Г. Адамович. Комментарии. Вашингтон, 1967, сс. 171–172.

13. А. Бахрах, *op. cit.*

14. Глеб Струве. Об Адамовиче-критике. *Новый журнал* № 34/35, 1957, сс. 365–369.

15. Валентин Андреев. Встреча с Ахматовой. *Русская мысль* 12.12.1970.

16. Подробно см. И. В. Кудрова. Полгода в Париже. *Wiener slawist. Almanach*, Sonderbd. 3, S. 129–159.

17. См. З. Гиппиус. Письма к Берберовой и Ходасевичу. *Ann Arbor*, 1978.

18. Письмо Тесковой, 8.6.1926.

19. Письмо Тесковой, 26.7.1926. Д. А. Шаховской, в монашестве иеромонах Иоанн, затем архиепископ Сан-Францисский, до конца 2-й Мировой войны служил в Берлине, в русском приходе на Находштрассе. Литературный псевдоним: „Странник”. Опубликованная в его „Биографии юности” переписка с разными писателями интересно освещает сцену вокруг „Благонамеренного” (сс. 167–418). Там находятся письма Шаховского М. Цветаевой и ее последнее, 21-е письмо, которое не вошло в издание „Неизданные письма” (сс. 403–418).

Глава 20

1. См. Из переписки Рильке, Цветаевой и Пастернака в 1926 году. *Вопросы литературы* 1978, № 4, сс. 238–239. Оригинал письма на немецком языке: М. Ц. Несобр. произв., Мюнхен, сс. 681–83. Письма Цветаевой к Рильке в немецком оригинале: Ilma Rakusa.

М. И. Цветаева im Briefwechsel mit R. M. Rilke. *Zeitschrift für slavische Philologie*, 41. 1980, H. 1, S. 127–173.

2. И следующее: „Из переписки...”
3. Пастернак Цветаевой, 20.4.1926, там же.
4. Пастернак Цветаевой, 29.5.1926.
5. Пастернак Цветаевой, 13.5.
6. Цветаева Пастернаку, 23.5.
7. Цветаева Пастернаку, 25.5.
8. „Из переписки...”
9. Элегия М. Цветаевой-Эфрон. См. Рильке Новые стихотворения. Изд. подг. К. Н. Богатырев. Москва, 1977, сс. 321–323.
10. Письмо Тесковой 2.1.1937.
11. „Из переписки...” с. 279. Оригинал: Rainer Maria Rilke. *Gesamtausgabe*, Bd. 2.
12. М. И. Цветаева im Briefwechsel mit Rilke, S. 173.
13. Письмо Пастернаку, 10.7.1926.
14. Письмо Тесковой, 20.3.1931.
15. Письмо Пастернаку, 9.2.1927.
16. Письмо Тесковой, 24.9.1926.
17. М. Слоним. О Марине Цветаевой II, с. 145.
18. Письмо Пастернаку, 31.12.1926.
19. „Новогоднее”. Несобр. произв. сс. 480–485. — М. Ц. Стихотворения и поэмы в 5 т. Нью-Йорк, 1979, т. 1, сс. 263–267. См. Иосиф Бродский. Об одном стихотворении. Там же сс. 39–80.
20. Письмо Е. Черносвитовой, около 15.1.1927, *Новый мир* 1969, № 4, с. 199.

Глава 21

1. А. С. Эфрон. Письма М. Ц. *Новый мир* 1969, № 4, сс. 185.
2. *Вестник РХД* № 129. 1979, сс. 124–130.
3. Письмо Тесковой, 3.1.1928.
4. Е. Извольская. Тень на стенах. *Опыты* № 3, 1954, с. 153.
5. Е. Извольская. Поэт обреченности. *Воздушные пути* № 3, 1963, сс. 157–158.
6. Письмо Тесковой, 27.12.1927.
7. Письмо Тесковой, Третий день Пасхи 1927.
8. Письмо Тесковой, 20.10.1927.
9. Извольская: Тень с. 156.
10. Письмо Пастернаку, июль 1927. *Новый мир* 1969, № 4.
- 10а. В. С. Варшавский. Незамеченное поколение. Нью-Йорк 1956.
11. А. И. Цветаева. Воспоминания т. 1, с. 503.
12. А. И. Цветаева. Из прошлого. *Новый мир* 1966, № 1, с. 102.
13. Горький и советские писатели. Москва, 1963. *Литературное наследство* т. 70, сс. 300–302.

14. Письмо Тесковой, 12.12.1927.
15. М. Слоним. О М. Ц. ч. 1, с. 163.
16. П. Антокольский. Книга М. Ц. *Новый мир* 1966, № 4, с. 217.
17. См. письмо Иваску 8.3.1935.
18. Письма Тесковой 9.9.1928 и 2.12.1934.
19. Стихотворение Гронского „Белладонна” впервые в *Воздушные пути* 5, сс. 215–225, одновременно с „Посмертным подарком” Цветаевой, то есть статьи, которые *Последние новости* не напечатали. Избр. проза II, сс. 122–130. При жизни Ц. вышло только в переводе на сербский язык: „Песник алпинист”.
20. „Разговор с гением”, Медон 4.6.1928, Избр. произв. № 320. Там же „Найада”, Pontaillac 1.8.1928, Избр. произв. № 321.
21. „Перекоп”. Эпиграф.
22. Письмо Тесковой, 18.11.1928.
23. Письмо Тесковой, примечание к письму № 47, с. 194.
24. Владимир Маяковский. Полное собрание сочинений, т. 12, с. 391.

Глава 22

1. Подробно см., напр., Р. Гуль. Я унес Россию. *Новый журнал* № 136. 1979, сс. 105–109.
2. Письмо Тесковой, 19.2.1929.
3. Письмо Тесковой, 7.4.1929.
4. „Наталия Гончарова, жизнь и творчество”. *Воля России* 1929, № 5/6, 7, 8/9. Избр. проза I, сс. 283–340.
5. „Несколько писем РМР”. Избр. проза I, сс. 268–73.
6. „Лебединый стан – Перекоп”. Париж 1971, сс. 125, 135. Первая публикация: *Воздушные пути* № 5.
7. Слоним вспоминает: „В начале 1929 года МИ заканчивала свой „Перекоп” и дала мне прочитать эту „белогвардейскую поэму”, как она называла ее с усмешкой. При ближайшей встрече она спросила, стоит ли предложить ее „Воле России”. Я сказал, что если „Перекоп” нельзя устроить в другом журнале, мы можем его напечатать, ведь мы ни одной ее вещи не отвергли – но, честно говоря, сделаем это без особого энтузиазма, она сама должна решить. „Это значит по дружбе и снисхождению, а не по убеждению” заметила МИ, глядя куда то в бок... Затем, подумав, прибавила: „ну, ничего, пускай по-лежит”. Сергей Яковлевич, как я узнал впоследствии, посоветовал ей не торопиться с „Перекопом” и – редкий случай – она его послушалась. О переговорах со мной она так потом написала Тесковой: „Даже „Воля России” отказалась, мягко, конечно, не задевая, скорее отвела, чем отказалась”. Но я считал „Перекоп” слабым произведением” (Слоним II, с. 155).

8. Письма Тесковой, 30.9. и 26.10.1929.
9. Письмо Буниной, 10.4.1930.
10. См. примечание к письму Тесковой № 60, сс. 195–196.
11. „Маяковскому”. Савойя. Август 1930. Несобр. произв. сс. 564–571. К истории этого цикла см. Karlinsky, Marina Cvetaeva, p. 80–81.
12. Письмо Тесковой, 17.10.1930.
13. *Новый мир* 1969, № 4, сс. 203–205.
14. Е. Извольская: Поэт обреченности. *Воздушные пути* № 3, с. 158.
15. Там же.
16. Письмо Тесковой, 17.10.1930.

Глава 23

1. См. В. С. Варшавский. Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956.
2. См. Зинаида Шаховская. Марина Цветаева. *Новый журнал* № 87. 1969, сс. 130–135, и Шаховская. Отражения. Париж 1975, сс. 160–168.
3. Письмо Иваску, 4.4.1933. Цветаева здесь намекает на то, что в мае 1931 президент Французской Республики был убит одним русским эмигрантом, после чего тот был казнен.
4. Избр. произв. №№ 323, 333.
5. „О новой русской детской книге”. Избр. проза II, сс. 310–313.
6. Письмо Тесковой, 25.2.1931.
7. „Сибирь”. Meudon, 1930. Несобр. произв. сс. 573–578.
8. Письмо Тесковой, 25.2.1931.
9. Письмо Тесковой, 20.3.1931.
10. О Саломее Николаевне Андрониковой-Гальперн (1888–1982), принадлежавшей в Петербурге к знакомым Ахматовой и Мандельштама, см. Г. П. Струве: Памяти С. Н. Гальперн. *Русская мысль*, 1.7.1982. Письма Цветаевой к С. Н. Гальперн до сих пор не опубликованы. Оригиналы хранятся в ЦГАЛИ, фотокопии находятся в Оксфорде и у Глеба Струве.
11. Письмо Тесковой, 31.8.1931.
12. Н. Еленев. Кем была М. Ц.? *Грани* № 39. 1959, сс. 158–159.
12. Цветаева пишет Тесковой: „У меня три Пушкина. Стихи к Пушкину, которые совершенно не представляю себе чтобы кто-нибудь осмелился читать, кроме меня. Страшно-резкие, страшно-вольные, ничего общего с канонизированным Пушкиным не имеющие, и все имеющие — обратное канону. *Опасные* стихи. Отнесла их, для очистки совести, в редакцию Совр. Записок, но не сомневаюсь,

что не возьмут – не могут взять. Они *внутренно* – революционны – так, как никогда не снилось тем, в России... Это месть поэта – за поэта. Ибо не держи Н. И. Пушкина на привязи – возле себя поближе – выпусти он его за границу – отпусти на все четыре стороны – он бы не был убит Дантэсом. Внутренний убийца – он” (А. Т. 26.1. 1937). „Стихи к Пушкину” (Избр. произв. №№ 324–329) были напечатаны впервые в *Современных записках* №№ 63.64.1937.

14. „Ода пешему ходу”, Медон 26.8.1931. При жизни Цветаевой не была напечатана. 12 мая 1934 она писала Иваску: „Я – рожденный ходок. Кстати мне недавно вернули из Совр. Записок мою „Оду пешему ходу”, уже набранную – в последнюю секунду усумнились в понятности „среднему читателю...” Первая публикация: Москва, 1961. Избр. произв. № 330.

15. См. Письма к Рудневу. *Новый журнал* № 133. 1978, сс. 191–207.

16. „Искусство при свете совести”. Избр. проза I, сс. 381–406; „Поэт и время”, Meudon, январь 1932. Избр. проза I, сс. 367–380.

17. Письма Г. П. Федотову. *Новый журнал* № 63, 1961, сс. 162–172.

18. „Живое о живом”. Clamart 27.2.1933. Избр. проза II, сс. 27–79. Посвященный Волошину тоже цикл стихов „Ici-haut”. Несобр. произв. сс. 579–581.

19. См. М. В. Вишняк. „Современные записки”, Bloomington 1957, и он же в сборнике „Русская литература в эмиграции”, Pittsburgh, 1972.

20. Письмо Тесковой, 7.3.1933.

21. На Цветаевском симпозиуме в Лозанне 1982 S. Vitale сообщила, что эти письма были написаны А. Г. Вишняку.

22. Письмо Тесковой, 16.10.1932.

23. F. Kubka: Hlasý od vychodu. Praha, 1960.

24. Письмо Буниной, 24.8.1933.

Глава 24

1. В. Муромцева. У Старого Пимена. М. Ц. . Неизд. письма, Прил. 1, сс. 531–541. Напечатано впервые в газете *Россия и славыяство*, Париж 14.2.1931.

2. „Дом у Старого Пимена”. Кламар, август-октябрь 1933 г. Неизд. письма прил. II, сс. 542–599; Избр. проза II, сс. 215–246. Впервые: *Современные записки* № 54. 1934, сс. 212–256.

3. „Хлыстовки”. Париж, май 1934. „Черт”. 1935. „Сказка матери”. 1934. „Мать и музыка”. 1935. „Башня в плюще”. 1933. „Отец и его музей”. 1933. „Жених”. Сентябрь 1933. Избр. проза II, сс. 145–215.

4. Письмо Иваску, 3.4.1934.
5. Письма Цветаевой к Ю. Иваску. Русский литературный архив сс. 207–237.
6. Письмо Иваску, 4.4.1933.
7. Об отношениях между Цв. и Ходасевичем см. С. Карлинский. Письма М. Цветаевой к В. Ходасевичу, *Новый журнал* № 89. 1967, сс. 102–109; о Ходасевиче см. Н. Берберова. Курсив мой. Мюнхен 1972.
8. Письма М. Ц. к В. Ходасевичу. *Новый журнал* № 89. 1967, сс. 109–114. Письмо № 2, 19.7.1933.
9. *Новый мир* 1969, № 6, с. 207.
10. Письмо Буниной, 7.5.1935.
11. „Пленный дух. Моя встреча с Андреем Белым”. Избр. проза II, сс. 80–121.
12. Две из этих вещей, „Слово о Бальмонте” и „Посмертный подарок” – („О книге П. П. Гронского”) вышли на русском языке (Избр. проза II, сс. 329–337; 122–130; 319–321). „Песни са историей и песни без истории” по-русски в первый раз, в переводе с сербскохорватского, появилось в московском двухтомнике 1980 года под названием „Поэты с историей и поэты без истории”.
13. См. Избр. проза II.
14. В московском издании 1965 года „Избранные произведения” к циклу „Надгробное” прибавлено одно стихотворение (Избр. проза. № 349–352).
15. „Посмертный подарок” был напечатан впервые в оригинале в альманахе *Воздушные пути* 5, 1967. Там также и поэма Гронского „Белладонна”.
16. Письмо Буниной, 24.8.1933.

Глава 25

1. Б. Пастернак. Автобиографический очерк. Сочинения т. 2, сс. 46–47.
2. М. Слоним. О М. Ц. *Новый журнал* № 100, с. 168.
3. Письмо Тесковой, 15.2.1936.
4. О. Ивинская. В плену времени, с. 140.
5. Письмо Тесковой, 12.7.1935.
6. Письмо Буниной, 28.8.1935.
7. „Певца”. Альманах *Поэзия* 30.1981, сс. 134–139.
8. Письма Тесковой, 15.2. и 29.3.1936.
9. Слоним, *op. cit.* № 104, сс. 167–168. На симпозиуме о М. Ц. в Лозанне в 1982 г. один участник сообщил, что по его справкам, наведенным в Междунар. социалистическом архиве в Амстердаме, поэма туда никогда не поступала. Есть возможность, что рукопись еще где-нибудь существует.

10. „Отец и его музей. 1933. Вторая часть, „Открытие музея”, была опубликована впервые в 1934 г. (*Встречи* № 2); первая, „Лавровый венок”, в 1965 г. (*Простор* № 10). Обе вместе, Избр. проза II, сс. 198–209 и М. Ц. Сочинения. Москва, 1980, II, сс. 7–27. Французский перевод до сих пор не появился.

11. Письмо Тесковой, 7.6.1936.

12. З. Шаховская. Отражения, с. 162.

13. Цветаева пишет в свою черновую тетрадь: „Трудно писать восторг – и любовь – и доверие, когда нет ни одного, ни другого, ни третьего, и вдобавок холод и дождь (июнь 1936). Но м. б. так и создаются – восторг, любовь, доверие – и вдобавок – хорошая погода?” (Избр. произв. с. 778.)

14. И продолжение: см. К. Вильчковский. Переписка М. Ц. с Анатолием Штейгером. *Опыты* № 5, сс. 40–45. – Письма М. Ц. А. Штейгеру *Опыты* 5, сс. 45–67; 7, сс. 8–18, 8, сс. 21–25. Одно письмо, по-видимому последнее, с конца сентября 1936: *Новый мир* 1969, № 4.

15. „Стихи сироте” № 6, 11.9.1936. Избр. произв. № 363.

16. Письмо Тесковой, 16.9.1936.

17. *Новый мир* 1969, № 4, сс. 209–210.

18. Письмо Иваску, 25.1.1937.

19. Victor Serge, M. Wullens, A. Rosmer: *L'assassinat politique et l'U.R.S.S. Crime a Lausanne. (La mort d'Ignace Reiss.)* – Paris: Tisne (1939).

Глава 26

1. Письма Тесковой, 26.1.1937 и Буниной, 11.2.1937.

2. „Стихи к Пушкину”. Избр. произв. № 324–329. Про эти стихи Цв. пишет Тесковой: „Совершенно не представляю себе, чтобы кто-нибудь осмелился их читать, кроме меня. Страшно-резкие, страшно-вольные, ничего общего с канонизированным Пушкиным не имеющие, и все имеющие – обратное канону. *Опасные стихи*. Отнесла их, для очистки совести, в редакцию Совр. Записок, но не сомневаюсь, что не возьмут – не могут взять. Они *внутренно* – революционны – так, как никогда не снилось тем, в России...” (26.1.1937).

3. См.: M. Wullens. *L'assassinat politique et l'URSS*. Paris, 1939, И Е. Poretsky. *Our own people*. London, 1969.

4. Письмо Тесковой, 2.5.1937.

5. Письмо Ходасевичу, 13.3.1937.

6. Для следующего см.: Poretsky, op. cit; *L'assassinat politique*, article: Victor Serge; – W. Krivitsky. *Agent de Staline*, Paris, 1940.

7. Gordon Brook-Shepherd. *The storm petrels*. London, 1977. Что касается Roland Jacques Abbiate, Andreas Razumovsky в своей книге: „Ein Kampf um Belgrad” приводит результат следствия швейцарской полиции: „Ж. Р. Аббиате, род. 1905 г., водил автомашину.

Он раньше жил в Индии, Лондоне, Мексико, Кубе и Соединенных Штатах как хозяин ресторана или гостиницы, как купец, учитель и т. д. Аббате был на службе у ГПУ. Ему было поручено следить за И. Рейссом". Автор сообщает, что в 1933/34 годах Аббате был хозяином Белградского ресторана "Petit Paris" и с этого места организовал покушение на югославского царя Александра.

8. Е. Извольская. Поэт обреченности, с. 158.
9. З. Шаховская. Отражения, с. 165.
10. М. Слоним. О М. Ц. *Новый журнал* № 104, сс. 171-172.
11. Н. Берберова. Курсив мой, с. 490.
12. Письмо Тесковой, 7.2.1938.

Глава 27

1. Письмо Тесковой, 23.5.1938.
2. „Стихи к Чехии. Сентябрь. № 8. Между 12 и 19 ноября 1938". Избр. произв. № 368.
3. Письмо Тесковой, 26.12.1938.
4. И. Одоевцева. Несостоявшаяся встреча. *Русская мысль* № 3148, 21.4.1977.
5. Письмо Тесковой, 24.11.1938.
6. Е. М. Федотова. Письма М. Ц. к Федотову. *Новый журнал* № 63, с. 163.
7. См. Ю. Иваск. Благородная Цветаева. М. Ц.: Лебединый стан -- Перекоп. Предисловие.
8. Письмо Тесковой, 31.5.1939.
9. М. Слоним. О М. Ц., *Новый журнал* № 104, сс. 173-174.
10. Письмо Тесковой, 12.6.1939 (последнее письмо).
11. „Стихи к Чехии. Март. № 8, 15.3. - 11.5.1939". Избр. произв. № 378.
12. И. Одоевцева. „М. Ц.: Неизданное" (рецензия). *Русская мысль* № 3115, 2.9.1976.

Глава 28

1. В. Швейцер. Возвращение домой. Цветаева в СССР 1939-1941. Выступление на Симпозиуме Марина Цветаева, Лозанна 30 июня - 3 июля 1982.
2. М. Ц. Неизданные письма, Париж, 1972.
3. Лидия Чуковская. Предсмертие. *Время и мы* 1982, № 66, сс. 202-231.
4. Неизд. письма, с. 629.
5. Д. Сеземан. М. Ц. в Москве. *Вестник Р. Х. Д.* № 128, сс. 177-179.

6. Неизд. письма, с. 630.
7. Там же, с. 633.
8. Marina Cvetajevova. *Hodina duse*. Praha, 1971, с. 9–10. Перевод с чешского.
9. См. письма к Н. Я. Москвину и Т. Н. Кваниной. *Вестник Р. Х. Д.* № 128, сс. 180–188.
10. Т. Кванина. Так было. *Октябрь* 1982, № 9, сс. 195–201.
11. В. Е. Ардов. Встреча Анны Ахматовой с Мариной Цветаевой. *Грани* № 76. 1970. сс. 110–114.
12. См.: Ардов, *op. cit.*; Н. Ильина. А. Ахматова в последние годы ее жизни. *Октябрь* 1977, № 2, сс. 126–127; Л. Чуковская. Записки об А. Ахматовой т. 2, сс. 373–374; А. С. Эфрон. Святое ремесло поэта. *Лит. обозрение* 1981, № 12, сс. 98–100.
13. Л. Чуковская. Записки об А. Ахматовой, т. 2, с. 534.
14. Там же, с. 373.
15. Неизд. письма, сс. 608–617.
16. П. Антокольский. Книга М. Ц. *Новый мир* 1966, № 4, и: Антокольский. Сочинения т. 4, с. 73.
17. О. Ивинская. В плену времени. Париж, 1978, с. 182.
18. Неизд. письма, с. 630.
19. *Литературная газета* № 41 (4899), 13.10.1982.
20. Неизд. письма, сс. 630–631.
21. *Вестник Р. Х. Д.* № 128, сс. 184–186; Т. Кванина. Так было, *op. cit.* сс. 198–199.
22. Кванина, там же.
23. Неизд. письма, сс. 617–618.
24. Там же, сс. 618–621.
25. *Новый мир* 1969, № 4, сс. 213–214.
26. С. Викентьев. Строки о сыне. *Родина* 1975, № 3.
27. М. Коряков. Марина Цветаева в Москве. *Новое русское слово* 4.7.1965.

Глава 29

1. О. Ивинская. В плену времени, сс. 179–180.
2. И. Эренбург. Люди, годы, жизнь, кн. 2, с. 378.
3. М. Слоним. Беседа с Паустовским. *Новое русское слово*, 10.3.1974.
4. М. Коряков. М. Ц. в Москве. *Новое русское слово*, 4.7.1965.
5. И следующее: М. Ц. Неизд. письма сс. 635–638.
6. Марина Цветаева. Земальска обележја. М. Николинич. Одговори М. Ц. 19–20 (Перевод с сербского).
7. В. В. (= В. Швейцер). Поездка в Елабугу. М. Ц. Неизд. письма, сс. 639–647.

8. Л. Чуковская. Предсмертие. *Время и мы* 1982, № 66, сс. 202–231.
9. Анастасия Цветаева. Воспоминания. Т. 2. Москва 1981, № 5, с. 146.
10. См. С. Викентьев. Строки о сыне. *Родина* 1975, № 3.
11. А. Эфрон. Из воспоминаний о Э. Г. Казакевиче. Воспоминания о Казакевиче. Москва, 1979, сс. 241–259.
12. Veronique Lossky. Marina Cvetaeva. Souvenirs de contemporains. *Wiener slawistischer Almanach*, Sonderband 3, S. 213–259.
13. См.: *Русская мысль*, 28.8.1975.

Глава 30

1. Л. Чуковская. Из книги „Записки об Анне Ахматовой”. Памяти А. А. Ахматовой. Париж, 1974, с. 48.
2. П. Антокольский. Книга М. Ц. *Новый мир* 1966, № 4, с. 223.
3. Б. Л. Пастернак. Из писем к жене. *Вестник Р. С. Х. Д.* № 106, 1972, сс. 222–223.
4. Н. Берберова. Курсив мой, с. 490.
5. А. Бахрах. Звуковой ливень. Русский сборник № 1, с. 183.
6. М. Ц. Проза. Вступ. статья Ф. Степун. Нью-Йорк, 1953.
7. Н. Андреев. Об особенностях и основных этапах развития русской литературы за рубежом. Русская литература в эмиграции, с. 28.
8. См.: Г. Струве. Русская литература в изгнании; Н. Полторацкий (изд.). Русская литература в эмиграции; Р. Гуль. „Новому журналу” 40 лет. *Русская мысль* № 3444, 23.12.1982.
9. Ю. Иваск. Благородная Цветаева. М. Ц. Лебединый стан, с. 15.
10. Simon Karlinsky. Marina Cvetaeva. Her life and art. Berkeley, 1966.
11. Иван Бунин. Воспоминания. Париж, 1950, с. 43.
12. Ю. Терапиано. Самоубийство и любовь. *Русская мысль*, 11.7.1964.
13. Г. Адамович. Невозможность поэзии. *Опыты* 9.1958, с. 45.
14. Г. Адамович. Памяти М. Цветаевой. *Новый журнал* № 102. 1971.
15. И. Эренбург. Поэзия М. Ц. Литературная Москва 11.1956, сс. 707–715.
16. *Литературная газета*, 22.5.1957.
17. И. Эренбург. Люди, годы, жизнь. Кн. 2.
18. Б. Пастернак. Три тени. Автобиогр. очерк. Сочинения, т. 2, сс. 45–48.
19. П. Антокольский. Книга М. Ц. *Новый мир* 1966, № 4, с. 213.

В собрании сочинений Антокольского (Т. 4, сс. 39–76) – этого абзаца нет.

20. См. Л. Чуковская. Записки об А. Ахматовой, т. 2, с. 466, 618.

21. Там же, с. 466.

22. АН СССР, Инст. Русской литературы. Поэтический строй русской лирики. Ленинград, 1973.

23. М. Цветаева. Сочинения в 2 томах. Москва: Худож. литература 1980.

24. М. Цветаева. Избранная проза в 2 томах. Russica. Нью-Йорк. Стихотворения и поэмы в 5 томах. Там же, 1980.

25. Т. Кванина. Так было. *Октябрь* 1982, № 9, с. 201.

БИБЛИОГРАФИЯ

Сокращения:

- Избр. произ. = М. Ц.: Избранные произведения. — Москва: Советский писатель 1965.
- Несобр. = М. Ц.: Несобранные произведения. — München: Fink 1971.
- НП = М. Ц.: Неизданные письма. — Париж: YMCA-Press 1972.
- Неизд. = М. Ц.: Неизданное. — Париж: YMCA-Press 1976.
- НМ = *Новый мир* 1969, № 4, сс. 185–214 (Письма Марины Цветаевой).
- Проза I. П. = М. Ц.: Избранная проза в 2 т. — New York: Russica Publishers 1979.
- Стихот. I. П. = М. Ц.: Стихотворения и поэмы в 5 т. — New York: Russica Publishers 1980 — .
- Соч. 80 I. П. = М. Ц.: Сочинения в 2 т. — Москва: Художест. Лит. 1980.

Библиографии:

- Гладкова, Т. Л., Мнухин, Л. А.: Марина Цветаева. Библиография. Bibliographie des oeuvres de Marina Tsvetaeva, établie par Tatiana Gladkova et Lev Mnukhin. Introd. de Véronique Lossky. — Paris 1982. (*Bibliothèque russe de l'Inst. d'Etudes Slaves*. Т. 61.)
- Мнухин, Л. А.: М. И. Цветаева. Библиографический указатель литературы о жизни и деятельности (1910–1928). *Wiener slawistischer Almanach*, Sonderbd. 3. S. 273–308.

Собрания сочинений:

- Избранная проза в двух томах, 1917–1937. Предис. Иосифа Бродского. Сост. и подгот. текста А. Сумеркина. — New York: Russica Publishers 1979.
- Стихотворения и поэмы в пяти томах. — New York: Russica Publ. 1980. Т. 1. Стихотворения 1908–1916. В. Швейцер: Своими путями (Биограф. очерк). И. Бродский: Об одном стихотворении (Вместо предисловия).

Избранные произведения:

- Проза. (Предисл. Ф. Степун). — Нью-Йорк: Изд. им. Чехова 1953.
- Избранное. Предисл., составление и подготовка Вл. Орлова. — Москва 1961.
- Избранные произведения. Вступ. статья Вл. Орлова. Составление, подгот. текста и примеч. А. Эфрон и А. Саакянц. — Москва—Ленинград: Советский писатель 1965. (*Библиотека поэта*).
- Несобранные произведения. Marina Ivanovna Cvetaeva: Ausgewählte Werke. Hrsg. v. Günther Wytzens. — München: Fink 1971. (*Slavische Propyläen*. 90.)
- Мой Пушкин. Вступ. статья Вл. Орлова. Подгот. текста и комментария А. Эфрон и А. Саакянц. — Москва: Советский писатель 1967. 3. изд., доп. 1981.
- Просто сердце. Стихи зарубежных поэтов в переводе Марины Цветаевой. Сост. А. Эфрон и А. Саакянц. Предисл. Вяч. Иванова. — Москва 1967. (*Мастера поэтич. перевода*. 7)
- Неизданное. Стихи, театр, проза. — Paris: YMCA—Press, 1976.
- Стихотворения и поэмы. 3. изд. Вступ. статья В. А. Рождественского. — Ленинград: Сов. писатель 1979. (*Библиотека поэта, малая серия*).
- Сочинения в 2 томах. Вступ. статья Вс. Рождественского, подгот. текста и коммент. Анны Саакянц. — Москва: Художеств. лит. 1980. Т. 1: Стихотворения, поэмы, драмат. произведения. Т. 2: Проза.
- Efim Etkind: Marina Cvetaeva. Französische Texte. In: Marina Cvetaeva, Studien und Materialien. *Wiener slawistischer Almanach*, Sonderbd. 3, S. 195—205.
- Стихи разных лет. Inter alia: Тарусские страницы, сс. 254—261; *Новый мир* 1965, № 3; *День поэзии* (Москва) 1965. 1966. 1968. 1976; *Вестник РХД* № 100. 114; *Альманах поэзии* 1978. 1980.

Произведения в хронологическом порядке:

- Вечерний альбом. Стихи. — Москва: Тип. Мамонтова 1910. Стихот. I, сс. 3—72.
- Волшебство в стихах Брюсова. 1910. Предисл. Анна Саакянц. *День поэзии* 1979, сс. 32—34.

- Волшебный фонарь. Вторая книга стихов. — Москва: Книгоизд. „Оле—Лукойе” 1912. Репринт: Париж: YMCA—Press 1979. Стихот. I, 75—134. Из двух книг. — Москва: Оле—Лукойе 1913. Репринт: Несоб. сс. 9—64.
- Юношеские стихи. 1913—31.12.1915. Неизд. сс. 3—92; Стихот. I, сс. 137—197.
- Версты. Стихи. Вып. 1. 1916. — Москва: Гос. издат. 1922. Репринт: Анн Арбор 1922; Стихот. I, 201—248.
- Стихотворения. 1915—1918. Неизд. сс. 95—133.
- Версты. Стихи. Изд. 2 (1917—1921). — Москва: Костры 1922. Репринт. Letchworth: Prideaux Pr. 1979.
- Октябрь в вагоне. Записи тех дней. Москва, октябрь—ноябрь 1917 г. *Воля России* 11/12, 1927; Несобр., сс. 667—677; Проза I, 21—28.
- Метель. Драматические сцены в стихах. 16—25 декабря 1918. *Звено* 1923. Избр. произв. № 389. — Letchworth 1978.
- Червонный валет. 1918. *Новый журнал* 115. 1974, сс. 20—40.
- Приключение. В 5 картинах. 25 декабря 1918—28.1.1919. *Воля России* 18. 1923; Избр. произв. № 390; Letchworth 1978.
- О любви. Из дневника. 1917 год. Москва 1918—19 г. *Дни*, 25.12.1925. Проза I, сс. 90—100.
- Вольный проезд. Москва, сентябрь 1918 г. *Соврем. записки* 21. 1924, сс. 247—278; Проза I, сс. 29—49.
- Мои службы. Воспоминания 11.11.1918—7.7.1919. *Соврем. записки* 26.1925. Проза I, сс. 50—71.
- Из дневника. (Смерть Стаховича). Москва, февраль—март 1919 г. *Последние новости*, 21.1.1926. Проза I, сс. 72—83.
- Каменный ангел. Пьеса. 14.6.—1.7.1919. (Посвящение: „Сонечке Голлидей — Женщине — Актрисе — Цветку — Героине”). Неизд., сс. 135—201.
- Конец Казановы. Драматический этюд. (1919). В расширенном варианте под названием „Феникс”: *Воля России* № 8—9. 1924, сс. 17—84.
- Фортуна. Пьеса в 5 картинах, в стихах. 1919. *Соврем. записки* № 14”. 1923, сс. 145—167.
- О благодарности. Из дневника 1919 года. Москва, июль 1919 г. *Благонамеренный* 1926, № 1. Проза I, сс. 101—105.
- Отрывки из книги „Земные приметы”. Москва 1919 г. *Воля России* 1924, № 1/2. Проза I, 106—122.
- О Германии. Выдержки из дневника 1919 г. Несобр., сс. 469—479; Проза I; сс. 123—131.

- Из дневника. Москва 1918–19 г. Стихот. II, сс. 325–332.
- Чердачное. Из московских записей 1919/20 г. *Дни*, 25.12.1924. Проза I, сс. 82–89.
- Царь-Девница. Поэма-сказка. 14.7.–17.9.1920. – Берлин: Эпоха 1922; Репринт: Letchworth 1971. Избр. произв. № 382.
- Стихи к Блоку. (1916–1921). – Берлин: Огоньки 1922. Репринт: Letchworth 1978. Соч. 80 I, сс. 72–81. Избр. произв. № 51–66.
- Лебединый стан. Стихи 1917–21 гг. Пригот. к печати Г. П. Струве. С вступ. статьей Ю. П. Иваска. – (Мюнхен) 1957. 2 изд.: Paris: YMCA-Pr. 1971; Стихот. II, сс. 59–91.
- Егорушка. (Фрагмент). Публ. Ариадны Сергеевны Эфрон. 1920–21. *Новый мир* 1971, № 10, сс. 119–131.
- На красном коне. 13. – 17.1.1921. Первая публикация в книге „Разлука”. Избр. произв. № 383.
- Разлука. Май 17 июня 1921. – Берлин: Геликон 1922. Репринт: Несобр. сс. 139–148; Paris: Lev 1978.
- Ремесло. Апрель 1921 – апрель 1922. – Берлин, Москва: Геликон 1923. Репринт: Несобр., сс. 115–278; Ann Arbor: Ardis 1979; Стихот. II, сс. 95–172.
- Автобиография. 1922. *Воздушные пути* 5.1967, с. 295.
- Переулочки. Апрель 1922, Москва. В книге „Ремесло”. Несобр. сс. 259–272; Соч. 80 I, сс. 355–365; Стихот. II, сс. 174–183.
- Психея. Романтика. – Берлин: Гржебин 1923. Paris: Lev 1979; Стихот. II, сс. 29–44.
- Световой ливень. Поэзия вечной мужественности. Берлин 1922: *Эпопея* 1922, № 2, сс. 10–33. Репринт: London: Iskander Pr. 1969.
- Молодец. Сказка. Прага, сочельник 1922 г. – Прага 1924: Пламя. Несобр. сс. 279–381; Letchworth 1971.
- Кедр. Апология. Прага, январь 1923 г. *Записки наблюдателя* 1924. Проза I, сс. 149–170.
- Поэма горы. 1.1.–1.2.1924. Прага. Гора. *Версты* I, Париж 1926. Избр. произв. № 384; Соч. 80 I, сс. 366–373 („Прага. Смиховский холм. Декабрь 1939. Голицыно, Дом писателей”).
- Поэма конца. Прага, 1.2.1924 – Йиловище 8.6.1924. *Ковчег* I., Прага 1925. Избр. произв. № 385; Соч. 80 I, 374–395.
- Ариадна. Трагедия. Весна 1923–октябрь 1924. (Сначала: „Тезей”). *Версты* II, Париж 1927. Избр. произв. № 391; Letchworth 1978.
- Крысолов. Лирическая сатира. Прага, март – ноябрь 1925, Париж. *Воля России* 1925, № 4–8. 12, 1926 № 1. Сокращенный текст: Избр. произв. № 386; Letchworth 1978, Canto 1+2: *Новый мир* 1965, № 3. Полный текст с параллельным немецким перево-

- дом: М. Ц.: Крысолов. *Der Rattenfänger. Wiener slawist. Almanach*, Sonderbd. 7.
- Бальмонту. К 30-летию поэтического труда. Прага, 25.4.1925. *Своими путями* 1925, № 5; Проза I, сс. 171–175.
- Герой труда. Лето 1925. *Воля России* № 9. 10.1925; Проза I, сс. 176–220.
- „Родина не есть условность территории”. Прага 1925. *Своими путями* 1925, 8/9. Проза II, сс. 305–306.
- Возрожденщина. Прага, 8.10.1925. *Дни*, 16.10.1925. Проза II, сс. 307–309.
- После России. (Стихи) 1922–25. — Париж 1928. Репринт: Париж: YMCA-Pr. 1976.
- Поэт о критике. Париж, начало 1926 г. *Благонамеренный* 1926, № 3/4. Несобр. сс. 584–615; Проза I, сс. 221–241.
- Цветник. „Звено” за 1925 г. „Литературные беседы” Г. Адамовича. Начало 1926. *Благонамеренный*. Проза I, сс. 242–250.
- С моря. Вандея, St. Gilles-sur-Vie, май 1926 г. *Версты* III. 1928. Несобр. сс. 531–537.
- Попытка комнаты. St. Gilles-sur-Vie, 6.6.1926. *Воля России* 1928 № 3, Несобр. сс. 538–545.
- Лестница. Июль 1926. *Воля России* 1926, № 11. Сокращено: Поэма лестницы. Избр. произв. № 387, Соч. 80 I, сс. 396–409.
- Новогоднее. Bellevue, 7-го февраля 1927 г. *Версты* III. 1928. Несобр. сс. 480–485. Стихот. I, сс. 263–267.
- Твоя смерть. Bellevue, 27.2.1927. *Воля России* 1927, № 5/6. Несобр. сс. 487–511. Проза I, сс. 251–267.
- Поэма воздуха. Медон, в дни Линдберга (1927). *Воля России* 1930, № 1. Несобр. сс. 552–562.
- Федра (Тезей, ч. 2). Трагедия. (1926–27) *Соврем. записки* 36.37/1928. Соч. 80 I, сс. 423–482; Несобр. сс. 383–460.
- Красный бычек. Медон, апрель 1928 г. *Воля России* 1928, № 12. Несобр. сс. 547–550.
- Перекоп. Поэма. 1.8.1928–15.5.1929. *Воздушные пути* 5.1967. 2-е изд. Paris YMCA-Pr. 1971.
- Несколько писем Райнер-Мариа Рильке. Медон, февраль 1929 г. *Воля России* 1929, № 2. Несобр. сс. 513–520; Проза I, сс. 268–273.
- Наталья Гончарова. Жизнь и творчество. (1929). *Воля России* 1929, № 5–9. Проза I, сс. 283–340.
- Маяковскому. Савойя. Август 1930 г. *Воля России* 1930, № 2. Несобр. сс. 564–571; *День поэзии* 1967, с. 231.

- Сибирь. Медон, 1930 г. *Воля России* 1931, № 3/4. Несобр. сс. 573–578; Соч. 80 I, сс. 410–414.
- О новой русской детской книге. Февраль 1931 г. *Воля России* 1931, № 5/6; Проза II, сс. 310–313.
- История одного посвящения. Медон, апрель – май 1931 г. Oxford Slavonic Papers vol 11. 1964, p. 114–136. Проза I, сс. 341–366; Соч. 80 II, сс. 159–189.
- Стихи к Пушкину. (Июль 1931 г.). *Соврем. записки* № 63–64. 1937. Избр. произв. № 324–329. „Мой Пушкин”, Москва.
- Ода пешему ходу. Meudon, 26.8.1931. Первая публикация: „Избранное”, М. 1961; Избр. произв. № 330.
- Искусство при свете совести. 1931–32. *Соврем. записки* 50–51. 1932. Репринт: М. Ц.: Световой ливень, London 1969, сс. 42–80; Проза I, сс. 381–406.
- Поэт и время. Медон, январь 1932. *Воля России* 1932, № 1/3. Несобр. сс. 617–636; Проза I, сс. 367–380.
- Isi-haut. Из цикла памяти Максимилиана Волошина. (1932). *Встречи* 1334, № 4/5. Несобр. сс. 579–581.
- Живое о живом. (Волошин). Кламар, 27 февраля 1933. *Соврем. зап.* 52. 1933. 53. 1933. Проза II, сс. 27–79; Соч. 80 II, сс. 190–254.
- Эпос и лирика современной России. Влад. Маяковский и Борис Пастернак. Кламар, декабрь 1932 г. *Новый град* 1933, № 6/7. Проза II, сс. 7–26; соч. 80 II, сс. 399–423.
- Башня в плюще. 1933 год. *Последние новости* 16.7.1933. Проза II, сс. 191–197; Соч. 80 II, сс. 28–37.
- Отец и его музей. 1933. (т. 1): Лавровый венок. Пер. с франц. А. С. Эфрон. *Простор* 1965, № 10, *Русская мысль* 9.11.1978. (т. 2): Открытие музея. *Встречи* 1934, № 2. Проза II, сс. 198–209, Соч. 80 (сокращ.) : II, сс. 7–27.
- Песни са историјом и песници без историје. Кламар, I. јула 1933. *Руски архив* 1934, № 26/27, с. 104–142. Пер. с сербск. Соч. 80 II, сс. 424–457: „Поэты с историей и поэты без истории”. Перевод О. Кутасовой.
- Дом у Старого Пимена. Кламар, август-октябрь 1933. *Соврем. записки* 54. 1934. Неизд. письма, прил. II. Проза II, сс. 215–246, Соч. 80 II, сс. 38–76.
- Жених. Сентябрь 1933. *Звезда* 1970, № 10. Проза II, сс. 210–214.
- Два лесных царя. Ноябрь 1933. *Числа* 1934, № 10. Проза II, сс. 314–318; Соч. 80 II, сс. 458–464.

- Пленный дух. Моя встреча с Андреем Белым. (Начало марта 1934). *Современ. записки* 55, 1934. Проза II, сс. 80–121; Соч. 80 II, сс. 255–313.
- Автобус. Апрель 1934 – июнь 1936. Избр. произв. № 388. Соч. 80 I, сс. 415–420.
- Страховка жизни. Июнь 1934. *Последние новости* 3.8.1934. Проза I, сс. 409–414; Соч. 80 II, сс. 85–93.
- Хлыстовки. 1934. *Встречи* № 6. 1934, сс. 243–48. Проза II, сс. 145–150. Под титулом „Кирилловны”: Тарусские страницы, 1961, сс. 252–254; Соч. 80 II, сс. 77–84.
- Mon frère féminin. Lettre à l'amazone. (1932–34). Note de Ghislaine Limont. – Paris: Mercure de France 1979. (Русский текст – оригинал или перевод – пока не появился в печати.)
- Случай с лошадьми. Подлинный факт. 1934. Оригинал на французском языке пока в печати не появился. Русский перевод, одобрен А. С. Эфрон: Проза II, сс. 325–328.
- Китаец. 1934. *Последние новости* 24.10.1934. Проза I, сс. 415–420.
- Мать и музыка. 1934. *Соврем. записки* 57. 1935. Проза II, сс. 172–190; Соч. 80 II, сс. 94–119.
- Сказка матери. Elancourt – сентябрь – Clamart 30 октября – 1 ноября 1934. *Последние новости* 17.2.1935. Проза II, сс. 167–171; Соч. 80 II, сс. 120–126.
- Песник алпинист. Кламар, на Божич 1934. *Руски архив* 1935, № 32/33. Сокращенный русский текст „Последний подарок”, Кламар, Рождество 1934: *Воздушные пути* 5.1967. Проза II, сс. 122–130.
- Надгробное (Памяти Гронскому). 3.1.–8.2.1935. *Соврем. записки* (сокращ.) 58. 1935. Избр. произв. № 348–52. Соч. 80 I, сс. 324–28.
- Чорт. Ванв, 19 июня 1935. *Соврем. записки* 59. 1935. Соч. 80 II, сс. 127–155.
- Чорт. Вставки, пропуски. Послел. Робин Кембалл. *Русский альманах*, Париж 1981, сс. 21–38.
- Певица. 1935. Публикация Е. Коркиной. *Альманах Поэзия*, Москва, 1981, сс. 134–139.
- О книге Н. П. Гронского, Стихи и поэмы. 1936. *Современные записки* 61. Проза II, сс. 319–321.
- Reč o Baljmontu. (Povodom 50-godišnjice književničke delatnosti). April 1936. *Ruski arhiv, Beograd*, Nr. 38/39. 1936. „Слово о Бальмонте”, пер. с сербскохорв. В. Блиновым: Проза II, сс. 329–337; перевод О. Кутасовой: Соч. 80 II, сс. 314–324.

- Мундир. 1936. Оригинал, на французском языке, в печати еще не появился. В переводе А. С. Эфрон: *Звезда* 1970, № 10. Проза II, сс. 342–344; Соч. 80 II, сс. 22–25.
- Лавровый венок. 1936. В переводе А. С. Эфрон: *Звезда* 1970, № 10. Оригинал, на французском языке, в печати еще не появился. Проза II, сс. 345–346; Соч. 80 II, сс. 25–27.
- Шарлоттенбург. 1936. Оригинал, на французском языке, в печати еще не появился. В переводе А. С. Эфрон: *Звезда* 1970, № 10. Проза II, сс. 338–341; Соч. 80 II, сс. 18–31.
- Нездешний вечер. Март–май 1936. *Соврем. записки* 61. 1936. Проза II, сс. 131–141.
- Стихи сироте. 16 августа – 20 октября 1936. *Соврем. записки* 66. 1938. Избр. произв. № 358–364; соч. 80 I, сс. 333–336.
- Мой Пушкин. Осень 1936. *Соврем. записки* 64. 1937. „Мой Пушкин”. Проза II, сс. 249–279; Соч. 80 II, сс. 327–367.
- Пушкин и Пугачев. Ванв 1937. *Русские записки* 11. 1937. „Мой Пушкин”. Проза II, сс. 280–302; Соч. 80, II, с. 368–396.
- Повесть о Сонечке. Ласапau-Осéап, лето 1937. Ч. 1: *Русские записки* № 3. 1938, сс. 36–103. Ч. 1+2: Неизд. сс. 205–362; *Новый мир* 1976, № 3, сс. 170–206 (ч. 1), там же 1979, № 12, сс. 68–118 (ч. 2).
- Письмо детям. Зима 1937/38. *Новый мир* 1969, № 4, сс. 210–211.
- Стихи к Чехии. 1938/1939. Ч. 1: Сентябрь, ч. 2: Март. Избр. произв. № 367–381. Репринт: М. Ц.: Световой ливень, Лондон 1969. Соч. 80 I, сс. 338–352.
- Můj životopis. Zima 1939/40. In: J. Stroblová: *Hodina duše*. Praha 1971. Русский оригинал в печати еще не появился.
- Из записной книжки. 23.4.1939 – 24.10.1940. Неизд. письма сс. 627–634.

Письма:

С б о р н и к и:

- М. Ц.: Письма. Публикация, подг. текста и вступ. заметки А. С. Эфрон. Комментарии А. А. Саакянц. *Новый мир* 1969, № 4, сс. 185–214.
- М. Ц.: Неизданные письма к Эллису... под общ. ред. проф. Г. Струве и Н. Струве. – Paris: YMCA-Pr. 1972.

Письма М. Цветаевой (опубликованы до конца 1982 г.):

Г. В. Адамовичу, 31.3.1933. НП сс.385–390.

Дону Аминадо, 31.5.1938. НМ сс. 211–213.

Саломее Андроникиной-Гальперн, 12.8.1932. *День поэзии*, Москва 1980. сс. 139–130. (Переписка еще не опубликована.)

А. А. Ахматовой, 26.4. и 31.8.1921: НП и НМ; 12.11.1926: НП. сс. 377–378.

А. В. Бахраху, 9.5.1923–29.6.1928: *Мосты* 5.1960, сс. 304–318; 6.1961, сс. 319–346.

В. Я. Брюсову, 15.3.1910: НМ с. 186.

В. Н. Буниной, 20.3.1928 – февраль 1937: НП сс. 393–527.

Шарлю Вильдраку (Charles Vildrac), 1930 г.: НМ сс. 203–205.

Максимилиану Волошину; 23.12.1910–10.1.1912, примеч. И. Кудровой: *Новый мир* 1977, № 2, сс. 231–246.

Максимилиану Волошину; 23.12.1910–10.5.1923, публ. В. П. Купченко: *Ежегодник Рукопис. отд. Пушкинского Дома* 1975, сс. 151–185.

В. В. Гольцеву 2.2.1940–26.2.1940: *Вестник Р. Х. Д.* 128. 1979, сс. 189–191.

Максиму Горькому, август 1927 – октябрь 1927: НМ сс. 200–201.

Из писем Н. П. Гронскому, август–сентябрь 1928: НМ сс. 202–203. (Переписка еще не опубликована, хранится в ЦГАЛИ.)

Р. Б. Гулю, 12.11.1922–11.8.1924: *Новый журнал* 58. 1959, сс. 169–189.

В. К. Звягинцевой, 18.9.1919–20.10.1920: *Russian literature*, IX–IV, 15.5.1981, р. 323–356.

Ю. П. Иваску, 4.4.1933–27.2.1937: Русский литературный архив, Нью-Йорк 1956, сс.207–237.

Ю. П. Иваску, 27.2.1937 (конец последнего письма): *Вестник Р.Х.Д.* 128. 1979, сс. 175–176.

М. Л. Кантору, 23.5.1934: НП сс. 391–392.

Т. Н. Кваниной, 17.11.1940–25.5.1941: *Вестник Р. Х. Д.* 128. 1979, сс. 184–188 и: *Октябрь* 1982, № 9, сс. 195–201.

А. С. Кочеткову, 10.16.1941: НП с. 621.

М. И. Кузнецовой, 16.3.1921: НП сс. 49–50.

Е. М. Куприной, 21.1.1926: Куприна, К. А.: *Куприн – мой отец.* Москва 1971, с. 161.

Евгению Ланну, 6.12.1920–10.9.1921: *Wiener slawistischer Almanach*, Sonderbd. 3, р. 161–194.

- Р. Н. Ломоносовой, 1928–1931 – (в печати).
- В. В. Маяковскому, 3.12.1928: Катанян: Маяковский, Лит. хроника, с. 367.
- В. А. Меркурьевой, 20.2.1940–31.8.1940: НП сс. 605–614.
- В. В. Морковину, 15.5. и 27.5.1938: *Вопросы литературы* 1967, № 1, сс. 254–255.
- Н. Я. Москвину, 9/22.3. и 28.3.1940: *Вестник Р. Х. Д.* 128.1979, сс. 180–184.
- О. А. Мочаловой, 20.5.–31.5.1940: НП сс. 614–617.
- Е. Ф. Никитиной, 22.1.1922: НП сс. 51–52.
- Б. Л. Пастернаку: 29.6.1922–9.2.1927: НП сс. 263–337; 11.2.1923–октябрь 1935: НМ сс. 194–198; 10.2.1923: *Вестник Р. Х. Д.*, 128.1979, сс. 169–174.
- Б. Л. Пастернаку: Переписка в 1926 г.: *Вопросы литературы* 1978, № 4, сс. 233–280.
- Л. О. Пастернаку, 29.7.1922–30.3.1928: НП, сс. 249–262; НМ с. 202.
- Р. М. Рильке (Rilke), 9.5.–7.11.1926: *Zeitschrift für slavische Philologie* 41.1980, Nr. 1, p. 146–173.
- В. В. Розанову, 7.3.194–18.4.1914: НП сс. 21–39; письмо № 2 тоже НМ сс. 186–189.
- В. В. Рудневу: *Новый журнал* № 133. 1978, сс. 191–207.
- Евг. Сомову (конец 40 – нач. 1941 г.): НП сс. 617–618.
- В. Б. Сосинскому, 14.7.1938: НП сс. 229–248; дополнительные страницы и письмо от 11.5.1926: *Вестник Р. Х. Д.* 114. 1974, сс. 207–214.
- Г. П. Струве, 30.6.1923–29.11.1925: *Мосты* 13/14. 1968, сс. 395–398.
- Анне Тесковой, 2/15.11.1922–12.6.1939. – Praha: Academia 1969.
- Анне Тесковой, (Выдержки): „Чувство требует силы”, публ. А. Саакянц: *Огонек* 1981, № 33.
- Н. С. Тихонову, 6.7.1935: *Wiener slavistischer Almanach*, Sonderbd. 3, p. 209–211.
- Открытое письмо А. Н. Толстому, 3.6.1922: *Russica* '81, p. 347–349.
- Н. А. Тэффи, октябрь 1932: НМ с. 205.
- Г. П. Федотову, 16.5.1932–24.5.1933: *Новый журнал* 63.1961, сс. 162–172.
- В. Ф. Ходасевичу, публ. С. Карлинского, 12.7.1933–13.3.1937: *Новый журнал* 89. 1967, сс. 102–114; 15.4. – май 1934: НМ, сс. 205–207.
- А. И. Цветаевой, 17.12.1920; 3.5.1928: НП сс. 41–48; сс. 381–384.

- Черновой-Колбасиной О. Е. и ее дочери Ариадне, 21.7.1924–26.10.1925: НП сс. 65–228; 4.1.1925–11.12.1926: *Wiener slavistisches Jahrbuch* 22. 1976, p. 109–115.
- Е. Черносвитовой, около 15.1.1927: НМ сс. 199–200.
- Л. Е. Чириковой, 4.8.1922 – ноябрь 1926 (! recte 1925): *Новый журнал* 124. 1976, сс. 140–151.
- З. А. Шаховской, 18.5.1936–21.9.1936: *Новый журнал* 87.1967, сс. 135–141, и Шаховская: Отражения, сс. 169–175.
- Д. А. Шаховскому, 6.10.1925–18.5.1926: НП сс. 339–376. Последнее письмо от 1.6.1926 и письма Шаховского: Архиепископ Иоанн Шаховской: Биография юности сс. 403–418.
- Льву Шестову, 25.1.1926–31.7.1927: *Вестник Р. Х. Д.* 129. 1979, сс. 124–130.
- А. С. Штейгеру, 29.7.–17.8.1936: *Опыты* 5, сс. 45–67; 7, сс. 8–18; 8, сс. 21–25. Письмо от 1.9.1936: НМ сс. 208–210.
- Эллису (1909) и 12.12.1910: НП сс. 9–20.
- А. С. Эфрон: весна 1941 г.: НМ сс. 213–214, 12.4.1941: НП сс. 618–621.

ДОПОЛНЕНИЕ К БИБЛИОГРАФИИ

- Ванечкова, Галина: Десяносто лет со дня рождения М. Ц. *Ruština v teorii a v praxi* 1982, Nr. 4, p. 13.
- Ванечкова Галина: Символ „рябина” в поэзии М. Ц. и его перевод. *Československá rusistika* 27.1982, Nr. 5, p. 197–201.
- Кудрова, Ирма: Лирическая проза М. Ц. *Звезда* 1982, № 10, сс. 172–183.
- М. Cvetaeva, B. Pasternak, R. M. Rilke: *Il settimo sogno – Lettere 1926*. A cura di S. Vitale. – Milano: 1980.
- France, Peter: *Poets of modern Russia*. – Cambridge U. Pr. 1982, p. 132–158.
- Maciejewski, Zbigniew: Proza Maryny Cwietajewej jako program i portret artysty. *Lubelskie tow. naukowe, Monografie* t. 13.
- Montagnani, L.: *Il mito Natal'ja Gončarova*. In: M. C.: Natal'ja Gončarova. – Milano: 1982.
- Spendel, Giovanna: *Introduzione a M. C.: Il racconto di Sonečka*. – Milano: 1982.
- Vitale, Serena: *Una malattia inguaribile*. In: M. C.: *Indizi terrestri*. – Milano: 1980.

- Vitale, Serena: Su tracce a ritroso. In: M. C.: Lettera all'Amazzone. — Milano: 1981.
- Vaněčková, Galina: Marina Cvetajevová v Československu. *Sovětská literatura* 1982, Nr 10, p. 166.
- Zveteremich, Pietro: Simposio à Losanna per Marina Cvetaeva. *Nuova Rivista Europea* 6.1982, no. 31, p. 91–95.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Адамович, Г. В.: Из старых тетрадей. О Цветаевой. *Мосты* 15.1970, сс. 165–168.
- „ Комментарии. — Washington: V. Kamkin 1967.
- „ Мои встречи с Анной Ахматовой. *Воздушные пути* 5. 1967, сс. 99–114.
- „ Невозможность поэзии. *Опыты* 9.1958.
- „ Памяти Марины Цветаевой. *Новый журнал* 102. 1917.
- „ Пастернак и Цветаева. С магнитофонной записи. *Русская мысль* № 3331, 23.10.1980.
- „ Темы. *Воздушные пути* 1.1959, с. 47.
- Азадовский, К. М. и Е. В. Пастернак (изд.): Из переписки Рильке, Цветаевой и Пастернака в 1926 году. *Вопросы литературы* 1978, № 4, сс. 233–280.
- Андреев, Николай Ефремович: Об особенностях и основных этапах развития русской литературы за рубежом. *Русская литература в эмиграции*, Питтсбург 1972, сс. 15–38.
- „ О русской литературной Праге. *Русский альманах*, Париж 1981, сс. 332–350.
- Антокольский, П. Г.: Книга Марины Цветаевой. *Новый мир* 1966, № 4, сс. 213–224. То же, перераб. и с сокращ. Собрание сочинений, Москва 1973, т. 4, сс. 39–76.
- „ Проза и память. (О книге А. И. Цветаевой). *Новый мир* 1972, № 6, сс. 250–254.
- Антология. — Москва: Мусaget 1911.
- Ардов, В. Е.: Встреча Анны Ахматовой с Мариной Цветаевой. *Грани* 76. 1970, сс. 110–114.
- Ахматова, Анна: Мандельштам. (Листки из дневника). *Воздушные пути* 4. 1965, сс. 23–43.
- Бальмонт, К. Д.: Где мой дом? Очерки (1920–23). — Прага 1924.
- „ Марина Цветаева. *Современные записки* 1921, № 7, с. 92.

- Бахрах, А. В.: Марина Цветаева и ее дочь. *Русская мысль* № 3263, 5.7.1979.
- „ Звуковой ливень. *Русский сборник*, Париж 1946, с. 183–186.
- „ Марина Цветаева в Париже. *Русская мысль* № 3287, 20.12.1979.
- Бахрах, А. В.: По памяти, по запискам. Андрей Белый. *Континент* № 3. 1975, сс. 288–321.
- „ Письма Марины Цветаевой. *Мосты* 5. 1960, сс. 299–304.
- Белый, Андрей: Воспоминания о А. А. Блоке. *Эпопея* № 1–4, Москва/Берлин 1922/23. Репринт: München: Fink 1969. (*Slavische Propyläen*. 47)
- „ Из воспоминаний. *Беседа* № 2, Берлин 1923, сс. 83–127. (Продолжение воспоминаний о Блоке).
- „ Между двух революций. — Chicago: Russian language spec. 1966.
- „ Начало века. 2-е изд. — Chicago: Russian language specialities 1966.
- Берберова, Н. Н.: Курсив мой. — München: Fink 1972. (*Centrifuga*. 3.)
- Бродский, Иосиф: Об одном стихотворении (Вместо предисловия). М. Ц.: Стихотворения и поэмы в 5 т. — New York: Russica Publ. 1980 — I, сс. 39 — 80 .
- Брюсов, В. Я.: Новые сборники стихов. *Русская мысль* 1911, № 2. Сегодняшний день русской поэзии. 50 сборников стихов 1911–1912. *Русская мысль* 1912, № 7.
- Бунин, И. А.: Воспоминания. — Париж 1950.
- „ Автографические заметки. Под серпом и молотом. — Лондон: *Заря* 1975.
- Варунц, В.: Единственный справочник: собственный слух. *Звезда* 1979, № 4, сс. 194–197.
- Варшавский, В. С.: Монпарнасские разговоры. *Русская мысль* № 3148, 21.4.1977.
- „ Незамеченное поколение. — Нью-Йорк: Изд. им. Чехова 1956.
- Вейдле, В. В.: О поэтах и поэзии. — Paris: YMCA-Pr. 1973.
- „ Проза Цветаевой. *Опыты* 4. 1955, сс. 73–74.
- Величковская, Тамара: О Марине Цветаевой. *Возрождение* № 140. 1963, сс. 45–56.
- Викентьев, С.: Строки о сыне. *Родина* 1976, № 3, сс. 28–29.
- Вильчковский, Кирилл: Переписка Марины Цветаевой с Анатолием Штейгером. *Опыты* 5. 1955, сс. 40–45.

- Вишняк. М. В.: „Современные записки“. — Bloomington 1957.
- Волконский, С. М., князь: Быт и бытие. — Берлин: Медный всадник 1924. Репринт: Париж 1978.
- Волосов, В. М., И. В. Кудрова: Письма М. Ц. Евгению Ланну. *Wiener slawistischer Almanach*, Sbd. 3, p. 162–194.
- Гендлин, Леонард: Марина Цветаева. *Русская мысль* № 2906, 3.8. 1972.
- Герцык, Евгения К.: Воспоминания. — Paris: YMCA-Pr. 1973.
- Гиппиус, З. Н.: Письма к Берберовой и Ходасевичу. Ed. by Erika Freiburger-Sheiksoleslami. — Ann Arbor: Ardis 1978.
- Гладкова, Т. Л., Л. А. Мнухин: Марина Цветаева. Библиография. *Bibliographie des oeuvres de Marina Tsvetaeva*. — Paris: Institut d'Etudes slaves 1982. (*Bibliothèque russe*. Т. 61).
- Гольдштейн, Михаил: Московский „Огонек“ освещает Марину Цветаеву. *Русская мысль* № 3284, 29.11.1979.
- Горький и советские писатели. Неизданная переписка. — Москва 1963. (*Литературное наследство*. 70).
- Гуль, Р. Б.: „Новому журналу“ 40 лет. *Русская мысль* № 3444, 23.12. 1982.
- „ Цветаева и ее проза. *Новый журнал* № 37, сс. 129–140.
- „ Я унес Россию. Ч. 2. *Новый журнал* № 134–136, 144. 145. 147. 148.
- Гумилев, Н. С.: Собрание сочинений в 4 томах. — Washington 1968. Т. 4: Статьи и заметки о русской поэзии.
- Д-в: Вечер Марины Цветаевой. *Дни* 6.2.1926.
- Ежов, И. С., Е. И. Шамурин: Русская поэзия XX века. — Москва: „Новая Москва“ 1925.
- Еленев, Н. А.: Кем была Марина Цветаева? *Грани* № 39, 1958, сс. 141–159.
- Жернакова-Николаева, Александра: Цветаевский дом. *Русская мысль* 23. и 26.3.1963.
- Забезинский, Георгий: Вулканическая бунтарка. *Современник* (Торонто) 1962, № 6, сс. 57–67.
- Зайцев, Б. К.: Далекое. — Washington: Inter-Language lit. Ass. 1965.
- Иванов, Вячеслав И.: Свет вечерний. — Oxford 1962.
- Иваск, Ю. П.: Благородная Цветаева (Предисл.) — М. Цветаева: Лебединый стан. — Мюнхен 1957 и Paris: YMCA-Pr. 1971.
- „ Диалог с М. Цветаевой. *Русская мысль* № 3423, 29.7.1982.
- „ Прощание с Мариной Цветаевой. Рождество 1938. *Русская мысль* № 3225, 12.10.1978.
- „ О читателях Цветаевой. *Новое русское слово*, 30.6.1957.

- Ивинская, О. В.: В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком. — Paris: Fayard 1978.
- Извольская, Е. А.: Поэт обреченности. *Воздушные пути* 3.1963, сс. 150–160.
- „ Тень на стенах. *Опыты* 3. 1954, сс. 153–159.
- Ильина, Наталия: Анна Ахматова в последние годы ее жизни. *Октябрь* 1977, № 2, сс. 107–134.
- История гос. ордена Ленина Библиотеки СССР им. В. И. Ленина за 100 лет, 1862–1962. — Москва: Изд. Библиотеки 1962.
- Каннак, Евгения: Воспоминания о „Геликоне”. *Русская мысль*, 17.1.1974.
- Карлинский, С. А.: Новое издание стихов М. Ц. *Новый журнал* 84. 1966, сс. 295–300.
- „ Новое об эмигрантском периоде М. Ц. (по материалам переписки с А. А. Тесковой). *Русская литература в эмиграции*, сс. 209–214.
- „ Письма М. Цветаевой к В. Ходасевичу. *Новый журнал* № 89. 1967, сс. 102–109.
- Катанян, В.: Маяковский. Литературная хроника. — Москва 1961.
- Кашин, А. А.: Долг поэта. *Грани* 21. 1954, сс. 158–159.
- Кванина, Т. Н.: Так было. *Октябрь* 1982, № 9, сс. 195–201.
- Кембалл, Робин: „Ни с теми, ни с этими”. Тернистый путь М. Ц. Одна или две русских литературы? сс. 41–51.
- Клевенский, М. М.: История Библиотеки Московского публичного Румянцевского Музея 1862–1917 гг. — Москва 1953.
- Ковалевский, П. Е.: Зарубежная Россия. — Париж: Libr. des 5 continents 1971.
- Ковчег*. Сборник Союза русских писателей в Чехословакии. Под ред. Вал. Булгакова, С. В. Завадского, Марины Цветаевой. — Прага: Legiografie 1926.
- Кодрянская, Наталия: А. Ремизов. — Paris 1959.
- Кондратович, Алексей: Твардовский и Цветаева. *Альманах Поэзия*, Москва, № 30. 1981, сс. 129–133.
- Коркина, Е. Б.: Об архиве Марины Цветаевой. *Встречи с прошлым*. Сборник материалов ЦГАЛИ. 4.1982, сс. 419–452.
- Коряков, Михаил: Листки из блокнота. Марина Цветаева в Москве. *Новое русское слово*, 4.7.1965.
- Кудрова, И. В.: „Если душа родилась крылатой”. *Север* 1977, № 6, сс. 108–121.
- „ Листья и корни. *Звезда* 1976, № 4.
- „ Письма М. Ц. к Максимилиану Волошину. *Новый мир* 1977, № 2, сс. 231–236.

- Кудрова, И. В.: Полгода в Париже. К биографии Марины Цветаевой. *Wiener slaw. Almanach*, Sonderbd. 3, p. 129–159.
- Куприна, К. А.: Куприн — мой отец. — Москва: Сов. Россия 1971.
- Купченко, В. П.: Остров Коктебель. — Москва 1981 (*Библиотека „Огонек“* № 37. 1981).
- „ М. Ц., письма к М. А. Волошину. Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома 1975, сс. 151–157.
- Левин, Л. И.: Четыре жизни. Хроника трудов и дней Павла Антокольского. Изд. 2, доп. — Москва: Сов. писатель 1978.
- Летопись жизни и творчества М. Горького. — Москва: АН 1959. Т. 3.
- Литературная Москва. Лит.—художест. сборник Московских писателей. 2. — Москва 1956.
- Лосев, Алексей: Возвращение Цветаевой в Лозанну. *Русская мысль* № 3432, 5.8.1982.
- Маковский, С. К.: Портреты современников. — Нью-Йорк: Изд. им. Чехова 1955.
- Мандельштам, Н. Я.: Воспоминания. — Нью-Йорк: Изд. им. Чехова 1970.
- „ Вторая книга. — Paris: YMCA-Pr. 1972.
- Мандельштам, О. Э.: Собрание сочинений в 3 томах. Изд. 2, доп. Т. I. — Washington 1967.
- Мацуев, Н. И.: Русские советские писатели. 1917–67. Материалы для биограф. словаря. — Москва: Сов. писатель 1981.
- Маяковский, В. В.: Полное собрание сочинений. — Москва 1959. Т. 12.
- Меньшутин, А., А. Д. Синявский: Поэзия первых лет революции. 1917–20. — Москва: Наука 1964.
- Михайлов, И.: Опыты Марины Цветаевой. *Звезда* 1967, № 7, сс. 203–211.
- Мнухин, Л. А.: М. И. Цветаева. Библиографический указатель литературы о жизни и деятельности (1910–1928). *Wiener slawistischer Almanach*, Sonderbd. 3, p. 273–308.
- „ Первая книга М. Цветаевой. Индивидуальность писателя и литературно-общест. процесс, Воронеж 1979, сс. 166–73.
- „ Святое ремесло поэта. Письма и воспоминания А. Эфрон о матери — М. Ц. *Литературное обозрение* 1981, № 12, сс. 89–103.
- Морковин, В. В.: Марина Цветаева в Чехословакии. *Československá rusistika* 7. 1962, p. 42–53.
- „ (изд.): Марина Цветаева. Письма к А. Тесковой. — Прага: Academia 1969.

- Музей 3. 70 лет Государственному музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. — Москва: Сов. художник 1982.
- Муромцева, В. Н. (Бунина) : У Старого Пимена. НП сс. 531—541.
- Набоков, Владимир: Другие берега. — Нью-Йорк: Изд. им. Чехова 1954.
- „ Стихи. — Ann Arbor: Ardis 1979.
- Нива, Жорж (Georges Nivat): Марина Цветаева в Лозанне. *Русская мысль* № 3423, 29.7.1982.
- Николич, Милица: Одговори Марине Цветаеве. М. Ц.: Земалјска обележја, Београд 1973, сс. 7—51.
- Одна или две русских литературы? — Lausanne: L'Age d'Homme 1981
См. Une ou deux ...
- Одоевцева, Ирина: Марина Цветаева, Неизданное. *Русская мысль* № 3115, 2.9.1976.
- „ Несостоявшаяся встреча. *Русская мысль* № 3148, 21.4. 1977.
- Озеров, Лев (предисл.) : Из переписки Рильке, Цветаевой и Пастернака в 1926 г. *Вопросы литературы* 1978, № 4, сс. 233—236.
- Орлов. В. Н.: Марина Цветаева, судьба, характер, поэзия. М. Ц.: Избранные произведения, Москва 1965, сс. 5—54, и Орлов: Перепутья, Москва 1976, сс. 255—312.
- Отчет Московского Публичного и Румянцовского Музеев за 1909 год. — Москва 1910.
- Памяти А. А. Ахматовой. — Paris: YMCA-Pr. 1974.
- Парнок, С. Я.: Собрание стихотворений. Вступ. статья... С. Поляковой. — Ann Arbor: Ardis 1979.
- Пастернак, Борис: Сочинения. — Ann Arbor 1961.
Т. 2: Автографический очерк, Три тени, сс. 45—48; Охранная грамота, сс. 203—293; Посмертное письмо Р. М. Рильке, сс. 343—345.
- „ Из писем жене. *Вестник Р. С. Х. Д.* 106. 1972, сс. 202—225.
- Полякова, С.: Закатные оны дни: Цветаева и Парнок. 1982.
- „ Поэзия и правда в цикле стихотворений Цветаевой „Подруга”. *Wiener slawistischer Almanach*, Sonderbd. 3, p. 113—121.
- Пухнарв, Ю. В.: Четыре измерения искусства. — Москва: *Число и мысль*. 4.1981, сс. 55—80.
- Пятидесятилетие Румянцовского Музея в Москве. 1862—1912. — Москва 1913.
- Пятьдесят лет Государственному Музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. — Москва 1962.

- Раевская-Хьюз, Ольга: Борис Пастернак и Марина Цветаева. К истории дружбы. *Вестник Р. С. Х. Д.* 100. 1971, сс. 281–305.
- Рильке, Р. М.: Новые стихотворения. Изд. подг. К. П. Богатырев. – Москва 1977.
- Рождественский, В. А.: Марина Цветаева. Вступ. статья. М. Ц.: Стихотворения и поэмы. Ленинград 1979, сс. 5–48, и: Сочинения в 2 томах. Москва 1980, 1, сс. 5–24.
- Русская литература в эмиграции. Сборник статей под ред. Н. Полторацкого. – Pittsburg 1972. (Univers. of Pittsburg Slavic series, t. 1).
- Русская литература конца XIX нач. XX вв. 1908–17. – Москва: Наука 1972.
- Русский литературный архив. Под ред. М. Карповича и Дм. Чижевского. – Нью-Йорк 1956.
- Русский сборник. I. – Париж 1946.
- Саакянц, Анна: Владимир Маяковский и Марина Цветаева. *Москва* 1982, № 10, сс. 181–194.
- „ Душа, не знающая меры. 14 стихотворений М. Ц. *Альманах Поэзия* 22.1978, сс. 151–171.
- „ Проза Марины Цветаевой. М. Ц.: Сочинения в 2 томах, М. 1980, II, сс. 466–541.
- „ Равенство дара души и глагола. М. Ц. о творчестве. *Литературная учеба* 3. 1981, сс. 100–108.
- Саакянц, Анна: Тайный жар. *Огонек* 1979, № 43, сс. 18–19.
- „ Я влюблена в работу. *Литературная газета* № 4899, 13.11. 1982.
- Сеземан, Д.: М. Цветаева в Москве. (По личным воспоминаниям.) *Вестник Р. Х. Д.* 128. 1979, сс. 177–179.
- Слоним, М. Л.: Беседа с Паустовским. *Новое русское слово*, 10.3. 1974.
- „ О Марине Цветаевой. Из воспоминаний. *Новый журнал* 100. 1970, сс. 155–179; 103. 1971, сс. 143–176.
- „ Неизданные письма Цветаевой. *Русская мысль* № 2962, 30.8. 1973.
- Сокольников, С.: М. Ц.: Лебединый стан. *Грани* 37, 1958, сс. 236–237.
- Сосинский, В. Б.: Дополнительные страницы к тому „Неизданных писем” М. Цветаевой. Примечания. *Вестник Р. Х. Д.* 114. 1974, сс. 212–14.

- Стенограмма членов Комиссии увековечения памяти М. Цветаевой.
О Марине Цветаевой. (Елабужские сведения). М. Ц.: НП
сс. 635–638.
- Степун, Ф. А.: Бывшее и несбывшееся. – Нью-Йорк: Изд. им. Чехова 1966. Т. 1.
- „ (ред.): Марина Цветаева. Проза. – Нью-Йорк: Изд. им. Чехова 1953. Предисл. сс. 7–16.
- Струве, Глеб Петрович: Об Адамовиче-критике. *Грани* 34/35, 1957, сс. 365–369.
- „ К истории русской зарубежной литературы. Как составлялась антология „Якорь”. *Новый журнал* 107, 1972, сс. 222–254.
- „ (ред.) Марина Цветаева. Лебединый стан. – Мюнхен 1957. Предисл. сс. 3–6. – Лебединый стан – Перекоп. – Париж 1971. Предисл. сс. 7–13.
- „ Памяти С. Н. Гальперн. *Русская мысль* № 3419, 1.7.1982.
- „ Русская литература в изгнании. – Нью-Йорк: Изд. им. Чехова. 1956.
- „ (ред.) М. Цветаева. Неизданные письма. – Paris: YMCA-Pr. 1972.
- „ Марина Цветаева, о людях, о книгах, о себе. *Русская мысль* № 2751, 14.8.1969.
- „ Марина Цветаева. Ее последнее письмо из Франции. *Русская мысль* 17.7.1969.
- Тарасенков, А.К.: Русские поэты XX века 1900–1955. – Москва: Сов. писатель 1966.
- Тарусские страницы. Литературно-художеств. иллюстрированный сборник. – Калуга 1961.
- Терапиано, Ю. К.: Встречи. – Нью-Йорк: Изд. им. Чехова 1953.
- „ Самоубийство и любовь. *Русская мысль* 11.7.1964.
- Федин, К. А.: Полное собрание сочинений. – Москва 1962. Т. 9.
- Федотова, Е. Н.: Письма М. Цветаевой к Федотову. *Новый журнал* 63. 1961, сс. 162–164.
- Хвастунова, Н.: „И это все о ней”. *В мире книг* 1982, № 10, сс. 55–56.
- Ходасевич, В. Ф.: Литературные статьи. – Нью-Йорк: Изд. им. Чехова 1954.
- Цветаев, Иван Владимирович: Московский Публичный и Румянцовский музеи. К открытию их 24.10.1900. – Москва: Унив. тип. 1900.
- Цветаева, Анастасия Ивановна: Воспоминания. – Москва: Сов. писатель 1971. 2-е изд.: 1974.

- Цветаева, Анастасия Ивановна: Воспоминания. Ч. 2. — Москва 1981, № 3, сс. 116–160; № 4, сс. 117–160; № 5, сс. 112–159.
- „ Главы из книги. *Даугава*, Рига, 1980, № 7, сс. 58–72.
- „ Из прошлого. *Новый мир* 1966, № 1, сс. 79–133; № 2, сс. 98–128.
- „ Корни и плоды. *Звезда* 1979, № 4, сс. 186–193.
- „ Маринин дом. *Звезда* 1981, № 12, сс. 142–157.
- „ Явь и стихи. *Октябрь* 1982, № 9, сс. 193–195.
- Чернова-Колбасина, О. Е.: О Марине Цветаевой. *Мосты* 15.1970, сс. 311–317.
- Чирикова, Л. Е. и В. Е.: Письма Марины Цветаевой. *Новый журнал* № 124. 1976, сс. 140–143.
- Чуковская, Лидия Корнеевна: Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. 2. — Paris: YMCA-Pr. 1976. 1980.
- „ Предсмертие. *Время и мы* 1982, № 66, сс. 202–231. Прочитано впервые на Цветаевском Симпозиуме в Лозанне в 1982 г.
- Швейцер, Виктория: Братская могила. *Синтаксис* № 4, Париж 1979, сс. 139–156.
- „ Возвращение домой. Выступление на 1-м Симпозиуме Марина Цветаева, Лозанна 1982.
- „ Марина Цветаева (предисл.) *День поэзии* 1968, с. 192.
- „ Из неизданных писем М. Ц. *Вестник Р. Х. Д.* № 128. 1979, сс. 166–91.
- „ Своими путями. Биограф. очерк. М. Ц.: Стихотворения и поэмы в 5 т. Т. 1, сс. 7–38.
- /Швейцер, Виктория/ В. В.: Поездка в Елабугу. М. Ц.: Неизд. письма сс. 639–647.
- „ Страницы к биографии Марины Цветаевой. *Russian literature* IX–IV, 15.5. 1981, p. 323–356.
- Шаховская, Зинаида: Марина Цветаева. *Новый журнал* 87. 1967, сс. 130–135.
- „ Отражения. — Paris: YMCA-Pr. 1975.
- Шаховской, Иоанн, Архиепископ: Биография юности. — Paris: YMCA-Pr. 1977.
- Ширяев, Б. Н.: Излом и вывих. *Возрождение* 1954, № 32, сс. 143–146.
- Эренбург, Илья Григорьевич: Люди, годы, жизнь. Москва: Сов. писатель 1961. Кн. 2.
- „ Письма разных лет. Публ. Б. Сарнова. *Вопросы литературы* 1973, № 7, сс. 189–224. (Письма к Цветаевой: сс. 195–198)

- Эренбург, Илья Григорьевич: Портреты русских поэтов. — Берлин: Аргонавты 1922. Репринт Мюнхен 1972. (*Centrifuga*. 20)
- „ Поэзия Марины Цветаевой. Литературная Москва 2, 1956, сс. 709–715.
- Эткинд, Е. Г.: Размышления (о 1-м томе Цветаевой). *Русская мысль* № 3360, 14.5.1981.
- Эфрон, Ариадна Сергеевна, А. А. Саакянц: Марина Цветаева — переводчик. *Дон* 1966, № 2.
- „ Из воспоминаний о Э. Г. Казакевиче. Воспоминания о Э. Казакевиче, Москва 1979, сс. 241–259.
- „ Письма М. Ц. *Новый мир* 1969, № 4, с. 185.
- „ Письма и воспоминания о матери. (изд. Л. Мнухин). *Литературное обозрение* 1981, № 12, сс. 89–103.
- „ Страницы былого. *Звезда* 1975, № 6, сс. 148–189.
- „ Страницы воспоминаний. *Звезда* 1973, № 3, сс. 154–180. (Выдержки: *Вестник Р. Х. Д.* 116, сс. 179–184.)
- „ Страницы воспоминаний. — Париж: Изд. Лев 1979.
- „ Самофракийская победа. *Лит. Армения* 1967, № 8, сс. 80–84.

- Böhme, Marion: Rilke und die russische Literatur. Phil. Diss. Wien 1966.
- Bott, Marie-Luise: Marina Cvetaeva. Крысолов. Der Rattenfänger. Mit einem Glossar von Günther Wytzens. — Wien 1982. (*Wiener slawist. Almanach*, Sonderbd. 7)
- „ Ein weiteres M. Cvetaeva gewidmetes Gedicht R. M. Rilkes. *Wiener slawist. Almanach*, Sonderbd. 3, S. 207–208.
- Brook-Shepherd, Gordon: The storm petrels. — London: Collins 1977.
- Buber-Neumann, Margarete: Die erloschene Flamme. : München: Langen-Müller 1976.
- Chambrun, Charles de: Lettres a Marie. Pétersbourg-Petrograd 1914–17. — Paris: Plon 1941.
- Chernov-Andreyev, Olga: Cold spring in Russia. — Ann Arbor: Ardis 1979.
- Marina Cvetaeva. Studien und Materialien. — Wien 1981. (*Wiener slawistischer Almanach*. Sonderbd. 3)
- Foster, Ludmila A.: Bibliography of Russian emigre literature 1918–68. T. 1. 2. — Boston: Hall 1970.
- Guenther, Johannes von: Ein Leben im Ostwind. — München: Biederstein 1969.
- Ingold, F. Ph.: M. I. Cvetaevas Lese- und Verständnishaften für R. M. Rilke. *Die Welt der Slaven* N. F. 3. 1979, Nr. 2, S. 352–368.

- Karlinsky, Simon: Marina Cvetaeva. Her life and art. — Berkeley, Cal.: Univ. of California Pr. 1966.
- „ Cvetaeva in English. *The Slavic and East European Journal* 10. 1966, Nr. 2, p. 191–196.
- Kemball, Robin: Le dilemme séculaire du poète russe: Patrie et liberté. Faculté des lettres, Univ. de Lausanne, *Etudes de lettres* 1977, t. 10, p. 3–29.
- „ , N. Andreyev, G. Nivat: Hommage a Marc Slonim. *Etudes de lettres*, p. 31–36.
- „ La poetique de Tsvetaeva: son audace, son innocence. *Etudes de lettres* p. 38–43.
- Kobilinski-Ellis, Dr. Leo: Alexander Puschkin. Der religiöse Genius Russlands. — Olten: 1948.
- Krivitsky, W. G.: Agent de Staline. — Paris: Cooperation 1940.
- Kubka, František: Hlasy od východu. — Praha: Čs. spisovatel 1960.
- Lampl, Horst: Briefe Marina Cvetaevas an Ol'ga Kolbasina-Cernova. *Wiener slavistisches Jahrbuch* 22. 1976, S. 109–116.
- Lossky, Véronique (ed): Bibliographie des oeuvres de Marina Tsvetaeva. — Paris: Inst. d.'Etudes Slaves 1982.
- „ Marina Cvétaeva. Souvenirs de contemporains. *Wiener slawistischer Almanach*, Sonderbd. 3, p. 213–259.
- „ M. Tsvetaeva et Alexandre Blok: La création d'un mythe poétique. *Revue des études slaves* 54. 1982, Nr. 4, p. 733–744.
- Mathauser, Zdeněk: Katarzis Mariny Cvetaevovj. М. Ц. Письма к Тесковой, cc. 5–15.
- Mirskij, Dmitrij S.: Geschichte der russischen Literatur. — München: 1964.
- National-Zeitung*, Basel. 17. 11. 1938.
- Neue Zürcher Zeitung*, September 1937 – Februar 1938.
- Grand Duc Nicolas Mikhailovitch: La fin du tsarisme. Lettres inédites a Frédéric Masson (1914–18), publ. par la Bibliothèque Slave de Paris. — Paris: Payot 1968.
- Nivat, Georges: Vers la fin du mythe russe. Essais sur la culture russe de Gogol à nos jours. — Lausanne: L'Age d'Homme 1982.
- „ "L'Heure d'ame". *Etudes de lettres*, Univ. de Lausanne, p. 43–56.
- Pasternak, Boris: Brief an Rilke, 12.4.1926. М. Ц.: Несобранные произв. — München: 1971, S. 681–683.
- Poretsky, Elisabeth K.: Our own people. A memoir of "Ignace Reiss" and his friends. — London: Oxford U. Pr. 1969.
- Rakusa, Ilma: R. M. Rilkes Briefe an M. Z. *Neue Zürcher Zeitung*, 23/24. 5.1981.

- Rakusa, Ilma, F. Ph. Ingold: M. I. Cvetaeva im Briefwechsel mit R. M. Rilke. *Zeitschr. f. slavische Philologie* 41. 1980, H. 1, S. 127–173.
- „ Russisches Kindheitsmuster. Anastassja Zvetajewas Erinnerungen. *Neue Zürcher Zeitung*, 12/13.8.1978.
- „ Marina Zvetajewa und Rainer Maria Rilke. *Neue Zürcher Zeitung*, 1/2.9.1979.
- „ Marina Cvetaevas "Germanica". Festschrift Zoran Konstantinović. *Komparatistik*, S. 379–397.
- Razumovsky, Andreas Gf.: Ein Kampf um Belgrad. – Berlin: Ullstein 1980.
- Razumovsky, Maria: "Oh Deutschland, du mein Wahn!" M. C. und Deutschland. Bibliothekswelt und Kulturgeschichte, Festschrift Wieder, München 1977, S. 73–82.
- Rilke, Rainer Maria: Sämtliche Werke. Bd. 2. – Wiesbaden: Insel-Verl. 1955.
- Schewe, Heinz: Pasternak privat. – Hamburg: Christian-Verl. 1974.
- Serge, Victor, Maurice Wullens, Alfred Rosmer: L'Assassinat politique et l'U. R. S. S. Crime à Lausanne en marge des procès de Moscou. (La mort d'Ignace Reiss). – Paris: Tisné (vers 1939).
- Slonim, Marc: "The history of a Dedication": Marina Tsvetaeva's reminiscences of Osip Mandelstam. *Oxford Slavonic Papers* 11.1964, p. 112–113.
- „ Notes on Tsvetaeva. *The Russian Review* 31.1972, p. 117–125.
- „ Die Sowjetliteratur. – Stuttgart: 1972 (Kröners Taschenausg. 418).
- Stroblová, Jana (ed.): Marina Cvetajevová: Hodina duše. – Praha: Čs. spisovatel 1971.
- Struve, Gleb: Russian literature under Lenin and Stalin. 1917–1953. – London: Routledge 1972.
- Tsvetaeva. A pictorial biography. Цветаева. Фото-биография. Ed. by E. Proffer. – Ann Arbor: Ardis 1980.
- Une ou deux littératures russes? Одна или две русских литературы? Colloque international... Genève 13.–15.4.1978. Red. Georges Nivat. – Lausanne: L'Age d'Homme 1981.
- Weiss, Louise: Memoires d'une Européenne. T. 2. – Paris: Payot 1970.
- Williams, Robert C.: Culture in exile. Russian Emigrés in Germany, 1881 – 1941. – Ithaca: Cornell U. Pr. 1972.
- Wytrzens, Günther (ed.) М. И. Цветаева: Несобранные произведения. M. I. Cvetaeva: Ausgewählte Werke. – München: Fink 1971 (*Slavische Propyläen* 90). Nachwort: S. 684–686.

- Wytrzens, Günther (ed.) М. И. Цветаева: Das Deutsche als Kunstmittel bei
M. C. *Wiener slavistisches Jahrbuch* 15.1969.
- „ In Vergessenheit geratene Cvetaeva-Texte. *Wiener slavist. Jahrbuch* 20.1974, S. 180–183.
- „ Eine russische dichterische Gestaltung der Sage von Hamelner
Rattenfänger. Österr. Akademie d. Wiss. *Sitzungsberichte, Phil.
hist. kl.* Bd. 395; S. 1–42.
- Zernov, Nikolas: The Russian religious Renaissance of the 20th cent.
– London: Darton 1963.